

International Literary Magazine

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

.....

#87

KRESCHATIK
International Literary Magazine

#87



Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор

Борис Марковский (Германия)

тел. (+49) 421-522-647-65

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (Киев)

тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (Москва),

Виталий Амурский (Париж),

Борис Херсонский (Одесса),

Борис Констриктор (Санкт-Петербург),

Игорь Савкин (Санкт-Петербург),

Сергей Шаталов (Донецк),

Айдар Хусаинов (Уфа)

Год издания двадцать третий

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markovskiy, Kornstr. 22

28201 Bremen, Deutschland

e-mail: borismark30@T-Online.de

markovskiy@rambler.ru

<http://www.kreschatik.kiev.ua/>

<http://magazines.russ.ru/>

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192029, Санкт-Петербург,

пр. Обуховской обороны, 86 А, оф. 536

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2020 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Евгений Витченко / Тюмень /	Из цикла «Зимние стихи»	5
Михаил Синельников / Москва /	Сон о Тарковском	54
Борис Херсонский / Одесса /	«Разбираешь архив...»	67
Любовь Артюгина / Мендиг /	«Прохладный дым усталых облаков...»	195
Борис Фабрикант / Борнмут /	Аэропорт	200
Саша Немировский / Калифорния /	Lloret de mar	220
Александр Спренцис / Киев /	«Неважно кто ты...»	224
Марина Пьяных / Киев /	«Дальнего поезда долгий гудок...»	226
Леонид Блюмкин / Гамбург /	«Не уйти из позорного круга...»	237
Максим Калинин / Рыбинск /	«Всю ночь опавшая листва...»	270
Виталий Амурский / Париж /	«Зачем о том, сколь Летой унесло...»	281
Михаил Окунь / Аален /	«Когда приезжаю...»	297

В ГОСТЯХ У «КРЕЩАТИКА» ПОЭТЫ БЕЛОРУССИИ

Василий Мельников / Минск /	У обмелевшей реки	143
Галина Андрейченко / Минск /	Гофре неосторожных поездов	147
Елена Асенчик / Гомель /	О поэтах и поэзии	151
Михаил Баранчик / Минск /	«Я не по Торе жил, не по Корану...»	155
Маргарита Богданович / Минск /	Чёрные звёзды	252
Людмила Дунец / Витебск /	«Вишнёвого сока добавь...»	255
Инесса Ганкина / Минск /	Памяти музыканта	259
Тамара Ковалёва / Новополоцк /	Дождь, Скорина и я	262
Ирина Мацкевич / Минск /	Тональности любви	307
Елизавета Полеес / Минск /	«Ещё мечтать...»	311
Ольга Мацкевич / Витебск /	Предзимнее	318
Илона Миронова (Иломи) / Минск /	Черное/белое	322

Проза

Сергей Попов / Москва /	Зимний визит. Повесть	9
Игорь Шестков / Берлин /	Наваждение. Рассказ таксиста	62
Ксения Кноп / СПб. /	Ак Буре. Отрывок из романа	71
Илья Имазин / Ростов-на-Дону /	Ёжик Филимон, или Сказка на вырост	160

Руслан Омаров / <i>Париж</i> /	Битва при Сент-Олбанс	204
Иван Виселев / <i>Москва</i> /	О природе вещей	230
Владимир Цесис / <i>Чикаго</i> /	Записки сельского врача	243
Игорь Силантьев / <i>Новосибирск</i> /	Учитель географии	265
Виктор Шендрик / <i>Бахмут</i> /	Провокация. Рассказ	276

In memoriam

Владимир Загреба / <i>Париж</i> /	Командир, когда всплываем?..	285
Сергей Бычков / <i>Москва</i> /	Всегда загадочны утраты	326

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Илья Иослович / <i>Хайфа</i> /	Рабинович, как вы это делаете?	301
Римма Запесоцкая / <i>Лейпциг</i> /	Ольга, дочь царя Симеона	315
Игорь Бондарь-Терещенко / <i>Харьков</i> /	Веточка сирени...	334
Игорь Савкин / <i>СПб.</i> /	Историческая голография Айзенберга	336

Латинский квартал

Б. Констриктор / <i>СПб.</i> /	Платониада	338
Юрий Тубольцев / <i>Москва</i> /	Афористика	362



Евгений ВИТЧЕНКО

/ Тюмень /

Из цикла «Зимние стихи»

* * *

Как и жизнь, вполнакала
Свет в окошке горит...
«Только этого мало», —
Кто-то мне говорит.

Облака вдоль канала
Встали, как на убой...
«Только этого мало», —
Голос рядом с тобой.

Как в «Подсолнухах», масло
Или жёлтый акрил...
«Только этого мало», —
Кто-то проговорил.

Сколько бы ни мелькала
Тень по шторе твоя...
Только этого мало,
Напрямик говоря.

Вот и завтра настало,
Ущипни, что не сплю...
«Только этого мало», —
Сам себе говорю.

* * *

Смотритель кладбища, небрежно
Одетый русский господин,
Всегда один он неизбежно.
Катастрофически один.

С утра ещё осенний морок,
Заладил дождик, кап да кап.
Смотрителю едва за сорок,
На ужин студенистый карп.

Он всё проверил. Запер двери.
С собакою и с фонарём
Всё осмотрел. Здесь даже звери
Не вхожи в их ночлежный дом,

Не то что люди. Здесь на плитах
И выпить есть, и закусить.
Но у него с собой пол-литра.
И можно всласть поколесить

В своих химерах. И, бывало,
Возьмёт он свой велосипед
И повернёт не там направо,
Вот и приехали. Тот свет.

Воображает, как привольно
Ему задышится в раю...
И умирать совсем не больно,
И смерть, как будто дежа-вю.

И ветер всей охапкой листьев
Обдаст лицо, не пожелтев,
В земной ещё, не прошлой, жизни
На кладбище Сент-Женевьев.

* * *

Знак многоточия дорожный...
Здесь на мгновение замри
И оглянись, какой безбожный
И монохромный свет зари.

Чуть подтекающие краски,
Авангардистские мазки.
Похоже, что нетрезвый мастер
Смешал цвет охры и тоски.

О, сколько охристых оттенков
В себя вбирает синий холст!
И солнце, этот бог ацтеков,
Встаёт, как будто солнце солнц.

Куда бежать? Ведь отовсюду
Его палящие лучи.
Но защищайся! Бей посуду.
Стреляй из лука. И мечи

Свой мелкий бисер. Может статься,
Ты отобьёшься. Может быть,
Ударят в барабан для танца.
Танцуй. Укореняйся в быт.

Побудь рабом, хотя не пленник.
Или жрецом. И вот твой нож.
Раз ты попал на этот берег
К аборигенам, будь похож

В одежде и во всём на местных.
Бежит по венам алкоголь,
И смерть — последняя невеста —
Уже разучивает роль.

И понемногу, понемногу
Привыкнув так к небытию,
Молись жестокому их богу
И жди испанскую ладью...

* * *

Ах, если бы ты был холоден и горяч!
За окном ворона, но я напишу, что грач.
Небеса, как осенью, в лужах разлитой ртути,
А вернёшься на землю, всюду такой жесткач,
Что холодом, там внизу, невольно ошпарит руки.

Ах, если бы ты был слеп, но при этом зряч!
Как Борхес, пытаешься память свою напрячь,
А выходит одно и то же: выход из лабиринта
На замке. Хоть смейся себе, хоть плачь.
И сплошное шуршание воспроизведёт пластинка.

Ах, если бы ты был жертва, а не палач!
Лицо твоё скрыто, твой беж ритуальный плащ.
И руки твои в ожидании на топорище.
И вдруг узнаёшь свой голос, свой детский плач,
Но топор занесён... И лица блаженных нищих...

* * *

Во мгле сырой, гортанной,
Лишь сердца стук под курткой.

И звуки фортепьяно.
И на столе окурки.
И тоненькие тени
Двух тополей в гостиной.
И простенькие темы
Плохого пианино.

Они без вариаций,
Те темы на пластинке.
Но я готов сорваться,
Как в воздухе пылинки,
По комнате, по жизни,
На лунный свет сквозь тюль... И
Подолгу снег ложится
На комнатные стулья.

* * *

Привыкающий быть никем,
Не предателем, не изгоем,
Наблюдаю опасный крен
Своей жизни. И я спокоен.

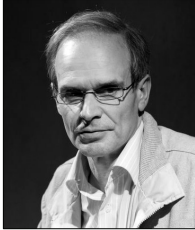
Если имя тебе никто,
То ничто с тобой не случится.
И не курица «ро-ко-ко»
Прохрипит, а другая птица...

Мало ль птиц здесь? Павлин. Фазан.
Цвета дивного оперенье.
Если слеп, то твоим глазам
Всё равно, на что тратить зренья.

Если нет тебя, то почём
Тебе знать, что однажды ветер
Налетит, как штангист — плечом,
И свернёт фонари вот эти?!

Я молчу, потому что так
Легче переносить потери.
Ветер шквалистый. Добрый знак.
Были б руки, они б вспотели.

Только крылья. Тогда лети,
Не оглядываясь за плечи!
Просто ангелу по пути:
И молчать с ним намного легче.



Сергей ПОПОВ

/ Воронеж /

ЗИМНИЙ ВИЗИТ

блики одного происшествия

Я испытываю по отношению к окружающему смешанное чувство превосходства и слабости: в моём сознании законы жизни тесно переплетены с законами сна. Должно быть, благодаря этому перспектива мира сильно искажена в моих глазах. Но это как раз единственное, чем я ещё дорожу...

Г. И.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕСТЫ

заметки о морфеевых шутках

Звериный цесарь, нежити и твари
Ходатай и заступник меж людьми!
Скажи, в каком космическом пожаре
Ты дух свой сплавил с этими костями?

С. Г.

Утренние дымки над Биржей, матовая наледь на мостах, извозчиный пар у подъездов... Неподвижное белёсое марево упрямо стояло над городом ещё с прошлого года. Январь двадцатого началось жуткими морозами. В театре почти не топили. Я то и дело дышала на ладони — мне казалось, что так теплее... Некоторые актёрки из Александринки повадились нырять в учреждения, о которых говорили шёпотом, и разжигались реквизированными шубами. Понятно, каким образом... Шубам я завидовала, но через себя переступить не могла. Хотя заикнись я — дорожку бы мне показали. Говорили, что товарищам из органов я нравилась...

Я спасалась халтурами. Крутилась на износ, но по несколько лишних пайков за каждую имела. Глядя на других, жаловаться было грех. Кто-то продавал вещи, кто-то куда-то уезжал... Всё переменялось стремительно.

Помню, шёл «Маскарад». Когда объявили антракт, в гримерку заглянула горничная. И почему-то шёпотом сообщила, что меня ожидает Гумилёв. Странно... Гумилёв никакого отношения к театру не имел. Я была с ним знакома через Никса Бальмонта. Меня часто путали с его сестрой. Мы и вправду были чем-то похожи — рыжеволосые, с зелено-кариими глазами, розовощёкие... Я и не подозревала, кто этот нелепый ухажёр в офицерском мундире с Георгием. А когда, узнала — признаться, обалдела. Имя уже звучало... Потом вскорости и походы по ресторанам заладились, и опереточные признания... Но не более — вокруг него всю дорогу одноразовые девицы кучковались. Это, прямо говоря, напрягало. А потому с год уже мы не виделись. Ей-богу, я о нём и думать забыла...

Он стоял на сцене за кулисой — бритый, косоглазый, безобразный. И надменно-отстраннённо взирал на рабочих, меняющих декорации. Я вышла в белоснежном платье с огромным вырезом и бежевым искристым шлейфом. Причёску украсли страусовые перья. Должно быть, я выглядела неплохо. И Гумилёв вдруг переменился... Засуетился, начал путано объяснять, что зашёл поговорить с режиссёром по поводу «Отравленной туники». Но главное — поговорить со мной. Можно ли ему подождать окончания? Очень важно. И у него новые стихи есть. «Заблудившийся трамвай». Моё мнение необходимо...

Нам было отчасти по пути — он жил на Преображенской... Гумилёв увлечённо рассказывал о войне — образно, жгуче, выпукло. Потом перескакивал на литературные новости, на путешествия, на Абиссинию. Я осторожно отвечала, что мне нравятся его «Конквистадоры»... Он доверительно сообщал, что отправил свою Аню в Бежецк — ей там лучше. Природа, воздух. Здоровье у неё неважное. А не зайти ли к нему? Хоть чаю попьём. Не на морозе же стихи читать. Так ведь и околеть недолго... Я шла в каком-то сладком оцепенении, как овца на заклание. И он это, конечно, чуял... Клянусь, ничего такого. Всё будет спокойно, без рук... Ну вот и умница. Я всегда знал, что вы девушка без предрассудков...

Чаем, конечно, не обошлось. Я уже тогда могла немного выпить — французские вина, коньяк — но никогда не пьянела. Хорошая матушкина наследственность. Гумилёв вытащил листки: «Оленька, я никогда не думал». Только потом узнала, что имя в стихах совсем другое... Жуткий лжец!

Я и не заметила, как оказалась в его цепких объятиях. Блузка рвалась по швам, пуговицы летели, застёжки срывались... С поистине абиссинской страстью он впивался в шею, стискивал рёбра, расплющивал живот. Стеклобашенные бешеные глаза глядели насквозь. Он был безумен, резок, нетерпелив. Чуть не разорвал меня иступлёнными своими толчками, всё убыстряющимися и крепнущими... А потом всё разом оборвалось. Но почувствовать ничего не случилось. Только внезапная пустота, озноб, возвращение реальности... «Я отвечаю за это кровью», — через минуту сообщил Гумилёв, пристально глядя в глаза. И я не поняла, за что именно...

В полдевятого у меня клиент... А сейчас уже почти восемь. Ужас! Шеф мне башку отвинтит. Бегом! Туалет, душ, кофе... Хотя какой тут душ, какое тут кофе?.. Работами нынче не разбрасываются! Слава богу, здесь рукой подать. Хорошо, что машина под окнами, а не на стоянке. Главное, чтобы пробок не было.

Благо, спешить научилась. Не делать лишних движений. Иначе засуетишься, растеряешься, завязнешь навечно... Пропадёшь, короче. А мне это надо? Зажигание, газ, поворот налево... Всё — на автопилоте. Сознание для другого нужнее. Поди за одними обновлениями на ленте уследи. С утра битый час глаза таращишь. И толку — с гулькин нос. Квартиры нынче висят. И дома, и дачи, и участки... Потому как — кризис. Сколько работаю — у нас всю дорогу кризис. Искать нужно, придумывать, исхитряться. А просто ишачить — не получится. Это раньше прокатывало...

Стеклянная дверь, охранник, офис... Уф!.. Кажется, успела. Здравствуйте, очень рада, прошу... Прекрасно выглядите. Вы подумали над нашим предложением? И что же решили? И это окончательно? Напрасно. Очень жаль. Если что-то изменится — контакты у вас есть. Всего доброго... Вот и опять, опять... Облом за обломом. Просто ужас! Срочно придумать что-то нужно. Выгонят же, ведь, к чёртовой матери...

А без работы теперь никак. Тем более, когда одной воевать приходится. А может, одной и лучше — зубы острее... Было б кого кусать только...

Мой отец — генерал Олимпий Старынкевич. А дед Иван служил директором дворянского института. И просто помешан был на классическом образовании. Страсть сия и на домашних выплеснулась — именно с деда пошло в семье обыкновение называть детей греческими именами. Среди одиннадцати его детей, кроме Олимпия и его брата-близнеца Эраста, были и Сократ, и Муза, и Поликсена, и Ариадна, и Клеопатра... Не фамилия, а мифологический словарь. Видно, свобода нравов античных богов и отравила меня... А может, первый роман с учителем греческого?.. Да, я любила многих. И более тех, кто решает вопросы радикально. Именно таким был незабвенный Егор Созонов. Шикарный эсер-террорист, бесстрашный убийца Плеве! Как можно было от него не родить? И конечно, сына... И не одного. Он и яд-то на каторге принял только во имя протеста. Красавец!.. Мой первый муж Серёжа Богданов, конечно, куда скромнее... Да, наш законный брак был платоническим — такая антропософская тогда была мода. Но я гордилась... И ведь знал, что виселицей закончится. А не отступился... А моя чёрная слава девятого года! Один за другим из-за меня застрелились сын покорителя Средней Азии генерала Головачёва и внук знаменитого драматурга Островского. Я бесцеремонно отшила этих мальчиков. О, если б я верила, что они на такое способны! Растаяла бы непременно... Да они ли одни? Знаете, что неподражаемый «король поэтов» писал?

Она была худа, как смертный грех,
И так несбыточно миниатюрна...
Я помню только рот ее и мех,
Скрывавший всю и вздрагивавший бурно.

Смех, точно кашель. Кашель, точно смех.
И этот рот — бессчетных прахов урна...
Я у нее встречал богему — тех,
Кто жил самозабвенно-авантюрно.

Уродливый и бледный Гумилев
Любил низать пред нею жемчуг слов,
Субтильный Жорж Иванов — пить усладу,
Евреинов — бросаться на костер...
Мужчина каждый делался остер,
Почуяв изощренную Палладу...

Но в один прекрасный момент я остро поняла, что мне не нужен никто. Кроме него... И где я его увидела? Наверное, у них в гостях, в Сапёрном переулке. Тогда весь Петербург там бывал. Все пенки общества... И Лёву, конечно, нельзя было пропустить. Чернявый, высокий, стильный... Вообще-то настоящее его имя Леонид. Но почему-то все Лёвой звали. Он ходил с тростью и манерно вертел на ходу бедрами. При каждом удобном случае хвастался мнимой любовью к мальчикам и строил из себя разочарованного в жизни мизантропа. Такая в нашем кругу мода царила... Но было в нём что-то детское, наивное, настоящее. Писал лёгкие, несерьёзные стихи. Я и сама не чуралась... Не могу внятно объяснить, что именно в нём подкупало и завораживало. Но работало безотказно...

Я тогда была замужем за скульптором Дерюжинским. Не могу сказать, чтоб это замужество меня сильно тяготило. Но и сопровождать мою новую любовь не могло... Мне важна концентрация. Иначе какое это наслаждение?... А потому пришлось подтвердить свою репутацию несравненной искусительницы и кромешной соблазнительницы и расстаться с очередным благоверным. И было ради чего! Блестящий, изломанный сын «миллионщика»... Подумать только, он был на одиннадцать лет моложе меня!

Кругом козни и шепоток, восхищение и зависть! Красноречивые взгляды, многозначительные паузы, двусмысленные комплименты...

Нагло врут, что всё это не важно. Это потому что у самих не случалось...

А как он следил за собой! Каждую мелочь продумывал. Сорочки, ремни, бельё... Имеет ли это какое-то значение? Ещё как имеет! Разве стиль это не поэма?

Картавый голос, полный лени,
Остроты, шутки, детский смех.
Отменно злой в упорном мщеньи,

Спортсмен всех чувственных утех...
Привычный маникюр изящных рук
И шелк носков — всё, всё ласкает глаз...

Глупо? Зато от души. Ведь Лёва был необыкновенным. Иначе он бы не покончил с этим негодяем Урицким. Нет, Лёва не был кровожадным! Он звонил этому извергу много раз. Убеждал, доказывал, умолял... Нужно было прекращать безрассудные расстрелы. Но тщетно... Тридцатого августа восемнадцатого года Лёва пришел в здание ЧК и застрелил мерзавца в упор. Бедный мальчик... Несравненный! Знаете, что он писал в камере смертников? «Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы...» В тот же августовский день Фанни Каплан покушалась на жизнь вождя пролетариата. Кто знает, что было бы, сложись всё по её плану?..

Мне пришлось бежать в Киев, Крым... Устраивать какие-то жалкие вечера с деятелями из бывших... Никто на них, конечно, не приходил. Меня не узнавали вчерашние друзья, втапывали в грязь. Именно за то, чем раньше восхищались. Но я их не осуждаю. У каждого грязь своя...

...А сыновей своих я назвала Орестом и Эрастом. Они выросли замечательными. Но это была уже совсем иная жизнь... Лишь строчки иногда вспоминались.

Зима и зодчий строили так дружно,
Что не поймёшь, где снег и где стена,
И скромно облачилась ризой выюжной
Господня церковь — бедная жена.

И спит она средь белого погоста,
Блестит стекло бесхитростной слюдой,
И даже золото на ней так просто,
Как нитка бус на бабе молодой.

Запела медь, и немота и нега
Вдруг отряхнули набожный свой сон,
И кажется, что это — голос снега,
Растаявшего в колокольный звон.

...А разве у меня самой-то имя не из того же лукошка? Веста... Хранительница очага... Да, бог пошутить любит. Какова хранительница, таков ей и очаг... Где они, воскресные обеды да вечерние чаи с бубликами? Одна только дырка от бублика...

И откуда все эти сновидения?! Ладно бы после корпоративов... А то бог знает с чего... Я ведь ночами сплю. А с воздыхателями — только днём... Морфей точно умом тронулся. До смерти задразнить хочет. Всё без разбору в кладовку подсознания затаскивает. Только

хорошего почему-то там не сыскать — точно испаряется всю дорогу... Общаги бессчётные, нищета голимая, весь в эмпиреях муж-объелся груш... Вот ему бы эти ночные глюки по душе были... Эх, ночи, ночи!.. Как мы любили до свадьбы по ночам гулять! На лавочках целовались, в каких-то заплеванных кафешках пиры устраивали... Огромные звёзды, шумные кроны, безлюдные скверы... Может, это всё от бездомности? А пустой тёмный город и был нашим домом?.. Каждый раз какие-то новые стихи... Чьи? Я о многих тогда ещё ни сном, ни духом... У нас даже игра сложилась — угадывать автора по одной строфе. А уж если не получается — можно инициалы подсказать. Но это минус один бал... Поначалу я безнадёжно проигрывала. Но потом... Проигрывать не в моих правилах!.. Ну и своё, конечно, выдавал. Мне даже нравилось... Эстет, сибарит, сочинитель, мать его!.. И как я столько терпела? Памятник ставить нужно. По редакциям скакала, бредовые рассказы его пристраивала, в глаза всем лезла... И всё ради копеечки в семью... И ведь брали! А человека ни черта кроме своих листков и компа не колыхало. Уткнётся, бывало, на день, два, три — и трава не расти... А с чего ей расти? От этих прелестей разве только давление пёрло... В аптеки как на работу шастала. Продавщицы в лицо знали. А с него — всё как с гуся вода. Как жить, где жить, на что жить — всё до лампочки... Я уж и в каких-то предвыборных штабах отиралась, и на митингах зажигала, и в пикеты подпрыгивала... Тогда за это отстёгивали неслабо. О, времена, о нравы!.. Кстати, кстати... Муж, муж, муж... А может, и не впустую припомнился? Как знать... Нынче ведь с посторонними каши не сварить... А с работы погонят... А у него такая дача осталась — гарем размещать можно! Да отчего бы и не завести? Ходок ещё тот... И участок офигенный. А жить нынче по средствам положено... Времена за излишки мстят. Так что, может, и образумить человека следует? Не чужой ведь... Так вот подумаешь-подумаешь... Кто сны вещими делает? Не мы ли сами?..

«Бывают дни, когда я во блаженной и смиренной любви своей к Вам, мой единственный Бог, брожу без конца по пустынной набережной, и мне кажется, что я в золотой сетке качаюсь в синеве небесной. И нет у меня тела, — я Божья. И так хорошо, как в вечной жизни. И когда возвращаюсь домой, то стены пропускают меня сквозь себя, потому что я не я. А часто я воплю дико и пронзительно, как вопит ночью вдова на могиле мужа. В провинции в сумерки я была раз одна на кладбище и вдруг услышала сзади себя нечеловеческий вопль. Это вдова-крестьянка, как птица, билась на могиле мужа. И не плакала смиренно, как надо, а кричала бесноватым голосом в небо к Богу. И я знаю, что эти вопли разрывали сердце самого Бога. И я так часто плачу по Вас. Господи, Господи, что же мне делать, я не знаю. Простите за это письмо и не осуждайте меня». Представляю, как бледнел Блок, изучая эту эпистолу! Он не ответил ничего. Да и виду не подал... И слава богу, слава богу!.. Пусть уж лучше стихи...

В моих глазах молчит пустыня голубая
И в волосах завял полыни горький лист.
Я сгорбилась, в ночных молитвах нагибая
Лицо горящее пред тем, кто так лучист,
Что мне не вынести магического взгляда
Его больших тигрино-трепетных очей.
Но трижды, трижды я вошла бы в двери ада
Лишь за одну из девственных его ночей.

Сложись всё иначе — моего суженого верно удар бы хватил... А он был так заботлив! Как рассказывал он мне о язычестве, славянском пантеизме!.. Я до глубины души прониклась. И даже псевдоним себе для литературных опытов оттуда выудила... Нимфа Бел-Конь Любомирская. Дико? Зато въедается намертво. Белый конь у славян числился посланцем солнца и добра. Любомир — любящий мир, и коню понятно... А Нимфой меня величал сам Репин, весьма настойчивый поклонник. А друзья подхватили...

А какого лёгкого мужа мне Бог дал! Серёжа, Серёжа... Весёлый болтун, милый торопыга... Душа-человек! Уже в Москве к нам на чай Чуковский любил заглядывать. Верите, мы тогда в бывших палатах Бориса Годунова возле Иверской квартировали. Окна маленькие, стены толстенные... Сергей сам их расписывал. Красота была!.. А когда Мандельштам приходил — скучный и страшный — всё Анной меня называть норовил... А Сергей мягко, но настойчиво поправлял. Он вообще волшебным образом был. А всё одно злословили... Помню, позже уже... У Ахматовой вышло «Избранное». И у Сергея одновременно. Городецкий. «Думы». И подзаголовок. «Семнадцатая книга стихов». Ахматова сборник этот перелистала небрежно и надменно бросила: «Семнадцатая книга стихов... Много я дам тому, кто вспомнит, как называлась шестнадцатая!..» Было б кому помнить...

Мой бывший — тоже Сергей. К чему бы это?.. Что за игра имён?

Я ведь филфаковская. А теперь дико даже, что каким-то Серебряным веком когда-то бредила... Оглянешься — обомлеешь. Что это такое было?.. Чем башка была забита?.. Помрачение, да и только. Хорошо, что обошлось. Могло, ведь, и гораздо хуже выйти. Запросто. Мало ли дур... Но бог отвёл. А жизнь подвигла вперёд поспатривать... Потому как чтобы жить завтра, сегодня выживать нужно. И из ума тоже. Из прежнего. Ум нынче особый нужен. Совсем не тот, что раньше. А методичный такой, необидчивый, бодрый. Чтоб тянул, да без надрыва. Без депрессий и всякого такого. А иначе с голоду загнёшься... Дело известное. Вон некормленная наша писательская общественность резов и с аппетитом саму себя и схавала. Во спасение... Одни объедки да потёки. Где стол был яств...

Когда-то я курсовую писала. «О незавершённом женском коварстве». По материалам начала двадцатого века. Литературный быт и всё такое прочее. Вот где раздолье для раскрытия темы! Все кругом брехали, трахались, перемигивались... Но на поверку всё это ка-

ким-то фарсовым, водевильным выходило. Даже когда стрелялись... Демоны их детскими были. Им лишь улыбнуться издали хочется.

А почему коварство не доводилось до логического финала? До полного разделявания под орех? Лишь одно-два телодвижения — и стоп... Вовсе не из-за мёртвой занозы благородства. А потому что треволнения тогдашних литературных дамочек предназначались для внутреннего пользования. Центростремительные нервические всплески не оставляли места для последовательных пакостей. Так, по оказии... Много чести! Главное — себя уловить и утешить. А что вокруг — дело десятое. Не стоит расстройств. Ольге Арбениной и Аня Энгельгардт лишь досадной случайностью казалась. Даром, что законная жена... Конечно, лучше б её не было вовсе. Но достаточно и просто себе это вообразить... И результат по сути тот же.

А Богданова-Бельская! Мужики прямо штабелями падали. И всё к ней в койку... А когда, об неё ноги стали вытирать — ответить не умела. Ну, да — реакция, негодование, обида... А потом — всё в себя. А там, внутри — конструкции, ох уж какие непрочные! Всё на соплях держится. Потому и спеклась. И исчезла с горизонта до конца дней своих... Только и знала, что депеши Ахматовой строчить. «Наверно, я вскоре умру, потому что очень хочу вас видеть и слышать — а я теперь тень безрассудной Паллады. Страшная тень и никому не нужная». А самой-то кто нужен был?..

Ресурс должен быть выработан. Незаконченность разрушает... Анна Городецкая, Нимфа... Хоть бы застрелил Александра Александровича попыталась. Всё бы для души спасительней было. А то не жизнь — а холостой выстрел. Утлое замужество, бесконечные кривляния, ранняя смерть в победном году... Во всём до конца идти нужно. Не пройденный путь мстит...

Как на меня тогда смотрели препы! Недоумённые рожи строили, пальцем у виска крутили. Как будто я в аудитории разделась... Не то, чтобы они такими уж дуболомными были. Работники высшей школы относились к своей деятельности с изрядной долей иронии. Над методичками потешались... Но им предлагалось косить под дурака... Если работать хочешь. Они и косили. И на фига им такие задрыги? Учебный процесс должен установкам соответствовать. А все эти дурацкие измышления — для перекуров в сортире...

Это только впечатлительные девочки могут об этом всерьёз... И думать по ночам до посинения, и обнаруживать в себе нездешнюю пронизательность, и взвизгивают при этом от радости... И дурацкая радость эта длится, длится в никуда... Бродит, бродит в юной крови... И никакого выхода себе не находит... А чему, собственно, радоваться-то?.. Мало ли что когда происходило, мало ли кто что придумал... Понятно, бывало всякое, и глядеть на это можно по-всякому... Ну и что? И как-то тускнеет всё. Стихи с ума не сводят, роковые красавицы не катят, сладкий флёр порока не щекочет... Вся эта солянка безвкусной становится. И аппетит улетучивается напрочь...

И куда ж тогда трепетной девице податься? Что за вопрос! С головой — в любовь... Куда ж ещё?.. Круглосуточные общаговские посиделки, повальные гитарные братания, нервные поцелуи на дымных лестницах... Там не до перин «серебряного века». Там рваные байковые застилки на подружачковских койках... А кто же он? Конечно, сорвиголова, сочинитель, бессребреник... Сумасшедший, разбросанный, родной... Как не купиться? Сама такая... «Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения...» И радость сквозит из каждой форточки, и смутная башка не варит, и любая пошлятина окрыляет... Скользкое состояние. Но изнутри — здорово! А потому — лишь и длишь его, как можешь... Но чем больше стараешься, тем печальнее результат. Дело известное. Хотя какая уж тут печаль? Всякий дым обречён рассеиваться... И это естественно. Дым он и есть дым...

А потом, много позже — иное наваждение. Неведомые возможности забрезжили, манкие дали приоткрылись, головокружительные ветерки дунули... Бизнес, короче. Цепляй подешевше, толкай подороже. И ничего в голову не бери. На фигу?.. Время конкретных пацанов. А что? Не лапу же сосать, когда кругом в шампанском купаются. Да что там шампанское... Вообще — что хочешь. А я к тому времени уже и хотеть-то разучилась. Так что приходилось всё заново... Один только минус. Если изо всей этой свистопляски вычешь деньги — ничего не останется... В плане благостного осадка. Только морока одна. Вся тогдашняя прелесть в деньгах и была. Так ли это мерзко, как маляют? Не знаю. В деньгах, как ни крути, пропасть обаяния. Лишь бы не грохнуться туда по дурусти. Костей не соберёшь...

Но и это вскорости улеглось... Отошло. В зубах навязло, обрыдло. Да и времена изменились. Всё у нас меняется. По-тихому, но шустро. Одно только неизменно. Внутренний закон внутри нас. Закон воспроизведения разочарования. Может это и есть главное оружие защиты? А иначе на каком-нибудь этапе крышу снесло бы окончательно. И поминай как звали... И просто жизненно необходимо, что бы всё заканчивалось. А не висело бы камнем-якорем. В пучину же утянет...

Нельзя, нельзя, нельзя застревать. А словесность наша изящная — сплошь одно застревание, и любовь, туды её в качель... А застревание — это смерть... Да кто ж помнит?

Веста. Хранительница... А что я могу сохранить? Саму себя? Надолго ли? Ох, уж эта игра имён!.. В конце концов на дне души человек всё равно оказывается кем-то одним — или писателем, или любовником, или торгашом... Да, теперь я продаю квартиры, дома, дачи... И может быть, именно это — моё?.. И не стоит часто оглядываться? Не всё ведь так просто. Люди получают от меня то, где они могут быть самими собой. А не теми, какими их хотят видеть. Я сулю территорию, где они не обязаны играть ни во что... Идиотка-филологиня, всю дорогу жившая чужими жизнями, предлагает каж-

дому его собственную... Это ли не великая возможность? Это, между прочим — свобода... Представляете, у себя можно делать абсолютно всё! Стоять на голове, заниматься извращениями, вдребезги крушить посуду... И это благодаря мне. Выходит, есть моим занятиям какое-то высшее оправдание... Даром, что выматывают до рвоты. А от чего нынче не тошнит?..

Ночь была плотная, шершавая на ощупь, сплошная как покрывало... Хоть глаз выколи. А сна всё не было... Хотя обычно дрыхну как убитая. После весёлых бдений в офисе — по-другому никак... Астения, как пить дать... Я даже наружу выползла, по району покружила, в кафешку сунулась... Но передумала. Завтра же на работу! Условный, блин, рефлекс. Сколько можно организм насиловать? По-хорошему с такой трудовой деятельностью завязывать нужно... Иначе она тебя в узел завяжет. Причём, мёртвый. Сколько впахивать можно? Пока в ящик не сыграешь?.. Привыкла самой себе жаловаться. Потому как больше никому... А нужно не плакать, а что-то решать. Как всегда. Что проку kota за хвост тянуть... Всё ведь должно кончаться. И кончаться совсем... И я сняла трубку, помедлила малодушно и набрала въевшийся в подкорку номер... Боже, боже, ну пусть никто не ответит!.. Но нет... И надо что-то уже говорить... Ладно, будь, что будет... Значит, так нужно.

— Здравствуй. Как живёшь?

ФРАГМЕНТ РУКОПИСИ

из безжалостно вычеркнутого

И вопль протяжный «Хлеба! Хлеба! Хлеба!»
Из тьмы лесов стремился до царя.

К. Б.

Я смотрю на неистово вспыхивающий снег недолго. Пусть за окном и красота беспредельная, но нужно возвращаться к испи-санному листу. Теперь это занятие мне милее всего. Водить пером по бумаге. Именно пером и именно по бумаге... Редкий сегодня полдень. Вокруг пленительно! Просто глаз не оторвать... Но я знаю, что вновь сяду за стол, расчехлю ручку, чуть помедлю... И позабуду об иных зимних соблазнах. Разве можно их принимать всерьёз?

Что нынче писательство? Инерция? Амбиция маргинала? Просто способ убийства времени? Поди ответить... Может быть, лишь доказательство, что ты куда жив?.. А кому это нужно? Прежде всего себе самому. Ведь писания нынче важны прежде всего самим авторам. Ели дело обстоит иначе — это уже редкая удача. Поистине нечаянная радость... Не беру, конечно, тех, кто

пишет с чётким прицелом на раскрутку и деньги. Там успех входит в изначальный замысел и диктует текст. Но такая диктовка — вовсе не гарантия триумфа. Это гарантия опасной примеси дурновкусия. Хорошо, если не убийственной... Творить и зарабатывать — вещи разные. И обе необходимые. Флаг в руки тому, кто их не разделяет. И слёзы по тому, кто их совместить не в силах. Тогда приходится выбирать и жертвовать. А жертвы всегда неизгладимы.

Либо сочинять мир, либо принимать уже сочинённый... Это только кажется, что можно определиться и действовать. Если бог подсунил тебе этот вопрос, то вовсе не для того, чтобы получить ответ. А для того, чтобы ты понял, что обречён идти по многим дорогам сразу. И значит, так нужно.

Говорят, каждый для себя решает — или писать, или жить. Будто первое возможно без второго... А как жить-то, если выбрал писать? Об этом ещё в позапрошлом веке думали. Так десяток литераторов договорились и 2 февраля 1859 года собрались на квартире Тургенева, чтобы подписать согласованный уже «Устав общества для пособия нуждающимся литераторам и учёным». Там и Чернышевский был, и Анненков... «Нет человека сколько-нибудь образованного, в жизни которого не играла бы роль книга или, по крайней мере, газета, который бы не был чем-нибудь им обязан, не состоял бы в долгу перед ними. Участие в Литературном фонде — один из немногих способов уплатить хоть часть этого долга. Члены Литературного фонда должны были бы считаться не сотнями, а тысячами, десятками тысяч...»

Небольшая арифметическая выкладка. В первый же год своего существования общество, имевшее при своем основании 2200 рублей, владело уже капиталом в 35 000 рублей и назначило пенсии 15 лицам на сумму в 3510 руб. плюс выдало 56 лицам 7500 рублей единовременных пособий. А тогда деньги другими были... И пишущих было в разы меньше, нежели теперь. К середине позапрошлого века в журналах от силы пара сотен фамилий мелькала. А только в одном эзэсэсеровском Союзе писателей на его излёте числилось около десятка тысяч душ... Это не считая тех, кто вокруг бродил. Или по-иному определялся... Правда, взносы и в позапрошлом веке не особо рвались платить. Членский взнос составлял не менее 10 рублей в год. Те, кто не платил больше 2 лет, из общества исключались. В первый же год существования общества 100 человек не внесли необходимых взносов; на следующий год число это возросло до 200 при 580 наличных членах. В 1867 году число членов, уплативших свои взносы, понизилось до 95... И в девяностые годы доход от членских взносов не доходил и до 4 000... Щедрый народец, эти писатели! Но ведь всё равно пытались что-то всем миром делать... И слава Богу, другие источники дохода находились.

Например, авторские права на сочинения Надсона и Гаршина, имение Плещеева... Кто алчет, тот обретает... И тогда же при фонде организовали кассу взаимопомощи — на долговые, пенсионные похоронные нужды... В участники кассы принимались все лица, причастные журнальному и литературному труду. Ценное примечание, не правда ли? А куда они нынче принимаются? Разве что в бомжи?..

Или взять сталинские, да и послесталинские времена... Да, был идеологический прессинг, переходящий в физический... «Надо разъяснить всем литераторам, что хозяином в литературе, как и в других областях, является только ЦК и что они обязаны подчиняться последнему беспрекословно». Но разве забывали о бытовании сочинителей? Разумеется, видели только тех, кто успел пробраться поближе... Но ведь глядели!.. Ленину писатели были не нужны. Он избавлялся от этих людей — из страны высылал. Сталин же напротив, считал литераторов очень даже нужными. Если правильно всё видят и соблюдают. В противном случае — сами понимаете... Но он их подкармливал. И нужен был настоящий талант, чтобы и кормить-ся, и совсем уж с потрохами не продаваться... Некоторые умудрялись. Хотя многим поступались, конечно. Что там говорить...

Зато теперь — поступайся, не поступайся — никого это не проймёт. Ситуация забавная. Писатель... И профессии-то такой нет. Вот они и сбиваются в стаи, чтоб не сгинуть. В любые. Чтоб на виду быть... А там уж как покатит. Общественно-политическое движение «Писатели против ветра!» Чем не перспективный проект?

Но разве это поможет? Всем до лампочки... В средствах массовой информации прошло сообщение, будто умершего Льва Гумилёва вызвали в налоговую инспекцию. Оно оказалось ошибочным. Как выяснилось, его призвали в армию. А что? Запросто.

Третий десяток лет про закон о литературной работе судачат... А почему ж не поговорить-то? За разговоры как раз платить у нас принято. Правда, смотря, кто разговаривает... Да и сочинители, видя такое дело, тоже в лепёшку не расшибаются... Известный писатель так ответил журналисту на вопрос о своем распорядке дня:

— Встаю в одиннадцать часов, завтракаю в двенадцать, затем просматриваю почту, отвечаю на телефонные звонки, потом прогулка в парке, обед, театр и в постель.

— А когда же вы занимаетесь литературной работой?

— Как когда? На следующий день, конечно.

Если имеется, что выпить-закусить и сегодня, и на следующий день — тогда всё в ажуре. А если дома шаром покати?.. И на

столе только писчая с парой строк... «Я смотрю на неистово вспыхивающий снег недолго. Пусть за окном и красота беспредельная, но нужно возвращаться к исписанному листу...» А зачем возвращаться? Для слёз и соплей?.. А может быть, жизнь важнее, читатель?

ЦВЕТ ВЕТРА

хроника раннего вечера

И в твоей лишь сокровенной грусти,
Милая, есть огненный дурман,
Что в проклятом этом захолустьи
Точно ветер из далеких стран.

Н. Г.

Глаз от пламени не оторвать. Оно кровавое, могучее — во всё небо. Так и пялишься неизвестно для чего. Даже когда душа сама горит дико. Дурацкое свойство. Наверное, в какой-то прошлой жизни я был языком огня. Ну вот, опять о прошлой жизни...

Сейчас мы увидимся и во всём разберёмся. Этого не может быть. Что бы то ни было — я её знаю. Нужно срочно поговорить. И всё разрешится. Это просто смешно... «Водила, дорогой, гони!» Позарез надо. Всё должно стать на свои места. А то мир запросто рухнет... Но это я так. Душу потравить... «Да не тормози, пролетай на жёлтый! Плачу вдвое... Жми!»

Я никогда не хотел быть в центре событий. Где-то рядом — да. Числить себя причастным, ценить ауру, рукой дотрагиваться. Это нужно. А растворяться — нет. Это словно на даче. Когда, знаешь, что город рядом, слышишь шум пригородных электричек за лесом, видишь по вечерам дальние световые столбы. А не стремишься. Хотя знание и греет. Но тебе важнее твой ближний пригород. Он хранит и обещает. И отсветы не мешают заповедным сумеркам.

И почему мне так важен цвет кожи? Чем смуглые бёдра пленительней белоснежных? Чем бледномолочная грудь манче шоколадной? А чем трепетный матовый живот уступает страстному бронзовому? Вроде как не в колере дело... А вот для меня — именно в нём. И всё тут. И хоть волком вой. Это только горлан революции мог на горло собственной песне... А я иначе сочинён. И ничего не напишешь. А что поделать, если заводит меня лишь тёплый, золотистый, светящийся? Это куда больше, чем банальный тон эпидермиса. Это пароль.

И зачем меня так закодировали? Ведь и в этом, верно, есть какой-то смысл. Может стать, это лекарство от распыления. Гляди, дескать, лишь на то, чему глаз радуется. А вдруг дурацкая причуда

вкуса — знак редкой целеустремлённости. Этакий врождённый имунитет от ненужного и вредного. Ведь всё, ради чего себя перебарываешь — вредно. Только одно стоит этого вреда, а иное — нет. Поди отличи первое от второго... И пытаться нечего. Себя слушай чутче — и будет тебе счастье.

И я слушал. О, как я слушал! Полжизни на это потратил. И ясно усвоил: если что не ложится на душу — забудь. Бог с ним, что вроде положено. Или пусть будет, как у людей... Не нужно. Потом ведь вскорости озвереешь.

Ясный пень — всё бывает. И песне на горло наступать приходится. И плотно. И надолго. Но если постоянно на её кадыке топтаться — она дух испустит. Тебе это надо?..

А что по-настоящему надо? Немногое. Напаять телогрейку да выйти во двор, полный снега и солнца. Постоять минуту, зажмурившись, да почапать к ободранному сараю. Отыскать в недрах его широкую лопату и приняться с божьей помощью за дело. Без всякой спешки торить среди заносов дорожки, с удовольствием чуть лёгкую испарину, в охотку подставлять щёки холодным лучам. И замечать, что отсветы стёкол веранды — цвета чайной розы. К чему бы это? Мне ли не знать, кому любы эти шипастые дивы! Но радостный физический труд призван отвлекать и развлекать, а не завлекать в прошлое. Или я не прав? Неужто не чудо, что всё вокруг в этот час окрашивается одинаково — в палевый, топлёно-молочный, мягко переливающийся. Как не раствориться в этой искрящейся роскоши бежевых теней, рукотворных сугробов, обледенелых ступенек? И я готов. Я уже подымаюсь. Проскакиваю коридор. Распахиваю входную...

Нужно спешить... Это как пятна крови. Чем они свежее — тем вернее выведешь. А когда им сто лет — то намертво... Тем более что этого не может быть. И нужно только удостовериться. И сделать это нужно прямо сейчас. И всё срастётся. А как же иначе?

Чуть ли не с младенчества я грезил старостью. Она не была для меня временем дряхлости и увядания. Она представлялась идеальным убежищем от пройденных невзгод, щедрой наградой за постылые труды, редкой возможностью открыто выйти из чужой игры. И без отчёта любить чайное, педантично лелеять свои привычки, неспешно наслаждаться своей отдельностью. Я глядел сквозь толщу времени, и старики представлялись мне удивительными и нездешними, наделёнными особыми правами на прихоти и знающими этому оправдание.

Страшно себе представить, что бы я делал без этой дачи. И как подфартило в сплошном угаре девяностых прикупить её за бесценок? И где теперь бывший хозяин этого волшебного терема,

спившийся, широкой души художник? Верно, давно не на этом свете... Как мы с Вестой радовались, как безоглядно пировали! Крутогрудый тяжеленный «Камю», искрящаяся жирной влагой сёмга, пряный с дразнящим дымком карбонат... А как же иначе? Иной кров — иная жизнь. Круто, неведомо, странно. Это как заново родиться. С тех пор так и бродят по этим половицам отголоски праздника, так и окликают его, так и нашёптывают, что он не окончен. А коли так — он и впрямь никуда не денется.

За окном идёт снег, а я сижу и пишу. Ох, и давно же я мечтал о том, чтобы у меня была возможность с чистым сердцем самозабвенно начертать это: «За окном идёт снег, а я сижу и пишу».

Литературный агент из меня никакой. Прямо беда какая-то. Даже классную вещь не могу никуда пристроить. Разве что по случаю. И тут, надо сказать, Веста выручала. Ходила, писала, переговаривалась. То кавалерийской атакой, то измором — но брала. Не всегда. Но и не редко. Чаще по теперешним временам, верно, и не бывает. Оно ей нужно? Нужно, конечно. Но не потому она напрягалась — видела, что мне стократ нужнее.

Дурная привычка — чуть что — прихлёбывать коньячок. Хоть нынче он и дрянной, а работает. Нужный внутри фитиль теплит. Разве ж без глотка нашему шоферуге что вдолбишь? А на сухую путь твой будет вечен — так в моторе и состаришься. Без горячего — горе.

Щедродушная Веста меня постоянно просвещала. Рассказывала, как усилиями своего наставника по Институту живого слова в сугробе у Летнего сада неожиданно лишилась девственности маленькая поэтесса с огромным бантом. Как автор не прочитанной по настоящему книги «Форель разбивает лёд» спасался от старости в объятиях своего юного Дориана. И почему портреты подлиннее изображённых на них людей. Я благодарно внимал.

Давно уже никто из друзей-сочинителей не объявляется. Я и не в претензии. Жизнь — штука розная. Это только уже издали кажется, что шли гурьбой. Лукавое зрение такую мечту обратную тебе подкидывает. Для утешения и оправдания шаткого. Нет же! Всё было совсем не так. И не дай тебе бог новых совместных походов. Если раньше топали просто порознь, то теперь — друг по другу.

Если поразмыслить без нервов — Веста хорошая. Только прикидываться любит. Шипеть, рычать, гавкать. Сама себя заводит —

и вперёд. Тогда уж ничем не остановишь. Что творит — не ведает. И это длится, длится, длится... Пока само не выветрится. Это надо видеть. Хоть и глаза бы мои не смотрели...

Кожа у Весты была скорее медной, чем золотистой. Тускло поблёскивающей, а не светящейся. Точно подёрнутой каким-то несмывающимся налётом. Но я ей это прощал. Ведь всё равно высверки шли... А потому и время шло, как умело. Непонятно куда, но шло. Наше с ней время. Которое теперь остановилось.

В новогоднюю полночь товар ёлочных базаров мгновенно обесценивается, и груды еловых обрубок бесхозно громоздятся на растерзанных гуляками улицах. Хвойные развалы смотрятся дико и поучительно.

Совсем нынче повыветрилось сословие писательских жён. Есть ещё пока и сочинители, и супружницы их. А вот сословия нет. Нет горделивых выделываний друг перед другом, нет невзначай брошенных через плечо сногшибательных новостей об очередных мужних публикациях, нет всепоглощающих женских дружб против какой-нибудь особо беспардонной подруги жизни очередной раздутой бездарности. Быстро и безвозвратно прошло упоение принадлежностью к касте, легко обратив её в прах. Пришли другие упоительные вещи и без труда воспламенили опасные сердца былых филфаковских красавиц. И молодые языки студёного пламени хищно проступили сквозь их ветшающую кожу. «Вещи осени — тыква и брюква...» — когда-то цитировали они между небрежным поцелуем и очередной сигаретой. И почему эта строка откуда-то из восьмидесятых запала? Нынче давно уже глубокая зима.

Если назвать вещи своими именами — всё станет на свои места. По крайней мере внутри того, кто назвал. Нужно только разобраться и точно определить. А это ох как непросто! Если бы страхи запросто выдавали свои явки и пароли, они бы давно были выслежены и обезврежены. Но их приходится упрямо стеречь одинокими январскими ночами, чтобы уже под утро внезапно схватить за горло и с решимостью маньяка потребовать: «Отвечай, кто ты?» И они назовут себя. И темень рассеется.

И ты увидишь, что лишь казалось, будто их — тьма. На самом же деле их совсем немного. Всего три. Но дюжих и охотно ветвящихся, чтоб непроглядной кроной своей заслонить небо. А если взять ручку и лист писчей, то список окажется удивительно кратким.

1. Страх немощи.
2. Страх невостробованности.
3. Страх нужды.

Лишь эти горячо пульсируют в такт рассветному сердцебиению. Все остальные умозрительны...

Жена — как родина. Может родина отвернуться от человека? Да запросто. А потом и одуматься может... Но это ж родина! Ей простительно.

Веста рассказывала порой о сочинителе Тинякове, который в тридцатые просил милостыню на Невском. А перед ним лежала картонка с надписью «Подайте бывшему поэту». Фраза работала. Веста бы подала. Бывший поэт! Возможно ли было такое себе представить?... А теперь их пруд пруди. И все с протянутой рукой. Да кто подаст?

Я безотчётно прикипаю к вещам, домам, скверам. Ну чем могли быть мне любезны заплёванные и прокуренные университетские коридоры с облупленной краской и наглыми тараканами? Дурацкими бородатыми анекдотами, дразнящей болтовнёй с безбашенными девицами, никотиновыми призраками необъятного будущего? Что за субстанция такая отравляла воздух? И нынче — как зайду по случаю — та же отравка альвеолы распирает... Заклины мои безнадежны.

В детстве и отрочестве я очень любил читать книги про индейцев. Прерии, скальпы, томагавки... И на гэдэровские фильмы с югославскими актёрами через день бегал. И чем только голова была забита! А теперь вот думаю об индейских женщинах. Неужели они совсем красные — как огненные помидоры в августе? Быть такого не может. Наверное, какого-то особого, неопишуемого оттенка. Который в кино теряется. И зритель остаётся в дураках. Что искусство? Эрэц. Натура всюду, как ни крути, надобна...

С детства думал, что всё можно решить прямо и просто. Как у индейцев. Нужно только пристально посмотреть друг другу в глаза, и шелуха испелитися. О сколько бед лишь оттого, что в глаза друг другу не смотрят!

«Ветер у тебя в голове!» — смеялась Веста. Заливисто, громко, счастливо. И я любовался ею, улыбаясь глупо и протяжно. И светлое пламя шло по жилам. Как от коньяка. Куда ж я без ветра?

Предметы вожделения не стоят его. Матка, к примеру — всего лишь мышечный мешок. Это анатомически вполне правомерное определение, сформулированное пожилой женщиной, меня несколько обескуражило. Ни в коей мере не медицинской новизной, а сладострастной вульгаризацией физиологии. Последней мандельштамовской прямоотой на женский лад. Хотя и в самом Мандельштаме ладов этих выше крыши...

В стремлении демонстративно переходить на эффектные формулы — изрядная толика кокетства. Хлётского, стариковского, жутковатого. Может, лишь этим и утешается запоздало неутолённое тщеславие? Доживём — увидим.

Прямо рядом с участком пролежала река — в любую погоду сияя и холодная. Когда завязывался лёд, а склоны припорошивало юным снегом, мы с Вестой подолгу гуляли над откосом к этому унылому руслу. И она развлекала меня декламацией. «Зимний день, Петербург. С Гумилёвым вдвоём вдоль замёрзшей Невы, как по берегу Леты, мы спокойно, классически просто идём, как попарно когда-то ходили поэты». Вокруг не было ни души. Солнце переливалось в её зрачках. Словарный пар изо рта окружал нас облаком праздника.

О да, коньяк теперь ужасен как никогда!.. «Шеф, может, приложишься за компанию?» И что это он волком на меня поглядывает, точно у него последнее отнять норовят? Да, ласковые взоры нынче не в чести... Задумал что ли чего?

И я был не безгрешен. У меня имелась тайная квартира. Съёмная. О ней никто не знал. И мне это давало ощущение свободы. Хотя — если честно — я её не пользовался. По прямому назначению. А так — приходил, курил, выпивал в одиночку. Уходил, так сказать, в параллельную реальность. И надо отметить — помогало. Оттого, видно, и общества никакого там не требовалось. Обычно это бывали ненастные непоздние вечера, когда смеркалось внезапно и стремительно, и я словно оказывался в невесомости.

Конечно, бывало всякое. И тут уж главным критерием был цвет кожи. Тёплый, золотистый, светящийся. Разве ж возможно устоять? Это не хищно огненный, не по-индейски воинственный, не вызывающе кровавый. Это не угроза. Это спасение.

Веста никогда не рассказывала, как что у неё получается. Просто сообщала о необходимых дальнейших действиях. «Позвони завтра по этому телефону. Спроси, куда прислать рукопись. Они в курсе». «Сходи в банк. Сними всё, что есть. Мы покупаем дачу. Я договорилась». «Обними меня. Я сделала новую причёску. Она того стоит».

Я снял квартиру не вдруг. Долго искал, выбирал. А какая галерея типов при этом предо мной предстала! Ни в сказке сказать... Особенно я любил уезжавших в другой город или за границу на ПМЖ. Они мало торговались, откровенно показывали дефекты всякие. И вообще вели себя так, как будто они уже не здесь. Профессор-немец, двигающий на историческую родину. Престарелая эмансипе, с тяжёлым сердцем воссоединяющаяся с детьми. Гуляка-наследник, весело проматывающий завещанное дядюшкой.

Лишь однажды Веста обмолвилась о своём. Дескать, у нас все не худо тусоваться при выборах. Статейки для СМИ бодро стряпать, в кандидатских штабах допоздна засиживаться, головой на

встречах с избирателями кивать. Раньше, конечно, бабки там крутились другие. Когда было, из чего выбирать. Но и теперь кое-что перепадает. Главное — не морщиться.

Лукавые мысли об отъезде посещали и меня. Где-то вдали маячили маленький ухоженный домик в пригороде с вежливыми замкнутыми соседями, ежедневные ранние вояжи в офис на игрушечном купленном в кредит авто, короткие рождественские каникулы в самых дешёвых отельчиках броских горнолыжных курортов. Скромное благополучие, довольство малым, ощущение возможностей. Большие светловолосые женщины — то ли англичанки, то ли немки, то ли скандинавки... Но меня слишком занимали мои писания. Я прекрасно осознавал, что если раньше они были нужны узкому кружку любителей и приятелей, то теперь — лишь мне самому. И тем не менее почвой им полагал только здешние смятения. Ведь бывшие тутошние только и делают, что оттуда сюда пялятся. А тогда зачем? Если глаз всё одно в прежнюю сторону косит... Нет, я — невеликий почвенник. И патриотические порывы тут не при чём. Сколь ни насаждай их, как картофель при Екатерине — они лишь наоборот работают... Хотя без картошки теперь — никуда.

Я долго ждал этого звонка, а потому не удивился.

— Здравствуй. Как живёшь?

Не раз я думал о том, какой будет её первая фраза. И ничего другого представить себе не мог.

— Как обычно.

— Откуда я знаю, какие у тебя нынче обычаи...

Это типичная Веста. Кавалерийская атака сходу. На всякий случай. Для острастки.

— Значит, так интересуешься.

— Интересуюсь, между прочим.

— Неужели?

— Даже и глянула бы одним глазком.

— Я не ослышался?

— Если у тебя с чем и нормально — это со слухом.

— Compliments — это новый для тебя жанр.

— Так что? А то я и передумать могу.

— А угрозы — это традиционный...

— Ну, как знаешь.

— У меня, увы, нет никакого тайного знания.

— Стало быть, это горе от ума...

— Если уж горе — тогда конечно... Буду ждать.

Сто раз давал себе зарок не ёрничать. А так и подмывает. И получается всю дорогу топорно и вздорно. Мне бы по-другому... А не могу провокации игнорировать. Горбатого могила исправит...

Странные у меня перепрыгивания... Коньячного что ли происхождения?.. О чём же подумалось, когда пошли гудки?.. О том, что

всего-то и нужно — стать монархистом. Тогда вопрос о выборах, где пробавлялась Веста, решится раз и навсегда. И будет одним искушением меньше — избранник уже в наличии... А что до избранников Евтерпы — они потому и классики, что умели гасить соблазны.

Я решил накрыть стол. Это красиво. Нужно держать марку. Мало ли, что там было между нами... Этикет прежде всего. Бабкин столовый сервиз, серебряные ножи-вилки, салфетки веером... Розовый лоснящийся лосось, огромная ваза фруктов, настоящий КВ из заветного заглавника. Как положено. Никаких скидок на сложность момента.

Что меня удержало от отъезда? А то, что не с кем там поговорить, глядя друг другу в глаза. Там смотрят не в глаза, а насквозь. Не видят, но смотрят. Слово ты прозрачен, словно тебя нет, словно ты давно умер. А в потустороннем мире в глаза вглядываться незачем: там ничто ничего не значит. Всех и вся объёмлет смысловая невесомость, и значения свободно кувыркаются, смешны и жутковаты. Это здесь по необоримой инерции что-то ещё имеет какой-то вес. А потому не взлетает на воздух окончательно и бесповоротно. И нет-нет, да и возвращается на свои места. И можно перевести дыхание и дать себе утешиться.

Она подлетела на такси, легко выпорхнула на снег, игриво помахала шофёру.

— Вот я и добралась.

— Прошу.

— А можно я по саду пройду. Я там сто лет не была.

— Пожалуйста. Дорожки расчищены. А что там зимой интересного?

— Ничего ты не понимаешь. Как не понимал — так и не понимаешь...

Оглядев сугробы и небо, она медленно проследовала к дальнему забору.

— Здорово тут у тебя. Молодец... Хозяйственный!

— А то ты не в курсе.

— Раньше не замечала.

— Где же глаза твои были?

— Всё больше на мокром месте.

— Бедная женщина с неудавшейся личной жизнью!..

Она горько усмехнулась и повернула обратно, давая понять, что экскурсия окончена.

Я всё собирався закупить бур, стёганные штаны, ватник, валенки с калошами, ящичек для разных причиндалов и, конечно, удилице. И одним прекрасным днём выдвинуться на реку — замёрзшую, твёрдую, кочковатую — пройти по воде аки посуху и не спеша выбрать себе место где-нибудь у дальнего берега. Обстоятельно

расположиться, извлечь инструмент и приняться за работу. Бурить чутко, вдумчиво, с паузами. Постоянно прикидывать, сколько ещё осталось. Прерываясь, оглядываться по сторонам. Рассматривать заснеженный посёлок с дымками, дымчатого стекла небо, крутую излучину с обледенелым откосом. Собравшись с силами, методично продолжать, плавно налегать, не давать разгораться нетерпению. Прислушиваться к безмолвию, ловить учащающийся пульс, радоваться внутреннему теплу. Забыть о многом, думать о сиюминутном, без остатка раствориться в работе... И наконец ощутить, что бур провалился вдруг в невидимое пространство, и ничто уже не мешает прямой связи с ним. Ещё несколько минут — и его обитатели устремятся к малой брешу в сплошном льду, потому как им попросту не хватает воздуха. В родных пределах воздуха всегда не хватает. И полюбовавшись, помешкав, ужаснувшись, я стану вытягивать гибкие чешуйчатые тела в этот морозный мир, швырять их на шершавый речной панцирь и видеть, как радужные блики другой жизни пронзают студёную дымку.

- Прямо-таки не знаю, за что выпить. Редкий случай.
- Давай без тоста.
- Никогда не пробовал.
- О, как ты трогательно неопытен!

Высокие безлюдные берега. Прочные суставы хищного удилища. Красивые мёртвые рыбы, польстившиеся на чужой кислород. Рассеянная радость праздного дачника, шаткое равновесие невольного наблюдателя, глухой азарт серийного убийцы... К чему хочешь сердце прилаживай. Неутолимое искушение возможностью выбора. Или как принято — свобода. В смертной рубаше безмолвной зимы она кажется необъятной, желанной, бережной. Ею славно и покойно грезить в полудрёме после очередного глотка армянского, пока он вовсе не переборет сознание.

— А у меня для тебя сюрприз, — игриво протянула она, глядя в тарелку.

- Обычно за этим следует «у нас будет ребёнок».
- Да? Это уж тебе лучше знать.
- Я не прав?
- Представь себе, именно так.
- В таком случае я заинтригован.
- Хочу сделать тебе новогодний подарок.
- Не ожидал.
- Должен же Дед Мороз приносить нечаянные радости.
- К сожалению, никто никому ничего не должен.
- Или к счастью. И тем не менее, тем не менее... Ты продолжишь свои филологические упражнения?

- С грехом пополам.
- Вот я и решила по старой памяти порадовать матёрого греховодника.
- Хорошо, что память в порядке.
- Поздравляю с Новым годом! Пусть и у тебя всё будет в порядке.
- Желаю того же.
- Я нашла издателя на твой прошлогодний роман. Помнишь, как ты с ним тыркался? Издаст бесплатно. Даже гонорар будет. Не великий. Но по нынешним временам более чем...
- Не шутишь? Вот это да! Спасибо. За тебя!
- Не за что. Я знала, что тебе это понравится. Договор, кстати, уже готов. Я дала его посмотреть знакомому юристу. Нотариусом работает. А то мало ли что...
- А что?
- А то. Всякое нынче случается... Хочешь, я ему позвоню. Он парень свойский. Подскочит. И ты сразу подпишешь. Чтоб дело не стояло. Чего резину тянуть? Или в другой раз? Смотри сам...
- Да почему? Пусть подкатывает. Нальём.
- Будь по-твоему. Как всегда.
- Ой ли?
- Ой.

Этот старый, с ветшающими «сталинками» район тысячекратно исхожен мной вдоль и поперёк. Здесь живут мои призраки. Они не только из детства и младости завязанного пешехода. Иные — из других жизней и времён, с которыми соприкоснуться не выпало. Но они сквозят в трещинах потускневших фасадов, ржавых водостоках, зияющих слуховых окнах. Они и есть томительная здешняя душа и щемящая прелесть. Когда распахиваются очередные двери и попадаешь в огромный, с высоченными потолками коридор, где запросто можно кататься на велосипеде, кожей чувствуешь по сю пору не растраченные токи этих бестелесных жителей, их мольбы и упования, приязни и катастрофы. Все-все запахи и привкусы, которые намертво пропитали эти выносливые стены. Благодное жжение обеденной «Столичной» после ноябрьской демонстрации, желанную терпкость «дукатского» дымка, тусклые фольговые блёстки пайкового шоколада. Сразу становится ясно, что самое главное в этом жилище уже есть. Нужно только не спугнуть обидчивых домовых, дать разгуляться им в своей крови, раствориться в трепетной иллюзии жизни. И они отплатят сполна. Потускневшие обои, скрипучие полы, несвежая побелка властно повлекут побыть и остаться. Чтобы сладко дышать разрушенным воздухом и мучительно задыхаться от его избытка.

Нотариус обедни не портил. Он всё больше молчал, но улыбался охотно и дружески. Правда, рюмку отодвигал. За рулём, дескать.

Но зато с анекдотами у него всё было в порядке — один травил за другим. Специально заучивал что ли? А нам с Вестой — это было самое то. Общение теплело стремительно. Ещё бы! При таком-то массовике-затейнике!

— Если б ты только знал, как он мне помогает. И что б я без него делала?! — негромко делилась Веста, едва клонясь ко мне. — Не человек, а чудо! Это с его подачи...

Мы выпили за чудесного человека, готового в своё свободное время нестись чёрт-те куда, только чтобы сделать друзьям подарок. Такого теперь не бывает. И пришлось выпить за то, что всё-таки изредка случается.

— А где же подарок, а Дед Мороз? — жеманно спросила Веста.

Нотариус порылся в портфельчике и вытащил два экземпляра договора. Я не глядя подмахнул. Дарёному коню в зубы не смотрят. А нынче тем более.

На даче призраки ещё не обжились. Но тайком посещали её, присматривались, ластились к стенам. Этим придирчивым инспекторам помещение явно нравилось. Но дача была слишком для них новой. Слишком мало ещё памятного здесь осело. Чересчур разреженной была аура восторгов и терзаний. Непроглядно много было у дома этого впереди. А призраки дышат минувшим...

Мобильный у меня капризничал. Да я с ним и не дружил никогда... Потому пропущенные увидел не сразу. И даты были разные: Веста звонила несколько дней подряд. Рассказать что ли жаждала, как нотариус её проводил? Нотариусы, нотариусы, нотариусы... Прямо напасть какая-то!

Чем меньше закона, тем больше его блюстителей. И никакие снега им не помеха.

В детстве мне снилась моя старость. Первоначальная, ни к чему не обязывающая, странно желанная. На работу ходить было уже не нужно, и пасмурным осенним утром, обмотав подвядшую шею нежным кашне, я отправлялся гулять с немолодым вислоухим сеттером. Мы выходили в ближний сквер и долго глядели на тучи. Черноватые, плоскобрюхие, они быстро проплывали почти над нашими головами, заслоняя облупленные шпили послевоенных строений, крашенные церковные купола, облысевшие уже кроны деревьев из другого времени. Воздух был влажен и уютен. Хотя изрядный холодок то и дело забирался под кашне. Сеттер деловито справлял свои нужды, и совсем не торопился домой. Мне тоже спешить было некуда. Почему бы и не поостыть малость? Чтоб желанней было возвращаться к полусонной жене и раскалённой заварке, вытертому пледу и тапкам без задников, громоздким очкам и вчерашней газете. Раз-

румяненная от кухонного тепла хозяйка парила у серого окна. И от её светящихся щёк тучи становились ещё темнее, сплошнее, тяжелее. Я завидовал себе, приснившемуся. Было неизъяснимо хорошо, что всегда можно сюда вернуться и всегда можно уйти. Но лишь для того, чтобы до колкого средостения пробрала тебя эта упорная непогода, вяло отозвалась горловым першением, щедро оделила дождевыми пощёчинами. А невозмутимый сеттер старчески переваливался рядом, прекрасно помня, чем кончаются все уходы... Я знал, что так оно наверняка и будет. Нужно только подождать.

— Так когда территорию освобождать будешь?

О чём это она? Или, может, я ещё не проснулся? Нет, трубка, вроде и впрямь в руке...

— Не понял, милая.

— Это как раз тебя понять мудрёно.

— Слушай, хорош связистов кормить. Чего ты хочешь?

— Чтобы ты договор выполнял. Ничего более.

— А чего мне его выполнять? Рукопись готова. Пусть забирают в любой момент. И вперёд.

— Рукопись-то готова. Территория не готова.

— Какая территория?

— Твоего дачного участка, где разместятся типографские мощности. Там твоя нетленка и выйдет. Ты что договора не читал?

— А с какой стати? Типовой договор на издание...

— Ну да, чукча — писатель, чукча не читатель...

— А что?

— А то, что по договору ты сдаёшь свою землю и постройки издателям в долгосрочную аренду. А они развернут там производство и тут же тебя издадут. И не обидят.

— А где, интересно, я обитать буду? Квартира у тебя осталась. Или это такое приглашение вернуться?

— Хватит строить из себя идиота.

— Ты уже всё выстроила. Так что я не при делах. При твоих. Никаких дел у меня ни с тобой, ни с теми, кто губы раскатывает, нет и не будет. Понятно?

— А какого чёрта?..

Я вырубил мобильник.

Ты пришёл на улицу литературы купить себе славы? Но там уже давно нет магазинов, что ею торговали. Они ушли под офисы и бордели. Ты опоздал. Но может, оно и к лучшему... Зато ты можешь запросо дружить с призраками. И никто не упрекнёт тебя в корысти.

Питомцы муз способны на многое. Веста рассказывала, что в послереволюционном Петербурге на выборах председателя Союза

поэтов Блок опередил Гумилёва. Но тот не растерялся. Выкопал процедурные нарушения, организовал комиссию, настоял на повторном голосовании. И победил. С перевесом в один голос. На службу по ведомству Евтерпы берут лишь задорных господ с крепкими локтями. И неутомимых дам с рабочими челюстями.

Тайная квартира — это свой удивительный отдельный мир. Но его отдельность и удивительность остры лишь вблизи привычного и необходимого плацдарма существования. Иначе желанное убежище само становится плацдармом. Сродни форту для борьбы с индейцами где-то на детском диком Западе. А мне это всё нужно вовсе не для борьбы... Оттого явка располагалась неподалёку от нашего с Вестой жилья. Хотя это было и небезопасно. Ну а какая прелесть без опасности?

Прежде, чем пострадать за участие в боевой организации Тагинцева, он и сам армейский мятеж во Франции подавлял. Так что они с Богом квиты.

А можно ли сочинителю жить на виду? Не берусь утверждать. «Поэт хороший, но без тайны», — говаривала питерская «бражница и блудница». И речь тут не только о стихах. Может, «хороший» здесь и ключевое слово, но «всё же, всё же, всё же...»

И что это шеф на меня так пялится? Точно он тут главный. Посади идиота за руль — он и решит, что всё можно. У таких ведь одно на уме: можно или нельзя. И уж если да — изголяются по полной. Мелюзга безнадёжная... Ещё что ли глоток? Если о дураках и дорогах — у нас с этим дело, конечно, швах. Но разве хороший дурак и хорошая дорога — это решение вопроса? Всё одно едем незнамо куда.

«Женщины любят тех, кто ими занимается», — наставляла она уже на исходе жизни соседок по больничной палате. Да разве это только женщин касается? А я, увы, занимаюсь собой. Ничего не поделаешь. Профессиональная болезнь... Но не дай тебе Бог вылечиться от профессии!

Блондинки кричат громче. Кто это сказал? Полная чушь! Как раз наоборот... Но не в том дело. От них светлее. «Не потому что от неё светло, а потому что с ней не надо света»... Тоже чушь. Свет всегда нужен. Хотя бы и дежурный, кукольный. Он всё равно в тебя светит. И неважно откуда. Важно куда... Донце души радо любому лучу. Хоть и мнимому. Цена этому свету известна. Но от этого он не перестаёт быть светом. Всё ведь прекрасно знаешь, а западаешь и западаешь...

Всё же горит у них за солнечным сплетением какой-то неведомый фонарь. Они и сами не знают об этом. Хотя, бестии, догадыва-

ются. Не разумеют, но чувят. Ещё бы не чувять, если у тебя в животе лампочка! Это не плод во чреве. И тут никакой физиологии... Тут чёрт знает что!

И почему я думаю о старости не как об удручающей неизбежности, а как о несбыточной мечте? Наверное, её нужно заслужить. И я пока этого не сделал. Потому и приходится лететь, опережая ветер. Дабы в пункте назначения ты не был стеснён соседством с другими ушлыми попутчиками. Ты должен без ненужных свидетелей сказать то, что следует. И прекрасно знаешь — кому.

О, что было бы, окажись я в сталинскую пору на ковре какого-нибудь партсобрания! Страшно подумать. Разве что лишь издали любо глянуть на эти ходячие тренированные желваки, ясные решительные глаза, синие от нетерпения кулачки. За что? Да хоть за аморалку. Но это самое безобидное. Из этого тут же бы и другое выросло. Почва-то плодородная.

Сколько народу нашему путь не указывай, он всё кругалю двинет. То ли назло, то ли с каким умыслом. Бог весть — почему. А потому можно не напрягаться. Будь рядом — и всё. А где ж тебе ещё сейчас быть?

Прошое нельзя своевольно арендовать на время. Оно согласнo только на вечность. Иначе запахи ускользают, тени прячутся, зеркала мрачнеют. И призраки, аки крысы от опасности, бегут без оглядки. Ищи-свищи... И что остаётся? Только стол, койка да сортир? Не густо. Потому со съёмным убежищем я распростился без сожаления. Оно стало пустынным и чужим. Там не было никого.

Отчего так веришь белизне? Снежные дали, льдистые берега, занесённый участок... Может, и не стоит чистить дорожки? А власть замуроваться тут как в берлоге. Затаиться, забыться, исчезнуть. И спать, спать, спать — пока печали не сойдут со снегами.

Воинственные индейские кличи, бесстрастные юридические формулировки, хриплые постельные восклицания из неизданного романа сплелись в один атакующий гуд. Я закрыл уши ладонями, но это не помогло. Звук резонировал, креп, ширился. Он заглушал мотор, заполнял кабину, мёртво въедался в мозг... Единственным спасением был только скорый приезд. Очень скорый. Времени не оставалось.

«Гони! Тормозить нельзя!..» И чего он боится? Промедления бояться надо, а не скорости. Сколько раз в жизни бывало уже позд-

но! Всё делалось правильно. Но было поздно. «Жизни не знаешь, шеф!» Зашуганный нынче народ пошёл. Думает, если ушки на макушке — всё склеится. Лететь нужно, а не озираться. Стать ветром, снежными бликами, слившимися в линию. Обратиться в промельк, в иллюзию, в ничто. В призрак. Нет, не сумеречный. Блесткий, неуловимый, шалый. А иначе за прочими призраками не угнаться. Палевыми, золотистыми, светлыми. И они скроются навсегда. «Ты понимаешь, чудило? Навсегда!» Да и сам хорош — всё клянчишь, чтоб тебя поняли. А кому понимать-то? Этому что ли, который вырубивает по какому-то своему разумению? Да мы так до светопреставления не доберёмся... Да мы заблудились что ли? «Ты совсем ослеп, фу-фел?» Он что, нарочно? Где это я? Поживиться вздумал, урод...

Я рванул руль на себя и хлестанул бандюгу по рылу. Тачка пошла юзом, кувыркнулась и вылетела в белёсое, солнечное, слепящее... «Ослеп, ослеп, ослеп...» мгновенно рассыпалось вокруг и разом кануло в круговом огне. Дикий хохот пламенной волной захлестнул небо. И я тоже стал пламенем.

Закат ещё едва разгорался. По снегу ползли бежевые блики. Ветки недвижно торчали в меркнувшем небе. Кругом радостно царило безветрие. Мы с Вестой медленно шли от крыльца к дальнему краю участка. Сухая искрящаяся тишина оседала в груди. Сквозь обледенелый штакетник проступали волшебные лучистые сугробы на самом берегу близкой реки, которая и подо льдом продолжала жить своей непреложной жизнью. Но о ней можно было только догадываться.

НОТАРИУС
pro bono publico

Он верный друг, он — принца датского
Твердит бессмертный монолог,
С упорностью участия братского,
Спокойно-нежен, тих и строг.

В. Б.

— Нынче нашего брата поразвелось дальше некуда. Друг о друга трутся, а дела нет. А то норовят и вообще из русла вытеснить. На всех водицы не хватает. А если ты рыба, то куда тебе на суше деваться?.. Ноги отращивать? Некоторые и отращивают — что поде-лаешь... Но это, слава всевышнему, не про меня.

Никогда никого не учил жить. Боже упаси. У каждого свои рецепты... Но для себя самого какие-то позиции обозначать — задача неизбежная. Незадачливых с их позиций в два счёта вышибают... Нынче дело обстоит именно так. Как, наверное, и всегда... Но я не жил всегда. Я сужу только из сегодня...

Юриисконсульт, адвокат, нотариус... Что же я уяснил из своей богатой и причудливой практики? В дебрях закона нужно не указатели для клиента расставлять, а за ручку родимого вести по потайным тропам. И давать чётко понять, что они потайные. И приводить к мысли, что один он их ни за что не отыщет. А если и отыщет, то заблудится моментально. И его спасение — это только ты.

Нужно хорошо понимать, что клиент не твоего сочувствия жаждет. Ему твоё самостояние важно видеть. Ему нужно, чтобы ты смотрел на него спокойно, уверенно и порою с улыбкой. И был даже в некоторой оппозиции к его намерениям. Но чтобы это выглядело не противостоянием, а стремлением в должной мере внести необходимые коррективы.

Всегда нужно стараться установить с клиентом доверительные отношения. Это вовсе не значит — доверять. Просто убрать из общения всё что может вызвать недоверие. Так проще. И результативнее. И разговаривать на все темы — на какую-то клиент и западёт. Футбол обсуждать, комплименты делать, дурацкие смешилки трать... Вы знаете, как юристы читают стихи?

Ехали медведи на велосипеде,

А за ними кот задом наперед (ст. 213. Хулиганство)

А за ним комарики на воздушном шарике (ст. 211. Угон воздушного судна; ст. Нарушение правил международных полетов)

А за ними раки на хромой собаке (ст. 245. Жестокое обращение с животными)

Едут и смеются, пряники жуют (ст. 212. Массовые беспорядки; ст. 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)

Волки от испуга скушали друг друга (ст. 110. Доведение до самоубийства)

Бедный крокодил жабу проглотил (ст. 107. Убийство совершенное в состоянии аффекта)

И сказал Гиппопотам крокодилам и китам:

Кто злодея не боится и с чудовищем сразится,

Я тому богатырю двух лягушек подарю

И еловую шишку пожалую (ст. 291. Дача взятки; ст. 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.)

Не боимся мы его, великана твоего!

Мы зубами, мы клыками, мы копытами его!

И веселою гурьбой звери кинулись в бой (ст. 279. Вооруженный мятеж; ст. 282, 1. Организация экстремистского сообщества)

Прошу прощения за возможные неточности в названиях и нумерации статей: поэтическое волнение, знаете ли... Но сплошь и рядом одних смешилок маловато бывает. А клиент тебе позарез нужен... Вот одна дама-риэлтор, например. Через неё поток продавцов-покупателей идёт. Весьма своенравная особа. Кофе в офисе тут

не отделаешься. Нужна развёрнутая программа. Пришлось в ресторан пригласить... Погодой повозмущались, власти хором поругали... А под занавес я выслушивал рассказ про её беспрсветную жизнь. Это хороший знак! Оказалось, она по образованию филолог. И наизусть пару стихотворений прочитала. Фамилии авторов мне не сказали ничего... Я заметил, что Блок, между прочим, чуть не четыре года на юридическом отучился. И не он один... Так что мы, несомненно, родственные души! Ну и пошло-поехало... Столько сразу точек соприкосновения обнаружилось! В общем, вернулись в офис да так до утра и зависли...

Потом мы встречались только днём. По разным квартирам. А по ночам нужно высыпаться! Это её всегдашняя установка. Да ради бога!.. Мне-то что?.. «Я очень послушная. Что угодно сделаю. Но только в постели, — игриво заявляла он. — А потом уж не обесудь...» И была права. Совместные постельные бдения — это лишь повод перейти на «ты»...

Вообще дистанцию не соблюдать требуется. А играть с ней. Как художник со светотенью... Сближаясь, нужно время от времени с выразительной тоской поглядывать в окно. Отдаляясь, давать почувствовать, что возможно и новое сближение. И много теснее прежнего. И можно будет даже чем-то формальным и пренебречь в присных и неотступных делах наших... Так клиент и хрупкость своего бытия острее чувствует, и откликается легче и радостней...

Но идти на что-то по-настоящему важное и манкое, а потому пугающее, с одним клиентом можно только один раз. Иначе можешь потерять всё. Почему? Я и сам объяснить не берусь. Это как кантовский нравственный закон внутри нас...

Закон... Это ни есть нечто незыблемое. И конечно, нужно стремиться участвовать в непрерывном законотворческом процессе. По крайней мере заявлять о своём видении необходимых изменений. Потенциальные клиенты должны знать о твоей креативной начинке. Заявлять нужно громко, регулярно, настырно. Иначе не услышат.

Я как-то пристрелял к одной региональной партийной ячейке. То да сё... Помог им пару раз. Взгляды мне их до и по... А положи руку на сердце — у них и у самих ни на что никаких взглядов... Но удочку насчёт партийного списка на выборы закинул. А почему бы и нет? Достойный представитель сочувствующей интеллигенции... Да и не в главную же думу — в здешнюю. Я парень воспитанный. А кто зарывается — того зарывают...

И что же? Пошептались-пошептались и включили. Понятно было, дело дохлое. Хотя, не скрою, червячок внутри шевелился... Но разве народец наш расшевелишь? У нас ведь как? На выборах сплошь блондинки. Цепанёт бюллетень — и к столику. «Ну и чё с ним теперь делать?» — «Бросайте в урну». Шары на выкате: «А где тут у вас урна?» — «Да вон же, вон!» — «Ааа, спасибо, заодно и жвачку выплуну!»

Не затем я эту комедию затеял, чтобы безбашенных вразумлять. Я что, идиот? А в телевизоре, в интернете, в газетёнках посветиться очень даже полезно для здоровья. Психического. И сам к себе проникаешься, и клиенты охотнее с дензнаками расстаются... И само собой принимается, что тебя не на помойке нашли. Это, как ни крути, часть профессии...

Скажите, что я — лишь функция? Да, я решаю специфические задачи. И людей, и свои... А кто в обществе не функция? Такие оказываются вне общества. А мне важна самореализация именно в нём. А не в пустыне пред Господом Богом... Это не по моей части.

Чтобы продуктивно действовать, нужно возвращать в себе амбиции. Не на показ, а для того, чтобы движок внутри гудел. Чтобы дурака валять перед самим собой неудобно было... Вообще внутри нужно поселить этакого соглядатая. Который вроде как ты, да и не совсем ты... А немного со стороны поглядывал — даром что внутри... И всё будет крутиться-вертеться, как положено.

Ведь на таких, как я, всё и держится... Это только кажется, что без меня можно легко обойтись. Всё развалится в два счёта. Не будь нужды — я бы и не родился вовсе...

Нотариус обращается к своей посетительнице:

— Итак, по вашей просьбе я записал в вашем завещании, чтобы вас кремировали, а прах развеяли над торговым центром. Только я не пойму, зачем вам это?

— Так я буду уверена, что моя дочь часто будет меня навещать.

Вот я и делаю так, чтобы люди навещали друг друга. И многое-много из нерешённого решали... Разве это не замечательно?

ОПРАВДАНИЕ РЫБЫ

из жизни подо льдом

Рыбы не льют слёзы:
упираясь головой
в глыбы,
в холодной воде
мерзнут
холодные глаза
рыбы.

И. Б.

Что там над ледяным панцирем? Процарапанные морозом чёрные силуэты вечерних птиц на слюдяных небесах? Седые дымы над заснеженным посёлком за недалёней лесополой? Беспорядочные заячьи следы на белом степном покрывале? Я этого не вижу. Но оттого представляю чётче и реальной, чем позволяет обычное зрение. Такая, верно, награда за мнимое смирение с участью. А поди попробуй тут разберись, что мнится, а что и впрямь таится в крови...

Над плавником — матовое, сплошное, непроглядное. И нет ни конца ему, ни края. Сколько по руслу не иди — всё то же самое. А идти необходимо, иначе оно не кончится никогда. Но хочется не измором да упрямством взять. Хочется нечаянного подарка. Хочется внезапной милости... Но её нужно заслужить. По-иному не бывает.

Люблю идти против течения. И совсем даже не из-за супротивства. А для того, чтоб тело тренировать. Чтобы в тонусе быть всю дорогу. Чтобы иметь право приказывать себе сочинять. И не угрызаться о бессмысленности. А по течению и брюхом вверх — это всегда запросто...

Там наверху сидят сумрачные рыбаки, прячутся в мёрзлые лунки, ёжятся от жизни знобкой. И ждут, ждут ждут... Это главное их занятие. До чего одинаковы их покатые спины, массивные валенки с галошами, выдавшие виды ящики с нехитрой снедью! До чего похожа наживка на типовых крючках, застывших в тягучей водной толще! И кто позарится на жалкую приманку?.. Но они не ропщут. Они знают какой-то важный секрет. И ни за что не желают его выдавать.

Если уж и клевать на наживку, то не потому что жрать хочется. А потому что рванёт крючок тебя к небу. И ты жизнь иную увидишь. И залюбуешься, заразишься, забудешь всё... На это и впрямь купиться не грех.

И к какой породе себя отнести? Ума не дам. Верно, не мелочь пузатая... Но породе определяют, когда выловят. Дабы понять, что с этим чудом делать: как готовить и почём продать можно. Тут меня по разряду и определяют — никуда не денутся. Я только ничего про это уже не узнаю. Да невелика потеря. Будто изменится что...

Порой мне кажется, это тело в чешуе, с жабрами и плавниками — не моё. Конечно — влекло, волокно, кружило меня и раньше. Но был я щепкой, ниткой, песчинкой. Частицей какой-то неразличимой. Но потом кто-то решил, что время вышло — и нужно менять обличье. А это не происходит постепенно. Только — разом...

Обличья будут разными. Я обязательно стану тем, кто находит этому подтверждения и оправдания. И тоже видит оплечь один лишь лёд. И так же бредит рекой. Только называется она по-иному. На неё то и дело в стихах кивают...

Он садится за письменный стол, берёт белоснежный лист и ту-по смотрит на него в упор. Он не любит компьютер и пытается пробить лёд листа пером. Как и многие-многие другие. Но теперь его очередь. И отступить некуда.

Ночью в подвале потчевали форелью, приготовленной по фирменному рецепту. С особым соусом. Лопались хлопущи, сеялось

конфетти, мелькали гирлянды. С маленькой эстрады под одобрительные возгласы горячо читались идиотские поздравления. В увесистую «Свиную книгу» дружно записывались экспромты и фривольные послания. Праздничный шум и гам настойчиво перемежался нескончаемым фужерным звоном. Разгорячённые завсегдатаи усиленно развлекали надменных небожительниц с подведёнными глазами. В углу на повышенных тонах безоглядно спорили о модных журнальных новинках. Юркий распорядитель неумоимо сновал между столиками, стараясь хоть как-то скоординировать вышедшее из-под контроля действо.

Новый тринадцатый год сулил фейерверки и карнавалы, удивительные знакомства и головокружительные влюблённости, беспримерные строки и лёгкую славу. Всё только разгоралось, искрило, обещало... Яд причастности пьянил сильнее шампанского. Всех непричастных, случайных, посторонних независимо от рода занятий за глаза именовали фармацевтами. Почему фармацевтами? А бог его знает... Но сколько в этом презрения! Круг посвящённых был самодостаточным. И название заведения было весьма метким. «Художественное общество интимного театра». Правда, в обиходе называли его проще. Так и прижилось. Картонные маски, фатовские банты, дурацкие колпаки...

Есть ли нынче оправдания подробным описаниям? Беспардонно фотографичным и кичащимся нарочитой документальностью. Обстоятельным и многоабзачным, с каким-то извращённым сладострастием в своей неистощимой тщательности. Претендующим на первостепенное внимание и успешным в своих претензиях. Не отнесло ли их за пройденный давно поворот неумолимым течением? Не обман ли они зрения, не глазная причуда, не игра ли света? Потому как мнится, что случилось уже их миновать, а они по-новой проступают по берегам...

Время нынче такое — сплошной лёд. Это раньше отблески да переливы соседских плавников радовали. Красиво же! А нынче зябко и не до красоты... Только и думаешь, как свои бы не повредить. Тогда либо на дно, либо на сковороду. И разве кто поможет? Только и видишь — крючки, крючки, крючки. Что ни прорубь — свой крючок. Вот и вся помощь...

По берегам светятся ранним огнём заснеженные дома, тяжким стеклярусом мерцают обледенелые провода, наливаются силой робкие тени. Я не могу это видеть, но знаю наверняка. Там идёт иная жизнь, о которой можно только догадываться. И я выстраиваю её всю целиком — до самых ничтожных мелочей. И знаю её много лучше увиденной. И она дразнит, влечёт, ошеломляет... И вытесняет мою собственную.

Вижу боковым зрением, как движутся мимо другие рыбы — медлительные, дородные, с несуетно мерцающей чешуёй. Мы словно не замечаем друг друга — взгляды проходят насквозь и теряются в речных недрах. Я не существую для них, они — для меня. Мы живём в разных измерениях, и разве что порой совпадаем в пространстве. Потому как русло на поверку узкое, и никто никого не минует.

Кем же я стану, когда лишусь чешуи, хвоста, плавников? А это обязательно рано или поздно произойдёт. Обличия вечными не бывают. Конечно, никто не расскажет, что меня ждёт. Но любопытство заставляет идти по руслу всё дальше и дальше. Может, это и есть главный мой двигатель?

Неподвижные, сиднем сидящие у лунок рыбаки в густой заиндевелой щетине... Чем полнятся их непроглядные души? Безденежье, бытовуха, жёны-любовницы?.. Частые задержки на работе, поздние звонки с путаными объяснениями, жалкие попытки вырваться из обрыдлого круговорота... И всё скомканно, второпях, с оглядкой... Адюльтер. Слово-то какое красивое! А что за ним? Нервы, пот, угрызения... И как можно всё это терпеть? Если уж такое вошло в плоть и кровь, нужно что-то в родном сумасшедшем доме менять. И почему так упорно не замечают эту муторную неразбериху? Делают вид, что так и надо... Да встаньте и скажите: «У нас отныне — никакого лицемерия. Если человек так сконструирован — пусть будет так! И не нужно заламывать руки, рвать на себе волосы, биться в судорогах — спокойно посмотрите правде в нестрашные глаза и примите её как родную».

Берега, берега... Но по весне, глядишь, и выйдет река из берегов. И реку понять можно... Да только что проку рыбе-то от этого понимания? Река в русло вернётся как ни в чём не бывало и зашустрит себе дальше. А рыба — ежели она с рекою вкупе за берега последуют — потом там и останется коченеть среди сохлого ила. И ничьих слёз не случится. Здесь не слезами живут, а водой шалой...

И что там на берегах? Не знаю. И знать не могу. Сам я не увижу никак. А веры в сторонние рассказы — никакой. Какой идиот нынче верит?.. Могу только догадываться. Но зато есть отчётливое ощущение, что догадки мои верны.

«Каждому — своя живая вода. Мне — любовь. А всё остальное — суша», — говаривала девица Старынкевич, прославившаяся умопомрачительными похождениями уже совсем под другой фамилией... Алексей Толстой описывал её весьма колоритно. «...Такой гнили нигде не найдешь — наслаждение!.. Посмотри — вон в углу сидит одна — худа, страшна, шевелиться даже не может: истерия в последнем градусе, — пользуется необыкновенным успехом». А уж

малорослый, с нафиксатуаренными редкими прядями обладатель огромных византийских глаз выражался в «Гимне Бродячей собаки» с убийственной определённой...

Не забыта и Паллада
В титулованном кругу,
Словно древняя Дриада,
Что резвится на лугу,
Ей любовь одна отрада,
И где надо и не надо
Не ответит, не ответит, не ответит «не могу»!

Был момент, когда у неё одновременно имелось шесть любовников. Узнав об этом, они разбежались в ужасе. А в это время отец-генерал настойчиво писал Палладе письма, требовал никогда и ни за что не оставаться в комнате наедине с мужчиной. Это не прилично! «О, бедный папа...» — вздыхала Паллада, демонстрируя папины эпистолы Ахматовой.

Думаю, что иду по руслу лишь потому, что нет за мною пригляда. Иначе — не смог бы. Стеснялся бы, тормозился да и застрял потом намертво... На виду — ты не ты. Взгляд извне слишком уж много внутри меняет... Такой вот фотозэффект. Но если над головой — лёд, кто ж тебя сверху высмотрит? Стало быть, вышним взорам ты недоступен. А рыбы соседские — не в счёт. Они всё одно себя в тебе видят... Вот ты сам себе и предоставлен. Чего же ещё желать?

Сегодня ты упрямо идешь подо льдом неведомо зачем, завтра взлетаешь на крючке неведомо куда... Сетовать не на что. Так и должно быть. Угнетает лишь будничность рубежа. Никакого трагизма, пафоса, истерики, наконец... Просто окончание. И начало.

А так ли важно, в каком ты нынче обличи? Ведь знаешь наверняка, что будут иные. И уже обживаешь их заранее... Ты весь — там, и только чешуя по недоразумению держится ещё на упрямых костях. И ты идёшь по ледяной воде неведомо куда. И другого пути нет.

Тот, кто движется по руслу речному, бредит житьём береговым. В каком-нибудь просторном рубленом доме — чуть поодаль, не на самом краю. Чтoб сухо было, тепло, покойно. И чтoб река виделась — но только со стороны. Разносолы в погребе, лист писчей на столе, лопата для снега в сарае... И ни души вокруг.

Станешь вставать рано, чистить снег, садиться к столу. Припоминать какой-нибудь затёртый эпитафия, множить под ним прописные истины, любоваться на то, что начерталось. Воистину не бу-

дешь сторониться банальностей — приучишься находить в них радость. И повторяя многих, станешь выходить по случаю из берегов знобкого уединения, срываться на вечерних попутках в соседний посёлок, с нехитрой снедью в охапке негаданно заваливать в гости. В потном и сытном застолье швырять проходные остроты в жадный огонь взрывного смеха, поддразнивать хозяйку лукавыми рассказами о прелестях житья бобыльего, ловко вворачивать в паузах что-нибудь из хорошо забытого...

Непрошенные гости
Сошлись ко мне на чай,
Тут, хочешь иль не хочешь,
С улыбкою встречай.

Глаза у них померкли
И пальцы словно воск,
И нищенски играет
По швам жидовский лоск.

Забутые названья,
Небывшие слова...
От темных разговоров
Тупеет голова...

И сладко чуют пробужденье крови, жар, тесноту за грудиной... И не спеша забывать всё — где ты, с кем ты, кто ты... И дорожить не памятью, а радостью нутряной. Сладко парить в дружном шуме и гаме, плавно уходить в манкую невесомость, легко растворяться в дымном веселье без остатка. И в странном сне видеть себя большой ледяной рыбой с неподвижными спокойными глазами, привыкшими к подводной темноте.

И почему рыбы не улыбаются? Может, в этой равновесной отстраненности — охранная грамота? Ведь лишь у карася жареного прежде улыбка имелась... Через неё на сковородку и угождают... Не знаю почему, но уверен, что попадусь на удочку именно бумагомастера. Другие категории ловцов давно уже не вызывают никаких эмоций. А эти с безнадежным упрямством всё пытаются поймать нечто подводное и невидимое — то, чему и сами имени не ведают... Слишком они смешны и жалки, чтобы не помочь им...

Ох, уж это манкое тепло! Течение парного молока вдоль мягкого позвоночника, восход лёгкого солнца под ложечкой, дружное цветение невиданных водорослей в обморочном мозгу. И рядом — желанное. Чьё-то пульсирующее, лучистое, бесчешуйчатое тело... А разве на берегу можно жить без чутких плавников и сплошной чешуи?

В береговой жизни я бы выбирал час, когда закат ещё только разгорается. По снегу ползут бежевые блики. Ветки висят недвижно в меркнувшем небе. И в округе безраздельно царит полное безветрие. И я бы неспешно шёл с какой-нибудь молчаливой спутницей от крыльца к дальнему краю участка. Сухая искрящаяся тишина оседала в груди. Сквозь обледенелый штакетник проступали волшебные лучистые сугробы на самом берегу близкой реки, которая и подо льдом продолжала жить своей непреложным порядком. Но о нём можно было только догадываться. Потому что о прежних жизнях не помнят.

Если хочешь идти по реке, нужно стремиться к следующему. Первое — не позволять себя выловить. Второе — сохранять при этом лицо. Это и рыб касается. Третье — слушать своё внутреннее течение. Рыбы, возможно, безмолвны — но не глухи. И последнее — беречь безусловную самодостаточность. Чешуя у сородичей скользкая...

Чем студёнее водица, тем слаще воображаемый жар застольный, горячий взгляд краткий, дружный гомон бессмысленный. Слово и впрямь существует некий закон восполнения всего того, чего нет здесь и сейчас.

Дымные ночные гостиные, полупьяные декламации сумбурных строф, изломанные девицы с блядским блеском в глазах. Фальшивые камешки, восторженные выкрики, тонкие сигаретки. «Какие талантливые мальчики! Зачем они так губят себя?.. Зачем, зачем жить будто во сне? Неужели не страшно знать, что не проснёшься никогда?» Лица плывут, картины смазываются, слова сливаются. Липкие поцелуи, потные простыни, предрассветная тошнота. И сны — отрывочные, горячечные, острые... «Скоро всё рухнет, всё рухнет, всё... Отчего финал так сладок?»

Мне кажется, что слышу, о чём сидельцы с удочками шуточки шутят. Конечно, слышу, как один говорит другому:

— Если у нас человек с рыбалки возвращается трезвый и с рыбой, то он считается браконьером...

Корнет-самоубийца, гусарский ментик, дама в соболях... Полковое прозябание в Риге, частые отлучки в столицу, посиделки за полночь в «Бродячей собаке». Что за мысли будил дымный подвальчик в этом томном юнце? Об идиотской бравате Михаила Кузмина, вздумавшего издать скандальную книжицу — сплошь из их посвящений друг другу? И название какое придумал! «Пример возлюбленным. Стихи для немногих». Да ещё и Брюсову рукопись отослал... Или об Олечке Судейкиной? Как с ней было непросто! Разве

же можно такое вытерпеть?.. Или о том, что возраст уже нешуточный — двадцать два года, а только всего лишь два несчастных стихотворения и напечатаны?.. Только два! А жизнь уже почти прошла.

Если и сто́ит ради чего-то по реке идти — это лишь кайф от самого́ хода. Упругая волна плавников, жадная пульсация жабр, чуткая сила хвоста. Упрямая посадка головы, невозмутимый взгляд равноприимных глаз, плоское решительное тело... Да, ты идёшь в неизвестность. Но идёшь, чёрт побери, элегантно! Яро переливается водная толща, сказочно клубятся зачарованные водоросли, победно множатся впереди шампанские воздушные пузыри. Если дорога прекрасна, то не всё ли равно — куда она? Не бывает напрасным прекрасное... Откуда это?.. И не подскажет никто — все кругом воды в рот набрали.

Или вот это. Мужик утонул в проруби, несмотря на то, что был рыба по гороскопу и дерьмо как человек... Над кем смеётесь?

Почему просто общение невозможно? Либо всё равно крючок, либо рыбе ледяное молчание в ответ... И кому от этого лучше?

И чего ради? Чтобы через год после самоубийства, отец собрал всё под одной обложкой? «Стихи. Посмертное издание». Ну хоть бы с названием повезло...

Вы — милая, нежная Коломбина,
Вся розовая в голубом.
Портрет возле старого клавесина
Белой девушки с желтым цветком!

Нежно поцеловали, закрыв дверцу
(А на шляпе желтое перо)...
И разве не больно, не больно сердцу
Знать, что я только Пьеро, Пьеро?..

Нет, конечно, не ради этого. А ради того, чтобы потом по другим строчкам шли умопомрачительные дамы в соболях. Что бы гусарский ментик небрежно красовался на его левом плече. Чтобы престарелый педераст-Кузьмин сладострастно запускал юную манкую тень в свои неряшливые тёмные вирши. Но чтобы форель всё-таки разбивала лёд...

Хоть плаванье моё долгое, но мыслю я коротко. Вспышками, фрагментами, отрывками. Только так выходит острее, ярче, чётче... Ход по реке не сулит ни счастья, ни славы. Какое счастье возможно в таком холоде? О какой славе может идти речь, если окрестные рыбы заняты только собой?

Беспорядочно расбросанные меж мостов уродливые торосы, тяжёлые обледенелые стены набережных, невнятные в снежной замети купола... Чем травит души этот город? Неуют, озноб, душегубство. «Как будто солнце мы похоронили в нём...» Может быть, здешний воздух навсегда фиксирует всё написанное? Консервант такой... И как буквы, выведенные молоком проступают из небытия у огня, так и мороз являет на тусклом небосводе всё сочиненное при горячей крови?

А впрочем, не те ли полоумны, что ищут преодоление в смешных птичьих росчерках на ледяной бумаге, на слепящем экране, на закатном небе? Чем пособят им эти беспомощные буквы? Птицы взвоятся и улетят. А человеческий праздник глупцы проворонили.

Время, время, время... И приходит время попадаться на крючок. И вовсе не по глупости и доверчивости. А потому что общая критическая масса пройденных крючков, оставшихся без добычи, давно превышена. И ничего не попишешь.

Форель тушёная с мадерою и раковым соусом... Очистить, вымыть, посолить на один час, положить в кастрюлю от одной восьмой до одной четвёртой фунта сливочного масла, вылить туда один стакан мaderas, рыбного бульона, чтобы едва покрыло, положить одну штуку лаврового листа, накрыть крышкою, залепить тестом, раз вскипятить, поставить в духовую печь, утушить до готовности, в продолжении приблизительно часа. Слить бульон, развести им заранее заправленный на рыбном бульоне, раковый соус номер четырёхста тридцать один... Ох, и затейницей была эта Елена Молоховец! Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. А возможно ли уменьшить расходы?

Не странно ли, что рыба́я плоть и есть возделенное лакомство? Скользкая, водянистая, слизистая... Верно, всё дело в соусе. Да-да, главное — это соус. И если номер его — четырёхста тридцать один, тогда всё в порядке. Ни единицей больше, ни четвертушкой меньше.

О чём думал Гаврила Князев, сопровождая труп сына по пути из Риги на питерское Смоленское кладбище? О том, что и после смерти этот лицедейский город не отпускает? О том, что Ольга просто мстила соблазённому Кузминым мужу-Судейкину, отдаваясь мальчику-гусару на супружеском диване? И всё произошедшее выглядит лишь подтверждением её неотразимости? Бог покарает тех, кто заставил его страдать. Это скажет на похоронах мать, подняв на виновницу сухие глаза. А потом карнавал продолжится с новой силой. Безоглядно, иступлённо, насмерть... И Всеволод станет первым среди сгинувших мальчиков — совсем скоро начнётся война, и только с нею — не календарное, а реальное безжалостное столетие.

И уже не одни, а бесчисленное множество глупых мальчишек уйдёт в вечный покой. И вот тогда в смерть поверится без дураков, и кровь перестанет казаться свекольным соком. И после похорон Блока в двадцать первом году Ахматова и Судейкина будут искать могилу Всеволода на Смоленском. Должно быть, где-то здесь у стены? Но не отыщут... О чём они будут тогда молчать? О том, что в этих семи годах — целая жизнь, перечеркнувшая прежнюю? Или о том, что именно со Всеволода всё и началось — крушения, утраты, бездны...

И всё-таки рыбы и есть в русле главное. А не водоросли, крючки да утопленники. Если чешуйчатобокие так желанны на берегу, если столько полоумных готовы тратить своё время и тепло, чтобы извлечь их на свет божий — значит, есть смысл в тёмных подлёдных путях.

Белые-белые воображаемые дали, краткие сполохи над верховьем, зыбкие лица в тесном тепле... Мнимые черты, дурацкие миражи, грошова прелесть. А чем ещё греть холодное тело? Зима безбрежна.

Я мгновенно взлетел и ослеп от внезапного света... И только когда крючок извлекли, понял, что лежу на снегу рядом с бородачом, колдующим над удилицем. Но хлопчет он недолго — отходит в сторону, достаёт из кармана лист писчей и шариковую, медлит с минуту и начинает что-то самозабвенно записывать. Слов издали не разобрать. А лист и вовсе сливается с заснеженным руслом. И буквы неподвижными птицами волшебным образом держатся в морозном воздухе.

ТАКСИСТ

прелюдия к полицейскому протоколу

У божьей иглы не измерить ушка,
Мелькает лишь нить — огневая река...
Н. К.

Странного типа я посадил. Что-то бубнит всю дорогу. Вроде как сам себе. А потом будто тумблер внутри перещёлкивает — вдруг пристёбываться начинает. «Ты что, шеф, нюх потерял? Куда мы прёмся?..» Обматеришь его как следует — остывает маленько... Чудак, одним словом, на букву «м».

А что удивляться? Тут и похлеще — пруд пруди... Один хорошо загашенный заорал вдруг: «Я рыба на крючке». И уж почти в окно выскользнул... Едва успел по тормозам дать... А то бы ни в жизнь не расхлебался!

И то неплохо, что нынче хоть разобраться порываются. А то вон в девяностых, когда машины из таксопарков по рукам раздали — блатата решила, что водилы дикие бабки закалчивать стали.

И наезжали по-чёрному... Один раз сел на заднее сиденье пассажир. Тихий такой, subtilный. Только отъехали — он завозился как-то. Но ни слова. Я и ни сном, ни духом... Глазом не успел пошевелить — и на шее удавка. «Где бабульки?» Хорошо барсетка рядом была. Он её цапнул, да и был таков... И что — искал его кто?! Угадайте с трёх раз...

По совести сказать, оно и сейчас на фиг никому ничего не нужно. Но тогда вообще страх потеряли. Нынче подобрали маленько. Но да разве теперь его соберёшь... Помню, нож к горлу приставили и стакан с какой-то хернёй протягивают — на-ка, дружище, засади... «А не сдохну?» — интересуюсь. «Да, нет, — отвечают, — хотя, кто ж тебя, суку, знает? Глотай, а то разом к спинке припилю...» Тачку, понятно, забрали... Но, главное, я проснулся. Не сразу, а через двое суток. Но это уже частности...

Этот тип тоже какой-то стакашек суёт. Но тут, сразу видно, дело в другом. Уж я видал таких, перевидал... Ему бы самому потом проснуться... Что-то о бабе своей несёт, об опоздании, о книжках... В огороде бузина, а в Киеве дядька. «Мы опоздали родиться. Если бы хоть полвека назад! Да моя бы Веста заведовала бы в универе всей русской литературой! А я бы этой самой литературой и был. А что сделаешь, если власти не соображают, что без неё нельзя? То, что без нефти нельзя — соображают. А тут — хрен тебе...»

У нас, кстати, в школе училка такая классная была... Нет, конечно, стихов или повестей каких я убей не помню. Но как она рассказывала! Как Есенин с Клюевым до революции в салонах до гостиных выделялись. Один под ангелочка-херувимчика косил, другой — под мужика сиволапового. И песняка! И вприсядку! А народ-то вокруг изнеженный, тонкий... И все прямо в столбняк впадают... Чуть не в обморок отлетают. А тем только этого и надо. Пусть слушок ширится да крепнет... Кто такой Клюев?... Да не всё ли равно?

Да что этот тип всё о бабе? Скучный до ужаса. Даром что бухой. Понятное дело, что бабы от таких и бегут, и в омут кидаются... Вон училка рассказывала, как в Питере пореволюционным у одного такого деятеля — всё стихи да романы про мелких бесов и прочую муру строчил — жена вдруг пропала. И где только её не разыскивали... Думали, может, за границу смоталась. Тогда это, как и нынче в моде было... А она, оказалось, решила рыбой обернуться. Довёл... И по весне средь невских льдин её плавники и сверкнули...

Считается, что есть бухарики громкие и тихие. Поверхностная градация. Водораздел тут по другой линии идёт. Есть те, которые людей достают. И которые не достают. Самый шумный и размашистый алкаш может быть как бальзам на душу... А упёртый да занудливый — как наждак в заднице. Так и скребёт, так и царапает, так и протирает насквозь... «Не той дорогой едем. Ты чего ослеп?... Думаешь, я лох полный?...» Терпеть не могу козлов, что лучше всех дорогу знают...

«О, как дед рыдал, когда Сталин дух испустил! Выл, башкой об стенку бился, в судорогах заходил... Чуть сам на тот свет не отправился. И потом ещё долго жил. Но всё как в воду опущенный. Больше не заикался ни о чём, не вспоминал, не сетовал... Молчал, выпивал в одиночестве, людей сторонился... Так и помер где-то на скамейке в парке с бутылкой портвейна в кармане...

А почему так? А потому что верил. А кроме веры у человека ничего нет. Ты не согласен?.. Ну и дурак... Только вера вере рознь. Она меняется, как и всё на свете. Сила другая, манкость, помрачительность... Сталинисты-ленинцы после отмены их религии на корню сохли, спивались, стрелялись... И пламенность их так и загнула вместе с ними...

Делаем прыжок и переходим к сочинителям. Они, разумеется, к отчей словесности неровно дышали. Но это ни верой, ни любовью уже не назовёшь... Это скорей предположение. Что словесность — главное в жизни и единственное... Да и вообще она только жизнь и есть. Верь — не верь, а дела обстоят именно таким образом... И дышать можно только словарным маревом. А иначе задохнёшься... Целые поколения под это дело подписывались. Литература для них и семьёй, и кормушкой, и церковью была... Народ с придыханием издали поглядывал, власти квартирами да путёвками ублажали... Но дело не в этом. Было ощущение жизни...

А когда всё посыпалось — плакали, конечно, сокрушались, возмущались... Бродили потерянными... Работу искали, отвлечений, забвения... Но руки на себя не накладывали. Не столь смертной связью оказалась. И слава Богу!.. Кто же запрещает верить в своё предположение? Пожалуйста. Живи себе в том же мире. Только маленьком, одноместном... А о большом — не парься. Всё одно — пустое...

Но Бог любит троицу. Позиция номер три. Женщины... Если вышеупомянутые материи ещё принято как-то к сердечной боли привязывать — эта больше уже на игру в слова похоже... Вера, любовь... Если б всё было всерьёз, я с тобой в этой колымаге не колтыхался. Я бы уже хладным трупом в гробу лежал. После разрыва, крушения, катастрофы... А так... Ну, полаялись. Ну, разбежались. Ну, дальше двинулись... А не двигаться — глупо. Никто не поймёт. И в первую очередь — она. Всё нынче излечимо! Даже если что-то и в самом деле было. Потом это уже к делу не пришьёшь... С глаз долой — из сердца вон... Как сказано! Вот где несметные залежи актуальности! Физическое отсутствие предполагает и отсутствие всяческих терзаний по этому поводу. А что? Правильно. Мало ли, что когда-то что-то... Проехали!

Ты спросишь, что общего у этих трёх сюжетов? Холодок. Неизбывный холодок напрасного... Хотя страсти всё слабосильней, худосочней, невсамделишной... Но финал неизбежно разочаро-

вываает. Это нужно понимать с самого начала. И может, и не начинать вовсе... Или начинать, да помнить... Хотя толку-то от такой памяти... Да и кто помнить нанимался?.. Это живому противопоказано».

Я как поддаю — тоже пургу несю. Но, конечно, не такую дремучую. Чем человек продуманней, тем у него помрачения глубже... А у меня всё какие-то обрывки картинок из детства крутятся. Лица, дворы, строчки... Не помню — чьи, откуда, к чему... Просто забавные такие безделушки. Знаешь, что они тебе без надобности. А зачем-то хранишь, порой и сам того не ведая... Вот, блин, училка у нас была!..

И встречая ночную прелестницу,
Улыбаясь в лучах фонаря,
Наблюдать, как небесную лестницу
В алый шёлк убирает заря.

А сейчас тоже кругом что шелка алые... Даром что не расцвет... Снега пылают истово... Красотища! Так бы ехал и ехал... Да куда там! Этот тип, как отхлебнёт из горла — сразу тормозить принимается. «Шеф, идём на обгон ветра! По-другому — никак...» Интеллигентны вшивые! Всю дорогу спешат, спешат на свою задницу... А в итоге именно туда и попадают. Всё закономерно.

Говорит, что едет отношения выяснить. Если их выяснять нужно — уже и так всё ясно... Спешу — не спешу. Разве что душу отравить... Это мы любим.

«Почему я тороплюсь? А потому что в аду нужно идти быстро... Это я о нашей прописке. Всё горит оплечь... Остановишься — в пепел обратишься... И все страсти наши золой станут. Ничего не останется... Только скорость, скорость... Это и есть спасение.

Тише едешь — дальше не будешь... Не будешь вообще. Одни козлы этого не понимают! Притормозишь — и что останется?.. Рожки да ножки?.. А на что другое рассчитывать?»

Конечно, это тот случай, когда товарища утешить надо. А то — не по-людски...

— Анекдот хочешь? Вот ты нынче выпил... И, несмотря на такое дело, мы едем. А если бы на твоём месте была дамочка, поездка не состоялась бы. Почему? Разъясню. У женщин есть три стадии опьянения. Первая. Ох, какая я пьяная... Вторая. Кто пьяная?! И третья. На вопрос таксиста «Куда едем?» треснуть его по голове сумочкой и гордо ответить: «Не твоё собачье дело, скотина!..» Так что мужики молодцы! Это я к тому, что у тебя, к примеру, сейчас явно третья стадия. А мы в пути... Или это только потому, что у тебя сумочки нет?

Он глянул на меня недоверчиво, отхлебнул маленько. И потом только коротко рассмеялся. И коротко же ответил: «В Питере арестованы подростки, ранившие таксиста своим отношением к позднему Гумилёву». И в самом деле, что ещё может ранить нашего брата?.. Молодец! А на вид бирюк бирюком...

Но я рано обрадовался. Пассажир мой снова начал нудить, ёрзать, дёргаться. «Ну, быстрее, быстрее, быстрее... Ну, куда, куда, куда?..» Видно глубоко его проняло... Со стороны-то проще простого человека в идиоты зачислить. А ты побудь в его шкуре...

— Слушай ещё. Таксист везёт обалденную девчущку. Поглядывает на неё жадно, что-то такое в уме прикидывает. И спрашивает, наконец: «Девушка, а вы знаете, что за изнасилование могут дать десять лет?» И потупился обречённо. «Знаю. А почему вы мне это говорите?» И машина резко затормозила... «Чтобы вы знали, как я ради вас рискую!»

Пассажир осклабился, словно через силу. Но марку решил держать. «А у меня — родное, филологическое... Тоже про такси... Куда вам? Нет, к удавам я не поеду. Нет, вы меня неправильно поняли. Куда вам надо? Ну, раз надо, то поехали к удавам!»

Какое же это филологическое? Детское, для пятого класса. Странное дело, вспомнишь какую-нибудь школьную бессмыслицу и на душе благодать...

Кошка спит. Погасла свечка.
Ветер дёргает засов.
Надо вызвать человечка
Из больших стенных часов.

Тик-и-так! Седая шёрстка,
Вылезай-ка! В доме тишь...
Выпьешь чаю из напёрстка
На пружинках подрожишь...

Жаль, что с человечком из часов договориться не получится. Это только поначалу надеешься. А потом понимаешь, что так не бывает...

...А тип этот наглеет пуще прежнего. Выкрикивает что-то, плачет почти, чуть не за руль хватается... Просто ужас какой-то! Чёрт дёрнул меня с ним связаться! Ну, что ты мандражируешь?! Что бестолковишься?.. Из машины его, что ли, выпихнуть?..

— Ты успокойся или нет? Смотри... Ладно. Вот ещё. Сел депутат в такси. Водитель начал дёргать все рычаги подряд, нажимать все кнопки, руль мотать туда-сюда... То фары включит, то капот открывает, то просигналит грозно неизвестно кому... «Тебя где так во-

дить учили? — орёт депутат. — Разве мы так доедем куда? Расшибёмся же на хрен!..» А водила глядит на него ободряюще. «Ничего страшного, — отвечает. — Вы точно так же давным-давно страной рулите. И ничего — едем как-то...»

И тут — полная тишина. Небеса горят страшно, снега умножают огонь... Минута, другая... Видно, притомился беситься юродивый... И ни с того, ни с сего — убойный удар по морде. И дикий выкрик «Фуфел!..» Руль из рук — резко вправо, на него... Мы закрутились юлой и взлетели... «Фу, фу, фу...» отзывалось в мозгу. Чистоплюй хренов!.. Пламя, лёд, бред... Неужели так внезапно и глупо? Школа, жизнь ни о чём, стишки в никуда... И всё? Вот где смех-то... Никогда не утешайте сумасшедших! Это кранты... Сквозная обманка!..

А дальше свет — невыносимо cedрый,
Как красное горячее вино...
Уже последним раскалённым ветром
Сознание моё опалено.

... Алое. Белое. Сплошное...

ФРАГМЕНТ СООБЩЕНИЯ
из беседы со следователем

Творение выше творца,
И мир совершеннее бога...
Ф. С.

— Обобщив материалы дела, можно с уверенностью сказать, что имел место несчастный случай. Водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. Печальные последствия вам известны... Автомобиль перед выездом осматривался, никаких неисправностей отмечено не было. Никаких встречных или попутных автомобилей поблизости от места происшествия камеры видеонаблюдения не зафиксировали... Так что оно никак не спровоцировано дорожной ситуацией. Скорость не превышалась. В крови водителя следы алкоголя и наркотических веществ не обнаружены. С чем мог быть связан данный инцидент?.. С нарушением должного распорядка труда и отдыха. Не секрет, что многие водители готовы работать сверхурочно, чтобы заработать как можно больше. И к чему это приводит? К переутомлению, утрате концентрации внимания, замедлению реакции... И за рулём оказывается потенциальный убийца. А работодатель, как правило, закрывает на это глаза. Потому как это и его деньги... Есть некоторые основания предположить, что в нашем случае дело обстояло именно так. Проще говоря, людей погубила страсть к наживе... К сожалению, нынче это явление нередкое. В связи с изложенным выше на предприятии уже проводит-

ся соответствующая проверка. По её результатам будут приняты меры, способствующие существенному повышению уровня безопасности движения.

— Спасибо за разъяснения. Всё стало на свои места... Такое не должно повториться.

— Всё исчерпаемо. И дно ближе, чем кажется... Нужно об этом помнить. Как и о правилах дорожного движения, и о других законодательных актах... А мы в свою очередь обещаем использовать инновационные подходы, разрушать изжившие себя стереотипы, ориентироваться на принципиально иные алгоритмы управления... Со всем скоро это будет абсолютно другая система. Надеюсь, мои слова будут услышаны. Всё, действительно, должно стать на свои законные места. И не за горами время, когда наша работа будет вызывать не заведомую ухмылку неприязни, а долгожданную улыбку благодарности...

В безднах скрывается новое дно.
Формы и мысли смешались.
Все мы уж умерли где-то давно...
Все мы ещё не родились.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

/ Москва /



СОН О ТАРКОВСКОМ

Мне было двадцать лет, когда я послал стихи Тарковскому, и завязалась переписка. Через год я приехал из Средней Азии в Москву и состоялось личное знакомство, причем приятельство началось в первый день. Уже немолодой Арсений Александрович в ту пору находился на пороге своей столь не поспешавшей славы, но ей еще предстояло наступить, и он очень дорожил вниманием покуда редких читателей, особенно молодых. Дружбы, которые завязывались в этом промежутке, оказались длительными и прочными. И, конечно, я вправе отнести себя к состоящей из трех-четырёх молодых стихотворцев группе поздних, и, вероятно, последних друзей А.А. (у очень известных людей, особенно покойных, сразу оказывается много друзей). В молодости я бывал в доме Тарковских, если не изо дня в день (что тоже бывало), то не реже, чем раз в неделю. На протяжении более двух десятилетий было бесчисленное количество встреч, случались совместные поездки и выступления. Именно потому в эпоху, когда А.А. стал культовой фигурой и мемуарные очерки пишутся даже о единственной встрече со знаменитым поэтом, писать воспоминания мне было трудно. Все же, в основном, они написаны (ждут какого-то толчка — решительного завершения, окончательного оформления, жесткого редактирования). Некоторые главы в беге лет нашли себе место на страницах журналов. Вызвали заинтересованные отклики, а также и отдельные протесты (должен сказать, также доставившие мне удовольствие — я, во всяком случае, был искренен и ничего не выдумывал, а недоброжелатели имеются не только у меня, они, хоть это и странно, и прискорбно, бывали и у благороднейшего из людей — Тарковского). Сейчас же я показываю некоторые из своих стихов разных лет. Первое среди них написано еще при жизни А.А. — в страхе перед близящейся потерей. Но он прожил ещё три года.

Тарковский

Тарковский. Все не усвою,
Что будет черта предела.
Его деревьев листвою
Юность прошелестела,

Под ветром цветы качались
На подмосковных дачах,
Плеча моего касались
Кончики пальцев зрячих.
Всегда обреченно-вяло
Звучал этот голос пылкий...
О, как бы мне не хватало
Косой малоросской ухмылки!
Его мастерства и страха,
Суровости и сиротства,
Усталости и размаха,
Склероза и благородства.

1986

Сон о Тарковском

Мне снилась Польша, снился пыл,
С которым в странном сне
Я о Тарковском говорил
И о другой стране;

Всю проживал его судьбу
И видел наяву
Ту енисейскую избу,
Как будто в ней живу.

В той ссылке по воду чуть свет
И наколоть дровец
С Пилсудским в очередь семь лет
Ходил его отец.

Влилось полвека в черноту.
И сын десяток роз
На поседелую плиту
Пилсудскому принес.

Ах, эти розы хороши,
Как первая любовь!
...Все прошлое его души
Меня пронзило вновь.

Голицыно и Дагестан,
Махновщина, Ингул,
И этот нынешний дурман,
В котором я уснул.

Все перепуталось в тайге,
И выплыло рывком —
Как на единственной ноге
Он прыгал с молотком.

Как бодро мебель мастерил
И что-то вслух читал,
И сонм исчисленных светил
Над нами пролетал.

Как жизнь, тянулся этот сон
В сиянье долгих зим,
Был сердцу непосилен он
И непереносим.

Как встреча вновь с его лицом
И волны под крыльцом,
Как мысль о жизни пред концом,
Ее простым венцом.

1997

Старость Тарковского

И голос вдумчивый и пленный,
И музыки нездешней смесь
С хохлацкой придурью блаженной,
И стыд, что оказался здесь.

Всю жизнь — боязнь ночного стука
И мужество отдельных строк.
Но старость — точная наука,
И был преподан мне урок.

Без сожаленья и укора
Смотреть, смягчая взгляд прямой
И втайне радуясь, что скоро
Начнётся этот путь домой.

2016

С Тарковским

Мимо россыпи книжек в берлоге
И пластинок, лежавших вповал,
Бодро прыгал поэт одноногий,
Заколачивал, красил, сновал.

Золочёные львиные морды
Прикреплял к этим книжным шкафам
И потом, ремеслом своим гордый,
Удивлялся творенью и сам.

Всё мне чудилось даже, что зрячи
Эти крепкие руки, и вдруг
В сердце юноши отклик горячий
Вызывало касание рук.

Но печалился он поневоле,
Оттого, что, минувшим полны,
Начинались фантомные боли
От убитой ноги и войны.

2017

Ната Вачнадзе

Чернота, окрыленная светом...

А. Т.

В сизых сумерках Тифлиса,
В зыби чёрного вина
Мне грузинская актриса
Всё мерещится одна.

Я её не видел въяве
И влюблялся лишь в кино.
Был я мал, она уж в славе,
Это была так давно.

Так вот в звуках мухамбази¹,
Разрывающих сердца,
Сохранялась на Кавказе
Прелесть древнего лица.

Не такую ли к Тимур
В паланкине привезли?
Что там, прочь литературу,
Не в такой уж ты дали!

¹ Мухамбази — напевная твёрдая форма грузинского стихосложения.

На тебя ещё Лаврентий,
Щурясь, глянул, гамадрил.
Рвался к блеску и легенде
Кто бы позже ни царил.

На безногого поэта,
На российского поэта
Пала тень ресниц твоих...
Что сказала власть на это
И какой родился стих?

Над земным его скитаньем,
Расцветая, встала ты
Невозможным сочетаньем
Красоты и доброты.

Лёгкой девочкой подростком
Вечно ты к нему летишь
По ступеням и подмосткам
Мимо взвихренных афиш.

2018

* * *

Генеральская дочь и праправнучка Екатерины.
Кто-то в этой семье переписки, конечно, лишён.
Вот и юность в краю, где злорадно вопили павлины
И текли в паранджах вереницы медлительных жён.

Скорпионы в самане, нирвана при майском укусе
И поэт-инвалид, отодвинутый к стенке протез,
Эти скудость и страсть, эти жгучие ночи в Нукусе,
Тот ещё Ашхабад, что затем во мгновение исчез.

Дальше долгие годы и старость, и скупость, и склоки,
Но и тайная жажда, томившая и на Востоке,
Где уже и весной выгорает в пустыне трава,
И борьба за любовь и за эти любовные строки,
Обращённые к той, что в его сновиденьях жива.

Все бранили её. Я любил эту властную даму.
...Голосами ушедших надтреснуто память хрипит.
Словно вестник с копьём, я с букетом вступил в эту драму.
Был оформлен актёром. Придумал меня Еврипид.

2018

* * *

Так ясны чудеса вознесений,
И сегодня в предутреннем сне
Житель рая Тарковский Арсений
Отчего-то привиделся мне.

И, поскольку он был музыкален,
Нескончаемый льётся мотив,
Средь заоблачных опочивален
То волнуя, то чуть усыпив.

Оттого ли, что в поздние годы
Слушать Шёнберга долго привык,
Прозревают струистые воды,
Обретают растенья язык.

И, внимая теченью напева,
После стольких туманов и вьюг
Прорастает эдемское древо
И цветы распускаются вдруг.

Серебристая и золотая
Здесь и нота Вивальди слышна,
И согласно звучат, нарастая,
И встречаются все времена.

2018

* * *

Себя в ту пору изводя и пряча,
Считая прегрешения свои,
Я жил тогда на запустевшей даче
Без будущего, дома и семьи.

Там ел и пил я из чужой посуды,
Заглядывал в хозяйский телескоп
И, пыльных книг перебирая груды,
Испытывал от призраков озноб.

Кого я ждал, ко мне не приезжала,
И навещали те, кого не звал,
И мошкара заблудшая жужжала,
Порхала моль, и время шло в отвал.

Так жил я, предстоящего не зная.
Пожалуй, мог бы спиться. Но, строга,
Стояла в изголовье запасная
Сосновая Тарковского нога.

И я прошёл через его Солярис,
Чтоб яркие и тусклые года
Его улыбкой щедрой озарялись,
И вот я вышел в это никуда.

Но долго в утлой памяти детали
Держались, переменам вопреки,
И рукописей выцветших летали
И рассыпались в воздухе листки.

2018

Мемуары

Тарковский, при всех доживавший так трудно,
Читавший, писавший, лежавший прилюдно
И женщину эту полвека любивший,
Бежавший из прозы, его окружившей,
К ней, руки во тьме на себя наложившей.
Отставив свою деревянную ногу,
Вздыхая, взывавший к незримому Богу.
Пронзающий душу, недужный, негромкий,
Всё снова искавший былого обломки.
И вдруг, озорной, ковыляя, снующий,
Тугие тетради свои достающий,
Глазами скользящий по блеклому шрифту
И, палкой стуча, провожающий к лифту.

2018

* * *

А. А. Т.

И, возвращаясь к разговору,
Забудь, что страшный мир дремуч,
И в память, прямо в эту пору,
Впусти закатный первый луч!

Он в комнату скользнёт с балкона
И чью-то грусть внесёт извне,

И чуть засветятся икона
И маска Гете на стене.

И вновь ты счастлив, как ни странно,
Проживший, кажется, века,
Гость и приятель меломана,
Печальника и шутника.

Тебя он поучал не строго
И место дал в своей судьбе,
И эту музыку, и Бога
Так просто подарил тебе.

2019

* * *

Чтец Феогида и Горация,
И легкомысленнейший стоик.
Просительные интонации,
Наверное, от школьных двоек.

То детство, бланманже, гимназия,
То чёрствый хлеб и явь террора,
А дальше и война, и Азия,
Тоска, подстрочники, контора.

А всё-таки и в позднем возрасте,
Случайно выпавший из детской,
Питал он отвращенье к взрослости,
К любой, особенно к советской.

Он так ребёнком и останется,
И потому на встречу с нами
Его душа, ночная странница,
С блаженными приходит снами.

Игорь ШЕСТКОВ

/ Берлин /



НАВАЖДЕНИЕ¹

(рассказ таксиста)

Уральский регион... да, место непростое. Некоторые говорят — проклятое. Якобы из-за убитого царя. Хотя там не только царя с семьей... многих покрошили. И не только красные. Ты меня правильно пойми — люди на Урале разные, не то, чтобы все бандиты или воры, нет, просто древние какие-то люди. Троглодиты. Как жили пять тысяч лет назад — так и при Брежнев... а все эти штучки — телевизоры, запорожцы с жигулями, компьютеры — это все на поверхности, а внутри, как была, так и осталась — берлога.

Поехал я однажды по телефонному вызову в Кардайкурдюмово. Деревня сразу за границей города. Татары там или башкиры живут — хрен их разберет. Подъезжаю к дому. На дороге стоят трое чурок. Поперек себя шире, морды самоварами, кулаки — как у быков. Угрюмые. И у всех под пальто или топоры или стволы. Батюшки-святые! Все трое сзади сели. Завоняло в салоне сразу перегаром и лучищем. Самый быкастый сказал: «Поезжай в Котлы, Полежаева четыре!»

Голос — как у медведя.

Не люблю чурок возить! Каждый раз не знаешь, что от них ожидать. Могут нормально расплатиться, а могут и топором по темечку. И не со зла, а... вроде так и надо.

Котлы эти на другой стороне города, поселение шахтеров, главная улица, Пролетарская кажется, километра три тянется вдоль карьера. Полежаева там вроде переулочек, домов десять всего. Нашел на карте. Приехали.

¹ Рассказ взят из книги И. Шесткова «Фабрика ужаса», которая выходит в свет в издательствах «Алетейя» (СПб.) и «Каяла» (Киев) в первом квартале 2020 года.

Ландшафт — прям как у Левитана. Слева — ворота закрытые, забор, колючка, за забором котельная. Труба метров двадцать высотой, дымок вьется, несколько фабричных строений. Черные почти от угольной пыли. Справа — барак деревянный, длинный. Может, там рабочие живут или зеки на вольном поселении. Здесь этого добра навалом.

Ёкнуло сердце. Тут меня запросто грохнуть могут. Или чурки или их дружки. Сколько раз пропадали в Петяринске таксисты! Сунул руку под сиденье — у меня там железный прут граненный, килограмма полтора весом... положил тихонько прут на колени. Напрягся, приготовился крушить мордovorотов по сморкалам. Жду.

Ничего. Все три быка вышли из машины, стоят, между собой что-то по-ихнему обсуждают. Я сижу на своем месте, газету вынул... читаю мол... ведь тут правило простое, как с собаками и лошадками — не смотреть в глаза их лупые... не провоцировать.

Тот, быкастый подошел к моему окну и сказал: «Ея, водила. У нас тут дело. Подожди, в накладе не будешь. В Кардай отвезешь, зеленый билет получишь».

Я кивнул.

«Зеленый билет» это пятидесятирублевка. На счетчике у меня двенадцать. Значит, чаевые будут — двадцать пять. В семидесятые это были еще хорошие деньги.

Чурки мои пошли в барак. Я жду.

Как-то быстро темно стало. Один фонарь загорелся, метрах в десяти от меня. Видно было, как в конусе света снежинки летали... как белые бабочки... Я на них смотрел-смотрел и кемарить начал. Но спать нельзя. Вышел из волги, поприседал, попрыгал.

С полчаса уже прошло. На счетчике — семнадцать с копейками. Пора действовать. Или уезжать — тогда холостого пробега на тридцатку наврчу. Или идти в барак разбираться.

За смену такое, чтобы не платили, раза два-три бывало... Обычно припугнешь милицией — платят. Иногда убегают через задний двор.

Каждый раз решаю по обстоятельствам... знаешь, когда опасно, я стараюсь думать не головой, а задницей. Так вернее. Ну так вот, жопа моя мне тогда на Полежаева твердила: «Уезжай, пока цел. Дуй на вокзал, там московский поезд, через час прибытие, посадишь сдобную бабенку или какого-нибудь барыгу...»

А жадная голова противоречила: «Московская краля тебе не даст, и не надейся, а с барыги больше рублика чаевых не получишь... а чурки твои четвертак обещали».

Еще ждал минут десять, потом отъехал немножко назад, чтобы машину в тени спрятать, прут в специальный внутренний карман положил, куртку расстегнул, чтобы легко его вынуть можно было.

Мотор отключил, ключ забрал, проверил, как лежит кастет в бардачке... переднюю дверь у волги оставил чуток приоткрытой. И пошел в барак... постучал.

Жопа моя в это время вопила фальцетом: «Не ходи туда, упадешь... там плохо!»

А голова советовала солидным басом: «Извинись у мужиков за вторжение, попроси расплатиться, получи бабки и уезжай с богом. Там ведь люди, а не аллигаторы. Вежливый язык понимают».

Никто мне не открыл... я толкнул дверь... вошел.

В бараке, разделенном вроде как плацкартный вагон на купе, было густо накурено, воняло старой одеждой. В сизом полумраке трудно было что-то разобрать. Пошел по проходу справа вдоль барака. В первом купе два мужика спали на нарах под ужасными одеялами. Храпели как мастодонты. На столе стояли несколько пустых бутылок, на грязных тарелках — остатки еды. Во втором купе никто не спал, там на месте стола возвышался самогонный аппарат... круглосуточно работал, наверное... из краника сочилась синеватая жидкость... и стекала по кухонной доске в ведро. На стенке ведра висел черпак, вместимостью грамм в двести. Жуткая беззубая женщина лизала длинным фиолетовым языком эту гадкую доску. На мое появление она никак не прореагировала. В пятом купе я обнаружил еще одну синюху... косоглазую... она держала в руках свои пустые отвисшие груди и стучала ими по столу как ложками. Посмотрела на меня, открыла свой черный рот и сунула в него нечистый большой палец. Засосала и вынула с хлопком. Меня чуть не вырвало... поспешил дальше. Видел еще несколько мертвецки пьяных.

Но никаких следов моих чурок не обнаружил.

Пришлось спросить ту, косоглазую.

— Я таксист, тут где-то мои пассажиры. Три мужика. Башкиры или татары. Вы не видели?

Косоглазая посмотрела на меня так, что у меня зачесались бока и шея, и прошепелявила: «Ты что, мусор, бля?»

— Я таксист. Мне пассажиры не заплатили.

— Иди нах.

Надо было уйти, но я упорный. Меня дома семья ждет. Людка и три спиногрыза. Их кормить надо. Не позволю я так просто меня кидать.

Достал свой прут и несильно ударил им синюху по ноге. Та взвыла и ткнула пальцем куда-то в сторону. Там, оказывается, была еще одна дверь. Не на улицу. У барака было ответвление. Я прошел по узкому коридору... до еще одной двери, металлической. Как в тюрьме, с окошечком. Постучал. Окошечко открылось, кто-то посмотрел на меня и спросил: «Тебе чего тут надо?»

Я повторил то, что сказал косоглазой.

Тяжелый засов открылся с невыносимым клацаньем. Меня выпустили. В похожей на внутренность юрты, круглой комнате за карточным столом сидели трое мужчин. Но не мои чурки и не алкаши из барака, а совсем другие люди. Блатари.

Паханом там был, кажется, плотный, невысокий, чернявый тип. С бородкой. Он держался с достоинством, как бы брезгливо отстраненно. Двое других были явно рангом пониже — зловещий худой старичок с лишаем на лице и тощий гигант с косматыми руками, постоянно сжимающий и разжимающий свои огромные кулаки. Лицо его перерезал длинный шрам со следами швов.

Пахан долго и тяжело смотрел на меня. Затем спросил: «Зачем пришел?»

Он говорил с легким грузинским акцентом.

Я был вынужден в третий раз повторить, зачем. Но пахана это, по-видимому, не убедило. Он сделал глазами знак гиганту, и тот встал, развязно подошел ко мне и пробурчал: «Гребала в стороны... И не дергайся, чушок, щекотить не буду».

Моя голова едва доставала ему до груди. Обыскал меня, забрал прут, удостоверение и кошелек и почтительно положил все это перед паханом на стол.

Тот покрутил в руках прут, покачал головой, раскрыл и тут же закрыл кошелек, в котором было тогда рублей двести, посмотрел на удостоверение и подтвердил удивленно: «Действительно, таксист».

Потом вздохнул, посмотрел на меня, как смотрят на вошь, перед тем, как ее раздавить, и сделал рукой знак гиганту и старичку. Гигант не без удовольствия и очень сильно ударил меня в глаз, а старичок врезал по скуле так, что искры засверкали перед глазами.

Пахан прервал избиение: «Довольно... Так ты ищешь своих пассажиров, которые тебе не заплатили... Тут, у меня? Ха-ха-ха».

По сравнению с его смехом, смех Фантомаса показался бы арией счастливого Фигаро.

Железный смех, шелест цинковых листьев, хруст ломающегося гроба.

— Сизарь, — приказал он старичку, — предъяви таксисту его пассажиров!

На гнилом лице старичка показалось нечто вроде улыбки, ему было приятно то, что ему, а не конкурирующему с ним гиганту хозяин поручил показать мне пикантную картинку. Старичок ласково поманил меня пальцем, взял за шкурку и пинками подвел к двери, ведущей в какой-то сарай... втолкнул меня туда и оставил там на некоторое время одного. В сарае было темно, но еще темнее стало у меня на душе, когда я понял, что это было за помещение. Это была камера пыток. Подробности я опущу, не хочу тебя расстраивать... Со всеми, как говорят твои новые сограждане, пи-па-по. Тела моих

пассажиров висели на стальных крючьях, а их головы покоились отдельно — на полке. На трех маленьких колышках. Почему-то они улыбались...

Кроме них в этом страшном сарае я насчитал еще пару дюжин мертвецов. Может быть, их было и больше. Когда лишний старичок вел меня назад в круглую комнату, я не мог унять дрожь в коленях. Меня посадили на стул напротив пахана. Трое злодеев явно наслаждались эффектом, произведенным на меня сценой в сарае.

— Ну что же, товарищ таксист, вы, кажется, уже поняли, в какую беду попали. Выход для вас отсюда один — повиснуть там, где уже висят ваши пассажиры, и от вас будет зависеть, долго ли вы будете мучиться. Вероятно, вам будет интересно узнать, зачем сюда приезжали эти глупые толстомордые люди с топорами. Я не буду делать из этого тайны — они не хотели отдать мне карточный долг. Желали расплатиться иначе. И расплатились.

Голос пахана все еще напоминал шелест цинковых листьев, несмотря на старание снабдить его интеллигентским шармом. Грузинский акцент придавал его сарказму дополнительный градус язвительности... Слушать его было тяжело.

Я решил попытаться использовать последний шанс на спасение. Схватил прут со стола и как мог сильно ударил им сидящего рядом гиганта. По роже. Гигант захрипел и повалился на пол. В тот же момент Сизарь выстрелил в меня из пистолета и попал в лоб... вышиб мозги, убил, наповал. В кровавых струях увидел я злобную морду пахана и успел услышать: «Тащи его в яму. Да отпили ему башку для коллекции».

А потом как будто что-то переключилось, и другой голос сказал: «Ея, водила, заснул что ли? Вези нас в Кардай!»

Батюшки-святые! Я проснулся. Чурки мои уже сидели на заднем сиденье. В руках у них были какие-то кульки. Снежные бабочки все падали и падали в желтом свете фонаря. В салоне почему-то нестерпимо пахло пирожками с мясом. Быкастый открыл один кулек, вынул из него и подал мне свежее испеченный беляш и сказал: «На, попробуй, теща испекла. День рождения праздновать будем».



Борис ХЕРСОНСКИЙ

/ Одесса /

* * *

Разбираешь архив, читаешь бумаги
 сорокалетней давности. Расплывшиеся от влаги
 письма, детища ручки и чернильницы невылившки,
 а вот и прощальный оттиск на листе промокашки.
 Это напоминает трилобита, окаменелость.
 Мы не окаменели — простите нам мягкотелость.
 Простите нам податливость, нашу робость и страхи.
 Мы оставили кляксы и пятна, мы были неряхи.
 Все вокруг черствело. Но мы из иного теста.
 Дрожит в руке страница машинописного текста.
 Было такое — чужие стихи под копирку.
 Были книжные полки, где книги впритирку.
 Было прошлое — неподвластно и неподсудно.
 Была железная койка и подкладное судно.
 Мы тоже были, хоть в это поверить трудно.

* * *

Никто не мастерит человечков из каштанов и желудей,
 и они валяются на тротуарах и мостовых.
 А когда-то дети... Впрочем, этих состарившихся людей
 редко встретишь среди живых.
 Опять же, кто делает подсвечники из корней,
 похожих на чудища? Думаю, что никто.
 Можно проверить, погуглить, чтобы было верней.
 Но лучше пойти гулять, надев кашне и пальто.
 Никто не гоняется летом за бабочками, размахивая сачком,
 и бабочки безнаказанно летают до октября.
 А нам остается лежать на диванах ничком,
 смотреть на экран, и жизнь пропадает зря.
 Почти никто не вышивает болгарским крестом
 великого Пушкина или Есенина — все равно.

Опять-таки остается лежать на диване пластом,
 лежать, как лежит бревно.
 Нет, лучше пойти гулять, надев пальто и кашне,
 подобрать каштан с тротуара, желудь найти в траве.
 Не имея ни шансов на счастье, ни денег в кошеле,
 хорошо если мысли мелькают в седой голове.
 И пляжи пустынные, и парки почти пусты.
 Лишь изредка люди выгуливают собак.
 Шушат под ногами сморщенные листья.
 Закуришь и понимаешь: дела — табак.

* * *

в этот день понимаешь, что ты — обманщик и вор,
 предатель, возможно — убийца, сам себе худший враг,
 что там, на небе скрепляют печатью твой приговор,
 а на земле понесут в палату или сведут в овраг.
 возможна только отсрочка, ибо жребий таков
 назначенный нам от века, все виноваты кругом.
 для грешных и праведных, умных и простаков,
 жребий для всех один и нельзя мечтать о другом.
 и как ни крути обреченного цыпленка над головой,
 как ни проси прощения, как молитвы ни бормочи,
 но где-то печатью приговор закрепили твой,
 и уже все равно для тебя что палачи, что врачи.
 и вот мелькает брусчатка при свете фар
 скорой помощи, скорой немощи наперегонки.
 и старый раввин трубит и трубит в шофар.
 и на протяжный звук слетаются ангельские полки.

* * *

кто-то находит образ в случайном движении мазка
 кто-то ищет смысл в созвучиях языка
 кто-то дразнится крутит указательным у виска
 кто-то сидит за столом одолевает тоска
 кто-то ложится на дно как премудрый пескарь
 кто-то в стакан наливает аптечный вискарь
 кто-то слагает стих как платочки в бабушкин ларь
 кто-то ищет спасение в том что случилось встарь
 кто-то живет у моря кто-то живет у реки
 оба тянут за уши скорбь стихотворной строки
 кто-то заложник вечности времени вопреки
 кто-то кому-то уже не подаст руки
 в перечислениях жизни как ни крути
 слышишь ритм и биение словно сердца в груди
 занялася заря на заре ты ее не буди
 не убий не завидуй не укради не блуди

слишком много запретов наложили на нас
слишком долгие очереди выстроились у касс
мальчик в степи подобрал ананас не подумав что это фугас
не забыть заплатит за воду за душу за газ

* * *

все хотели быть космонавтами в белом
скафандре на фоне черного небосвода
лететь в пустоте заниматься любимым делом
например выполнять пятилетку в четыре года
все хотели выращивать кукурузу на марсе
и вдоль поперек перепахать курву венеры
жаль взорвалась ракета и луноход сломался
и некуда деться юному пионеру
и никто не прочтет надпись СССР на футболке
и не раскопает вымпел знак качества на ракете
не пройдет по брянскому лесу мечтая о сером волке
пищей которому служат непослушные дети

* * *

Этот художник не дожил до седин.
Жил в подвале. Сидел на игле. Не имел ни гроша.
С бабами было лучше. Но художник умер один.
За короткую жизнь он создал четыре сотни картин,
тысяча из которых — в лучших музеях США.
Теперь все знают — он был экспрессионист.
Но сам он такое слово не смог бы произнести.
По просьбе дельцов он подписывал чистый лист.
По сантимту за штуку. Рисовать — не гусей пасти.
И, хотя биографам известен каждый его шаг,
а искусствоведы распознают каждый его мазок,
кажется, что и сам художник был господин Фальшак,
а крестным отцом его был господин Порок.
О его извращенности писали, кому не лень.
Ужасались развратницы, попадая к нему в постель.
Философы утверждали, что художник был туп, как пень,
но и сами философы... кто слушает пустомель?
Говорят, не имея холста, он рисовал на стене.
К этой стене ставили партизан в начале сороковых.
Он был нищ, но сегодня картины его в цене.
Впрочем слух идет — он богат, и до сих пор — в живых.

* * *

Бабоньки, бабоньки, где же ваше лето,
где вы, со спицами, с тяжелыми очками?

Там где поэты, которыми воспето
паренье паутинок с летунами паучками.
Ангелам годится небо любое,
даже темно-серое с белесой пеленою.
но людям приятнее небо голубое,
и Черное море с зеленою волною.
а тут еще и ветер, не сильный, но холодный,
и дождик собирается, капельный, паскудный,
вот нам наказание за грех первородный,
общий для всех, одинаково подсудный.
Вот вам прозябание позднего рассвета,
ночь урезает время дневное.
Бабоньки, бабоньки, где же ваше лето?
Паутинки белые, солнце проливное...

* * *

кто видит на шаг вперед еще не пророк
владыка не тот кто приводит в порядок крошечный свой мирок
не всякий мудрец тот кто умеет читать между строк
не всякий мученик тот кто мотаает лагерный срок

не каждый солдат оружие держит в руках
не каждый трус понимает что означает страх
не каждый ангел гнездится в иных мирах
все превратятся в прах но это еще не крах

кто видит на шаг вперед пусть укажет мне верный путь
кто привел в порядок себя пусть поможет спокойно уснуть
кто умеет читать между строк пусть объяснит мне суть
кто мотаает лагерный срок пусть поможет свободу вернуть

пусть безоружный солдат мне храбростью дух укрепит
пусть трус не знающий страха на страже дома стоит
пусть ангел земной сопровождает меня
до последнего дня и после последнего дня

ЗАВЕЩАНИЕ

не носи черного платья заведи котенка черного цвета
пусть мурлычет прыгнув к тебе на колени
пусть перебегает тебе дорогу хоть это плохая примета
на потеху моей бестелесной молчащей тени
пусть согреет тебя этот веселый комочек
пусть гоняется за бумажкой привязанной к нитке
пусть на этой бумажке будет восемь написанных мною строчек
и котенку забава и мы с тобой не в убытке



Ксения КНОП

/ Санкт-Петербург /

АК БУРЕ

(отрывок из романа)

Человек большой и человек маленький

Два человека — большой и маленький — шли вдоль железно-дорожного полотна в сторону Солнца, поспешно таявшего в отдаленной неизвестности.

— Чего ты больше всего желаешь, сынок? — спросил большой человек у маленького.

— Желаю, чтобы ты поскорее умер, отец, — отвечал маленький человек и остановился, чтобы позорче разглядеть бесповоротно изъятый им из носа маленький кругляшок цвета молодого крыжовника.

— Может, ты хочешь бутерброд с колбасой? — спросил большой человек и, остановившись, направил руку в карман. Маленький человек увидел горбушку черного хлеба, для сохранности укутанную в полиэтиленовый пакет. На поверхности горбушки находились, словно приклеенные, два неотличимых друг от друга кружка колбасы размером с донышко пивной бутылки.

— Нет, отец, — отвечал маленький человек и отвернулся от отца и его подношения. — Не хочу я бутерброд.

Некоторое время они шли безмолвные, наблюдая живую и рукотворную обстановку вокруг себя. Наконец большой человек произнес: «Ну что же, сын. Да сбудется все по слову твоему!».

Больше они не говорили, пока не пришли, куда им следовало.

В ту ночь большой человек лег как обычно на свою постель после десяти вечера и сказал себе вслух: «Сегодня я перестану жить». Так и случилось.

Утром, когда сын проснулся, он увидел, что отец его лежит и не проявляет никакого интереса к наступившему дню.

— Отец, — позвал сын. — Для чего ты лежишь, когда я уже на ногах и проголодался по пище, недоступной мне по причине малолетства?

Но отец не отвечал ему. Сын решил, что отец молчит из одной лишь зловредности, затаив в душе обиду за вчерашний неприятный разговор. Маленький человек подошел к большому и легонько ткнул его слабосильным кулачком в плечо. Но отец и тогда не поддался и продолжал оставаться беззвучным, так как не имел больше голоса.

— Какой ты... — сказал в сердцах сын, и вдруг открылось ему, что большой человек больше не живой, и потому говорить с ним — лишь понапрасну расходовать жизненные силы...

— Отчего умер мой папа? — спросил маленький человек явившегося доктора с лицом цвета мертвой крысы, всем своим туловищем угодившей под автомобиль.

— От многочисленных неизвестных мне препятствий, мешавших ему продолжать свой жизненный путь, — уверенно отвечал доктор.

Затем он извлек из нагрудного кармана халата телефон и позвонил куда-то. Маленький человек расслышал, как доктор называл невидимому собеседнику их с отцом место жительства.

Очень скоро появились двое сильных людей, приученных убирать тела, ставшие неуместными в человеческом жилище. Подхватив большого человека, казавшегося не таким уж большим в их руках, они устроили его на носилках, похожих на больничную койку с ампутированными ножками. Один из них, покрупнее телом, с осуждением посмотрел на маленького человека и строго произнес: «Нас обычно благодарят».

И маленький человек, опасаясь новых укоров от незнакомого строгого дяди, протянул ему пятьсот рублей, потому что тысячи рублей ему было жалко, а сто рублей показались невыносимо малой суммой...

Искандер открыл глаза. Он всегда просыпался, когда наблюдал этот сон и потом уже ни за что не мог забыться. Вот уже месяц ему снились эти рельсы, утомлявшие глаз своей бесконечностью, завернутый в пакет бутерброд, два человека с носилками и деньги, проглоченные огромной лапой. Отца уже не было в живых, а сон не оставлял его, как если бы все это было на самом деле и совсем недавно.

Фарида апа

Не сразу отыскал Искандер свое такси среди примерно десятка приткнувшихся в ряд одноликих белых «Опелей» с зеленой надписью на боку. Надпись содержала название компании и ее логотип — профиль крылатого чудовища Зиланта, которого некоторые пассажиры по неопытности почитали за Змея-Горыныча.

— На Фучика? — уточнил водитель — маленький подвижный человек с глазками домашнего грызуна, в льняных брюках и рубашке без рукавов.

— Да, — подтвердил Искандер.

— А потом на Татарское кладбище, да? — волнистая, съезжавшая, как с горки, на гласных буквах речь водителя звучала для Искандера непривычно. Искандер, конечно, знал, что в Казани так говорят многие. Но таксист был первым местным человеком, кто заговорил с ним, как только сошел с поезда.

— Да, верно.

— Вам на какое? Их два же есть: старое и новое. Некоторые пассажиры путаются, считай. Так вам какое, значит: старое или новое? — сощурился водитель, отчего глаз его совсем не стало видно, и занес искривленный палец над навигатором.

— Старое, наверное... — задумался Искандер. — Там, где поэт Тукай лежит.

— Значит, на Старое, на Макаронной фабрике, — догадался водитель и ткнул пальцем в физиономию навигатору. — На похороны прибыли?

— Можно сказать и так, — отвечал Искандер. Ему совсем не хотелось разговаривать. Два человека: большой и маленький вновь возникли у него перед глазами, удаляясь навстречу Солнцу. Всякий раз, когда он видел этот сон, Искандер пытался припомнить, откуда взялись тяжелые слова, которые он бросал своему спутнику, оказавшемуся отцом, и никак не мог вспомнить. Вот бы сейчас пророка Юсуфа сюда, он бы мигом растолковал Искандеру его сон...

За окном привычные к летней жаре городские люди передвигались по своим надобностям. В этом городе Искандер был лишь однажды с дедом Исмаилом, от которого они с отцом приобрели свою фамилию. Дед начинал жить еще при царе. Он многое пережил и с большой охотой рассказывал о прошлом внуку, который и половины не мог уразуметь из того, что сообщал ему словоохотливый Исмаил эфенди (так называли деда все татары, приходившие к ним в дом).

В гражданскую войну Исмаил, который тогда еще был простым мальчишкой, а никаким не эфенди, помогал засевшим в горах партизанам, которые в равной доле ненавидели и белых, и красных. Когда Черного барона погнали с полуострова, дед остался в Крыму и возвратился к крестьянскому труду, к которому был приучен с самого нежного возраста. Так бы и сидел он на земле предков до конца времен, но старый товарищ его, отправившийся служить к большевикам в ГПУ, сообщил деду, что готовится его арест. Дед, человек решительный и легкий на подъем, собрал вещи и покинул Крым. Искандер не помнил, как дед добрался до Ташкента, хотя тот подробно рассказывал ему о своих дорожных приключениях. Воротился Исмаил эфенди за год до войны.

В войну Исмаил эфенди родной земли не оставил, даже когда заявили немцы. Еще с Гражданской дед имел о германцах поло-

жительное суждение. Люди они были большей частью культурные и к татарскому населению относились предупредительно. Если что и отбирали, то выдавали вместо этого живые деньги. А когда не имелось денег — бумагу, гарантировавшую компенсацию. Но в этот раз все вышло по-иному. Словно это были не немцы совсем, а совершенно иной народ, только грубой речью своей напомилавший тех людей в островерхих шлемах в далеком восемнадцатом году. Дед опять ушел в горы. Молодая жена Асьма последовала за ним, а четырехлетнего сынишку Айдера — будущего папу Искандера — укрывали у себя соседи. Исмаил эфенди шутил, что жена не помогать ему пошла в качестве законной боевой подруги, а из чувства ревности, чтобы он не спутался в горах с какой-нибудь заметной молодой партизанкой.

Дед с бабушкой партизанили всю немецкую оккупацию. А потом, в 44-м, Исмаил эфенди вместе с женой и сыном был сослан в Самаркандскую область. В Узбекистане у деда уже имелись друзья, и это сделало его жизнь вне родины не такой тягостной, как у других. Первое время ссыльным было запрещено покидать кишлак, определенный им для поселения. Однако к ним могли приезжать знакомые деду узбеки, которые вместе с вестями из большого мира привозили поселенцам что-нибудь съедобное, недоступное переселенцам.

Дед был любителем поговорить о минувших днях, но поразительным образом в памяти Искандера не осело почти ни одного имени или хотя бы прозвища. То ли память Искандера была подобна решету, то ли Исмаил эфенди намеренно не упоминал в своих рассказах имен.

После двадцатого съезда Исмаил эфенди с семьей перебрался в Ташкент. Он купил дом на окраине города. В этом доме собирались аксакалы и обсуждали судьбы народа. Дед подписывал бумаги Хрущеву и другим деятелям советского государства, ездил в составе делегаций крымских татар в Москву. Помощником ему в этих делах был повзрослевший отец Искандера. Но эту часть семейной истории Искандер знал плохо. То ли дед про нее мало говорил, то ли он сам все растерял в памяти за прошедшие годы. А отец и подавно. Отец Искандера, не в пример деду, слова берег. И про свое участие в борьбе за возвращение говорить не любил, опять же то ли из скромности, то ли по слабости памяти.

В 1989-м году семья Исмаиловых возвратилась в Крым. Их было трое: родители Искандера и он сам, никогда прежде не видевший в глаза Ешиль Ада — Зеленый остров. Так Исмаил эфенди, а вслед за ним и все семейство Исмаиловых называли Крым. Маленький Искандер не мог взять в толк, почему дед зовет Крым островом. Он тыкал маленьким пальчиком в карту Крыма 1925 года, всегда висевшую в комнате Исмаила эфенди, и спрашивал: «Къартбаба-

чыгъым¹, учительница в школе говорила нам, что Крым — это не остров, а полуостров. Я даже с ней поспорил, а она мне показала в энциклопедии. Там было сказано, что есть только Крымский полуостров, а никакого острова Крыма не существует».

Исмаил эфенди ответил не сразу. Сначала он поскреб подбородок, потом прочистил горло и только тогда произнес: «А ты вот что... посмотри-ка в своей энциклопедии вместе со своей учительницей, как там ее зовут?.. Так вот, посмотри, есть ли там статья о крымских татарах. И увидишь, что статьи такой там нет. Но ты же не будешь утверждать, что тебя, меня и твоего отца не существует?».

Этот крепкий ответ убедил Искандера. Теперь он знал, что в книгах не всегда пишут правду.

— А насчет полуострова — стану большим, приеду в Крым и сам все проверю на месте, — сказал себе Искандер.

Исмаил эфенди не дождался дня возвращения, подобно одному библейскому пророку, добивавшемуся Земли обетованной, но так и не увидавшему ее. Изумлявший всех своей энергией Исмаил эфенди неожиданно для всех умер буквально за пару недель до отъезда. Его похоронили в Ташкенте. Дед был человеком компанейским, и охотников присматривать за могилой нашлось немало. Отец Искандера решил сначала деда кремировать, а урну похоронить в родной земле, но этому помешал маленький Искандер. «Не дам сжигать къарт-бабама!»² — яростно шумел Искандер таким голосом, словно речь шла не об оставленном душою туловище человека, а о живом Исмаиле эфенди, которого за ненужностью задумали растрворить в огне. Но сама мысль о том, что его любимый дед будет гореть, делала боль Искандера нестерпимой. Дедушка, учивший его читать по-арабски Коран, всегда говорил об огненном пламени как о самом страшном наказании для человека после прихода неминуемой разрушительницы желаний — смерти. Это Искандер хорошо усвоил. И потому он никак не хотел подвергнуть деда такому суровому и незаслуженному наказанию.

Отец сначала не послушался, но тогда Искандер объявил, что сотворит с собой неприятную для родителей вещь. И Айдер агъа, утомленный спором с двумя родными людьми: с Искандером и матерью, вставшей на сторону сына, уступил. Исмаил эфенди был похоронен на мусульманском кладбище со всеми почестями. На похороны явился человек триста. Только горсть земли с могилы деда в материнском платке отправилась вместе с Исмаиловыми в Крым.

Искандер крепко запомнил их с дедом единственную поездку в Казань. Прямо с поезда они отправились в гости к бабушке, которая жила в районе... Как же он назывался?.. Искандер до этого знал

¹ Къартбабачыгъым (*крымскотатарск.*) — букв: мой дедушка.

² Къарт-бабама (*крымскотатарск.*) — дедушка.

бабушку только по фотографиям из семейного альбома. На них она была представлена молодой, а сейчас она показалась ему совсем старой, даже старше дедушки. Сейчас Искандер совсем не помнил, как тогда выглядела бабушка, в их первую и единственную встречу. Возможно потому, что Искандер в тот вечер смотрел не столько на бабушку, сколько на Исмаила эфенди. Таким деда он еще не видел. Вместо спокойного, уверенного в каждом произносимом им слове немолодого мужчины перед ним оказался застенчивый юноша, не имевший знаний о том, как вести разговоры с женщинами.

На следующий день дед показал ему башню Сююмбике, озеро Кабан и накормил вкусным мороженым в кафе на улице Баумана. Запомнились только слова Исмаила эфенди, которые он, кажется, произнес у мечети Марджани.

— Это наш город, Искандер, — сказал дед, опустив тяжелую ладонь на голову внука.

— Почему, деда? — удивился Искандер.

— Потому что это главный татарский город. Столица всех татар, находящихся как на земле, так и под землей. Когда будешь большой, приедешь сюда.

— Вот, приехал, — сообщил то ли недоступному давно деду, то ли самому себе Искандер...

Он вдруг вспомнил, что обещал сделать один звонок, как сядет в такси. Ответили ему не сразу.

— Эйе¹, — отвечал голос, не позволявший точно установить, кому он принадлежит: мужчине или женщине.

— Фарида апа?

— Эйе.

— Исэнмесез², Фарида апа. Это Искандер. Я уже в такси, буду у вас... — Искандер приблизил глаза к навигатору...

— Минут через десять, если все нормально будет, — пришел на помощь водитель.

— Минут через десять, — повторил Искандер.

— Яхшы³, Искандер, — ответил уже вполне женский голос. — Я готова инде. Скоро начинаю спускаться...

— Вы неспеша спускайтесь, через десять минут...

— Искандер, улым⁴, я человек пожилой, — вздохнув, отвечала Фарида апа. — Начну спускаться — как раз через десять минут на месте буду. Я на скамеечке у подъезда тебя подожду.

— А какой у вас подъезд?

— Третий, если со стороны центра считать будешь, и второй, если со стороны Горок.

¹ Эйе (татарск.) — да.

² Исэнмесез (татарск.) — здравствуйте.

³ Яхшы (татарск.) — хорошо.

⁴ Улым (татарск.) — сынок.

Искандер посмотрел на водителя и тот кивнул, подтверждая, что все слышал.

— Хорошо, Фарида апа. Сау бул¹.

— Сау бул...

Искандер продолжил смотреть в окно. Двух- и трехэтажные дома стали попадаться все реже, пока, наконец, не пропали совсем. Раздвинулись границы улиц, а расстояние до неба стало казаться больше из-за торчавших справа и слева высоких зданий, облаченных в неуютные цвета. Такси свернуло к обшарпанной серо-болотной девятиэтажке, вытянувшейся, подобно старой, давно издохшей змее. Такие дома принято называть лежачими небоскребами, так как в длину они значительно больше, чем в высоту.

— Здесь? — спросил водитель, кивая в сторону подъезда.

— Вроде да. — Искандер увидел на скамейке у дома плотную невысокую старушку с темным то ли от загара, то ли от прожитых лет лицом. На голове ее был черный платок, но одетый не по-мусульмански, а по-старушечьи, с прижатыми к голове, подобно притоптанной траве, седыми волосами. Вязаная кофта серого цвета поверх платья. Фарида апа сидела на скамейке, и ноги ее в вязаных носках, поверх которых были надеты тряпичные туфли, едва достигали земли. Рядом с ней лежал полиэтиленовый пакет, который старушка прижимала к скамейке одной рукой. У ног старушки стояла тряпичная сумка вроде тех, что в совокупности с приделанными к ним колесами принято именовать тележками. Фарида апа старательно, не щурясь, наблюдала, как Искандер направлялся к ней.

— Как же на Айдера похож. Нэкь үзе², как слепок! — воскликнула старушка.

— Исэнмесез, Фарида апа, — сказал Искандер, не зная, что в таких случаях следует отвечать. Еще дед учил его: «Когда не знаешь, что сказать, говори: "Исэнмесез"». Искандер старался следовать этому правилу.

— Давно ждете? — спросил Искандер.

— Нет, чуть-чуть совсем, — отвечала Фарида апа, произнося «ч» как бесспорное «ш». — Улым, ты вот это сразу возьми, а то я потом забуду, — Фарида апа протянула Искандеру полиэтиленовый пакет. — Здесь фотографии, письма и другие бумаги твоего отца. Все, что было у Асьмы. Я ничего не выбрасывала. Еще остались кое-какие вещи от нее. Я что-то себе взяла. Всего не могла. Сумочку, очечник. Пальто одно, совсем не ношенное, и туфли. Она как раз мой размер носила. Если надо — я отдам.

— Нет-нет, что вы, — быстро заговорил Искандер. — Пусть у вас все останется.

¹ Сау бул (татарск.) — до свидания.

² Нэкь үзе (татарск.) — совершенно как он.

— Фотографии бабушки твоей тоже здесь, — продолжала Фарида апа, указывая ладонью на пакет. — Их немного, правда. Асьма не любила фотографироваться. Ты сам там разберешься. Асьма аккуратная была. Фотографии всегда подписывала.

— Спасибо большое, Фарида апа, — Искандер спрятал пакет в рюкзак и помог старушке спуститься со скамейки.

— Ты прямо с поезда? — осведомилась Фарида апа, пока они шли к машине.

— Да, — подтвердил Искандер.

— И жаным¹, не ел совсем, наверное, — сочувственно предположила Фарида апа.

— Немного перекусил.

— Я бы тебя позвала к нам, но не могу, сама не хозяйка. На птичьих правах живу шулай². У невестки.

— А... сын где? — не подумав, спросил Искандер.

— Сын-то? Давно умер инде³, — вздохнула Фарида апа. — В девяносто четвертом его убили. Прямо на Островского застрелили. Абау⁴, среди бела дня. Он в банке работал...

— Кто застрелил? — совсем тихо спросил Искандер.

— Как кто?.. Бандиты. Тогда много бандитов было. Я говорила много раз: «Марат, бросай ты эти свои банки-шманки. Проживем как-нибудь уж». Он не слушал, говорил: «Анием⁵, сейчас никак не могу. Надо ковать железо, пока горячо. Есть возможность, надо делать деньги»...

Фарида апа остановилась у машины и достала из кармана кофты белый носовой платок.

— Так вот, улым, — продолжала Фарида апа, вытирая глаза. — А Альбина, невестка, хорошая оказалась. Ничего сказать против нее не могу. Она снова замуж вышла, но я не могу осуждать ее. Они не обижают мне⁶, но я там неловко себя чувствую. После своего жилья тяжело жить в гостях. За сыном Альбины вот присматриваю. Ильдаром зовут. Так что хлеб свой не зря кушаю.

— Здравствуйте, — обратился водитель к Фариде апа.

— Здравствуй, улым⁷, — отозвалась старушка.

— Еще ждем кого-то? — уточнил водитель, размещая тележку Фариад апа в багажнике.

— Нет, — отвечал Искандер.

— А почему у себя не живете? — продолжил Искандер прерванный разговор, когда машина тронулась с места.

¹ И жаным (татарск.) — душа моя.

² Шулай (татарск.) — так, таким образом.

³ Инде (татарск.) — уже, же.

⁴ Абау (татарск.) — слово, выражающее испуг, отвращение.

⁵ Анием (татарск.) — мамочка моя.

⁶ Мне (татарск.) — меня.

⁷ Улым (татарск.) — сынок.

— Э, улым. Это грустная история. Мы-то с Сибгатом квартиру свою потеряли. Сибгат — это муж мой.

— Как потеряли?

— Обманули нас, Искандер. Я по радио объявление услышала, что социальная помощь пенсионерам оказывается. Наш Марат тогда уже неживой был. Помогать нам некому было. А пенсия, сам знаешь, какая. Я Сибгату рассказала об этом объявлении. Номер тогда же записала. Мы позвонили шулай. Вежливо так с нами девушка разговаривала. Потом молодой человек пришел в костюме, интеллигентный шундый¹, договор показал, все внимательно объяснил. Сказал, что каждый месяц нам будут платить социальную помощь пять тысяч рублей. Это тогда серьезные деньги были. И пакет с продуктами каждую неделю обещали выдавать. А за это мы после смерти свою квартиру им отдадим... Мы Сибгат белян² посоветовались и подписали. Хорошо жили, радовались. Приходила к нам разная молодежь, студенты, приносили деньги раз в месяц, еду. Прошло два года. И один раз приходит к нам молодой человек (я его прежде не видала) и говорит: «Все уезжайте, это теперь не ваша квартира. Шулай!». Я испугалась. «Абау, как же так?!», говорю. Показываю ему договор. А он грубо мне так говорит: «Надень очки, апа!³». Я ему отвечаю, что не ношу очков и все хорошо вижу, даже лучше, чем он. Он тогда мне и говорит: «Хорошо, апа. Раз, видишь, тогда читай здесь», и показывает мне в договоре специальный пункт, что мы должны отдать квартиру, либо после смерти, либо через два года после подписания.

Водитель присвистнул.

— И, что, пришлось отдать? — спросил Искандер.

— А куда деваться, улым, — отвечала Фарида апа. — Мой Сибгат писал бумаги в исполком, в суд подать хотел. Он такой был: никогда не сдавался шул⁴. Он больно все это переживал. Вот сердце у него и не выдержало, умер. Я одна осталась шулай. Как мне, старухе, с ними, с этими бандитами, бороться? Съехала я с квартиры. Вот теперь у невестки живу.

— Это вещь известная, — вписался в разговор водитель. — У моего кента одного дед был. Крепкий такой старик. Его через такую же конторку замочили в полный рост. Он тоже услышал объявление по радио, позвонил. К нему приехала такая красавица, в короткой юбочке... Дед растаял как вафля, не глядя, договор подмахнул. А был это, как потом оказалось, не договор, а смертный приговор. Потом, короче, помер от чего-то, а дед этот реально здоровый был. Так руку пожимал, потом мазью надо было протирать. Так что вам, апа, считайте еще повезло.

¹ Шундый (*татарск.*) — такой.

² Мы с Сибгатом (*татарск.*).

³ Апа (*татарск.*) — обращение к женщине, старшей по возрасту.

⁴ Шул (*татарск.*) — тот, этот.

— И не говори, улым, так повезло, что одна на старость лет осталась без родных.

Все замолчали.

— А что с Айдером-то случилось? — прервала молчание Фарида апа. — Расскажи. Он же совсем молодой был.

— Несчастный случай, — отвечал Искандер. — Авария.

— Сразу умер? — с какой-то нежной заботой спросила Фарида апа.

— Нет, в больнице. Там он меня и попросил, чтобы я его сюда привез.

— Э, улым, — Фарида па положила руку на плечо Искандеру. — Молодец ты, волю отца выполнил. За это Аллах многое тебе простит. Вот только не положено у нас сжигать.

— Знаю, Фарида апа, — вздохнул Искандер. — К сожалению, без меня все это случилось.

Искандер хорошо помнил этот последний их с отцом разговор. Больница. Полуденное майское солнце, не совместимое с мыслями о смерти. Отец на кровати у самого входа. На тумбочке рядом — гвоздики и пионы. В годовщину депортации восемнадцатого числа отца навестили несколько друзей. Соседи по палате — восемь человек. Те, кто не спит, внимательно слушают их разговор. Он тогда твердо сказал отцу, что не будет кремировать его.

Отец был слаб. Прежде чем начать говорить, он попытался сесть на кровати. Искандер подхватил его и положил ему под спину рыхлую, влажную от пота подушку.

— Послушай, Искандер, — неторопливо начал Айдер агъа. — Ты знаешь, я в эти игры с религией не играю. Не хочу, умирая, выглядеть большим верующим, чем был при жизни. Я хочу лежать рядом с матерью, и точка.

— Я сделаю все, чтобы похоронить тебя с ней, — отвечал Искандер прижимая ладонь отца к кровати. — Не беспокойся...

— Послушай, Искандер, — перебил сына Айдер агъа, — я не Исмаил эфенди. Тогда, с похоронами деда, ты может и прав, был. Признаю. Но со мной все эти штуки работать не будут. От того, в какой форме я в землю лягу, моя дальнейшая судьба не изменится. Даже если там, — Айдер агъа указал глазами на потолок, — действительно что-то есть, мне от этого легче не будет. У меня достаточно грехов, чтобы гореть в обещанном Пророком огне. Поэтому послушай меня, Искандер, и сделай, как я тебя прошу. Сожги, а урну похорони у бабушки... Что молчишь? Сделаешь, как я тебя прошу?.. Сделаешь?!

Отец умер той же ночью, а рано утром к ним в дом явились два человека: один в форме, а другой в штатском сером костюме. Сунули матери под нос ордер с печатью и затеяли обыск. Мать вытолкала Искандера на кухню, чтобы он не раззадорил «гостей» неосторожным словом. Искандер повиновался, но когда услышал, как

один из непрошенных гостей матерно выругался, после того, как с полки ему на голову упал комментарий к Корану Юсуфа Али, не утерпел и подал голос.

— Что вам здесь нужно?! — закричал Искандер на «гостя». — Человек только умер, еще тело не остыло, а вы тут рыщете как шакалы.

— Поосторожнее со словами, парень, — сказал ему человек в костюме, невысокий, лысый, с серыми безжизненными глазами.

Но Искандер уже не мог остановиться. Одно слово последовало за другим, и вскоре Искандер уже лежал на полу со скрученными за спину руками. Мать кричала, «гости» матерились и угрожали известными им карами земными Искандеру и «таким, как он». Ему дали пятнадцать суток за «неповиновение работникам полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

В тюрьме Искандер узнал, что мать предала отца огню. До самого своего освобождения он не хотел разговаривать с ней. И после освобождения тоже не желал. Только когда Искандер уже совсем собрался в Казань, он позволил матери проводить себя на самолет в Москву. Мать виновато смотрела по сторонам, но так и не решилась ничего сказать, кроме коротких, сопутствующих моменту слов. Да и что тут можно было сказать...

Татарское кладбище

Перед входом на кладбище мальчишки пинали черно-белый мяч. Безразличная к занятиям живых людей статуя гипсовой женщины стояла перед окрашенной в белый цвет нишей в кладбищенской стене. На воротах, представлявших собой две чугунные створки печального цвета, стоял пухлый мальчик. Он широко расставил ноги и вытянул вперед обе руки со скрюченными, как переварившиеся детские сосиски, пальцами. Справа от него рельефные буквы складывались в слово «Татар», слева такими же буквами было написано «зираты». Над головой мальчика в соединении двух дуг выступала металлическая конструкция, увенчанная полумесяцем.

Искандер и Фарида апа некоторое время наблюдали за игрой, не желая стать причиной неудачи вратаря. Лишь когда мяч, поднявшись над головами игравших, перелетел через краснокирпичную кладбищенскую стену и мальчишки с криком устремились за ним, Искандер с Фаридой апа двинулись в нужном им направлении.

В конторе при кладбище Искандер просунул голову в ближайшую к нему дверь. Черноволосый человек был занят каким-то письменным трудом. Труд этот, кажется, сильно утомлял его, потому что человек тяжело дышал, или, проще говоря, пыхтел.

— Вам чего? — спросил он, отрываясь от бумаги, и Искандер подивился белым усам его и бровям.

— Вот, — отвечал Искандер и протянул сидевшему за столом человеку приготовленные заранее документы.

Белоусый принял файл, извлек его содержимое двумя пальцами. Пока он изучал бумаги, губы его тоже не находились без дела и шевелились, помогая процессу чтения.

— Я вам звонил несколько дней назад, моя фамилия Исмаилов. Насчет урны, — сказал Исскандер.

— Да, было дело, — отвечал белоусый. — Оригиналы документов забирайте. А копии оставьте у нас. Приходите через недельку... в пятницу.

— Как в пятницу?! — растерялся Исскандер, — я же только на один день приехал. А сегодня никак нельзя? У меня просто билет уже на руках...

— Так быстро у нас это не делается, — засмеялся белоусый и почесал макушку. — Смерть — дело ответственное и нуждается в обдуманном отношении к себе... Дня три это, считайте, как минимум, чтобы могилку подготовить, при условии, что у вас там под плиту все не закатано. А сейчас еще работы много. Народ мрет, как мухи. Не справляемся. Я иногда грешным делом сам за лопату берусь.

— Но вы же сами сказали...

— Не поняли мы, значит, друг друга. Ну, хорошо, — белоусый развернул верхнюю часть туловища в сторону висевшего над ним производственного календаря. К календарю прилагалось изображение рыжеволосого человека в каракулевой папаче. Лицо человека было строгим, даже скорбным, что вполне соответствовало приведенной рядом с фотографией надписью: «Я буду молиться за вас при жизни и после вашей смерти». Как звали автора этих слов Исскандер прочитать не успел, потому что обернулся на слова белоусого: «Давайте в понедельник, где-нибудь после обеда. Оставьте свой телефон».

— А сегодня точно не получится? — Исскандер вдруг изогнулся, словно какая-то внезапная боль настигла его, и полез во внутренний карман куртки. В таком неудобном положении он пробыл с минуту или две. — Вот возьмите, больше я просто не могу дать, — сказал, наконец, он, протягивая белоусому две зеленых бумажки.

— Ну что вы, молодой человек, — покачал головой белоусый и издал какой-то непонятный звук. — Уберите ваши деньги. Мы здесь только белую работаем. Нам проблем не нужно, — он подмигнул кому-то невидимому за спиной Исскандера. Исскандер обернулся, рассчитывая увидеть живое существо, но заметил только висевший на стене плакат. На нем был изображен мужчина-штен в сером костюме с острыми глазами. Исскандер сощурился и сделал два твердых шага в сторону плаката. Нарисованный человек поразительно походил на того, в штатском, который проводил у них обыск после смерти отца. Исскандер поморщился. Плакатный штен сидел за столом, похожим на тот, что стоял в кабинете белоусого. Только у белоусого стол был завален бумагами, а у мужчины в сером костюме на столе присутствовали всего два предмета: телефонный аппарат и стакан с жидко-

стью тараканьего цвета. В руках мужчина в сером костюме держал телефонную трубку. Под плакатом имелась надпись: «Если тебе предлагают взятку, немедленно звони. Спасем вместе страну от коррупции! Далее следовал номер с удобными для памяти цифрами».

Изучив надпись, Искандер возвратился к столу белоусого.

— Так что даже не заикайтесь об этом, — строго предупредил хозяин кабинета. — Я и так вам по ускоренному тарифу все оформлю. А с оплатой... это на Ершова двадцать пять. Не обязательно сегодня, но когда придете хоронить, квитанцию от них нужно иметь.

— Что же это ты, сынок, — вмешалась Фарида апа, до этого совершенно молчавшая. — Он же издалека приехал. Неблизкая дорожка.

— Откуда? — спросил белоусый Искандера.

— Из Крыма.

— Еж твою мать! — воскликнул белоусый, а вслед за тем посмотрел виновато на Фариду апа. — Извините. И как там сейчас обстановка? Спокойно? Мы с женой собирались в отпуск в сентябре туда махнуть, но она отговаривает. Говорит, татары крымские там больно лютые.

— Может, и правильно, что отговаривает, — отвечал Искандер.

— Да, в непростое время мы живем. Кто там... Мао Цзэдун, кажется, говорил, что, упаси Бог, жить в эпоху перемен... Вам хоть есть где остановиться? — спросил белоусый Искандера, но посмотрел почему-то на Фариду апа.

— Нет, — сухо ответил Искандер.

— Пойдем, улым, я тебе могилку покажу, — Фарида апа потянула Искандера за рукав.

— Что теперь делать-то будешь? — спросила Фарида апа Искандера, когда они оказались на улице.

— Не знаю. Звонил же, как с людьми говорил, — Искандер ударил кулаком по воздуху. — Ладно, что-нибудь придумаю.

— И улым, я бы позвала тебя к себе, но никак не могу, — говорила Фарида апа. — Комната у меня маленькая, и на полу-то постелить никак, разложить нечего. И Альбину я попросить не могу. Невестка у меня хорошая, приютила меня, но сам подумай, ей еще и гостей моих принимать? Нас обоих выгонит, Алла сакласын!¹ Но она хорошая, добрая, приютила меня...

Искандер с пониманием кивал в ответ и глядел по сторонам, чтобы накрепко запомнить дорогу к бабушке. Внимание его то и дело захватывали памятники, заставившие вспомнить греческий миф о гигантах, когда-то прописанных на Земле. И размеры памятников и то, как была представлена жизнь усопших, — все говорило о том, что лежащие здесь люди, если это были люди вообще, а не второсортные боги прежних времен, произведены из какого-то особого материала. В Крыму Искандер видел такие монументы только на могилах цыган.

¹ Алла сакласын (татарск.) — упаси Бог!

Фарида апа свернула вместе со своей тележкой на боковую аллею, и памятники гигантам стали попадаться реже, а потом и вовсе исчезли.

— Теперь сюда, улым, — Фарида апа отодвинула еловую ветку, склонившуюся над плитой цвета клюквенного морса с белыми прожилками по всему камню. — Вот это хороший ориентир, запомни. Композитор Хунбейдинов здесь лежит. На флейте хорошо играл.

На огромной плите из красного гранита в скорбном бессилии распласталась юноша ангел с отбитым носом. Одной рукой юноша обнимал колонну с портретом и золотой надписью. В самом верху композиции стоял металлический скрипичный ключ. На самой плите была надпись золотыми, и судя по их свежему виду, не так давно подновленными буквами:

Ушел из жизни ты поспешно,
Не попрощавшись ни с кем,
И нас оставил безутешных,
В скорбях и думах о тебе.

Прочитав стихи, Искандер усмехнулся: такой монумент отгрохали и не могли нормальные стихи придумать.

— Вот и пришли, — сказала Фарида апа.

Искандер не сразу заметил серый в половину его роста камень и полустершуюся надпись: Хуснуллина Асьма Махмут кызы. Дальше отдельной строкой были выбиты годы жизни: 1918–2012.

— Даже фамилию нашу не взяла, — подумал Искандер, словно впервые услышал, как звалась бабушка.

Фарида апа достала из сумки на колесах тряпочку и бутылку с водой и стала протирать камень, освобождая его от приставшей земли и прочих ненужных предметов.

— Я, Искандер, когда силы есть, прихожу сюда, — сообщила Фарида апа. — Вот осенью была здесь. Быстро все зарастает шул. Помоги-ка мне, улым.

Искандер принялся рвать траву на могиле.

— Ты, улым, тоже не забывай тропинку к бабушке, — приговаривала Фарида апа. — Она тебя часто вспоминала, мярхума¹. Говорила: внук у меня есть в Крыму, Искандером звать.

— Фарида апа, а вы не знаете, почему дедушка и бабушка разошлись? — вдруг спросил Искандер. — А то у нас в семье сплошные тайны.

— Как же, знаю, улым, — отвечала Фарида апа. — Тут никакой тайны нет. Это родители ее, Асьмы, шулай решили. Когда татар

¹ Мярхума (татарск.) — усопшая.

с Крыма, значит, выселили, ата-анасы¹ перепугались шул. Потом от Асьмы письмо пришло, из кишлака одного под Самаркандом. Не помню, как называется.

— Ката Лангар, — уточнил Искандер.

— Айе, шулай. Асьма написала, что у нее все хорошо. Но отец ее, Махмут абый, усал иде мярхум², потребовал ее вернуться уж. Поехал в Узбекистан, в этот... кишлак сразу после войны. Был у них там разговор с твоим дедом. Дед твой, Исмаил, тоже с крутым нравом был. Но в этот раз он уступил. Дал развод Асьме, и она с отцом вернулась сюда. Но я тебе, улым, одно могу сказать: Асьма до последнего дня любила Исмаила. Очень жалела, что так вышло. Дед твой ее отпустил, но не простил. Что же, время тогда такое было, шулай... Да и отца она послушаться не могла, — вздыхая, подытожила Фарида апа.

— А почему же дедушка ее отпустил? — спросил Искандер.

— Чего не знаю, того не знаю. Наверное, пожалел ее. Чтобы она зазря не пропадала... Ты дога³ читать умеешь?

— Умею, — подтвердил Искандер.

— Тогда почитай, пожалуйста.

Фарида апа подняла с земли бутылку, на дне которой еще оставалось немного воды, и протянула Искандеру.

— Полей мне на руки, улым.

Искандер вылил на руки Фарида апа воду. О своих собственных руках он позаботился с помощью влажной салфетки.

Искандер выпрямился перед камнем. Рядом с ним встала Фарида апа. Оба сложили ладони в форме пиалы, и Искандер неторопливо в полголоса стал читать суру «Фатиха». Голос его звучал так, как будто Искандер только что пил холодную воду. Фарида апа шевелила губами, повторяя за Искандером знакомые слова.

Когда они вышли за ворота кладбища, мальчишек-футболистов уже не было.

— Послушайте, — услышал Искандер позади себя знакомый голос. Это был белоусый. — Вы вообще в курсе, что джаназу над прахом не читают?

— В курсе.

— Хорошо, это я так на всякий случай, — сказал белоусый. — Да, и еще. Если вам негде переночевать, у меня знакомый один недорогой комнату сдает, в самом центре. Хотите, я позвоню ему сейчас? Не понравится — ноу проблем.

— Ну что же, позвоните, — все также бесстрастно отозвался Искандер.

Белоусый набрал номер.

¹ Атасы-анасы (*татарск.*) — папа с мамой

² Усал иде мярхум (*татарск.*) — покойный суровый был.

³ Дога (*татарск.*) — молитва.

— Салам алейкум, Ильдус! — белоусый произнес эти слова с такой улыбкой, словно говорил с котенком. — Ты комнатенку свою сдаешь еще? Ага. Тут человек один есть хороший, на несколько дней приехал... Нет, не надо. Возьми по-божески... Нет!.. Нет!.. Ну, это еще туда-сюда... Что?! Нет! Ты с ума сошел. Вот это уже разговор, — белоусый повернул голову к Искандеру и прикрыл ладонью экран телефона. — Полторы тысячи рублей в сутки. Устроит?

Искандер замотал головой.

— Так, давай нормальную цену, педрила, — строго прикрикнул в трубку белоусый. — Что?! Да ты...

— Вы что-нибудь умеете делать? Вы не музыкант, случайно? — спросил вдруг белоусый Искандера, отстранившись от телефона.

— Нет, не музыкант, а что? — насторожился Искандер.

— Ну, просто он музыку очень любит, — пояснил белоусый. — Если вы музыкант, то можно было бы договориться легко. Играли бы ему по вечерам в качестве платы. А Ильдус (это хозяина так звать), кстати поет неплохо. Я слушал — так просто заслушался.

— Я не музыкант, — сухо повторил Искандер. Белоусый начал всерьез раздражать его.

— А кто тогда? Я на пальцы ваши посмотрел, думал, вы с утра до вечера по клавишам бьете.

— Я преподаватель, — сказал Искандер, убирая руки в карманы.

— А что преподаете?

— Арабский язык.

— Так что же вы молчали! — вскричал белоусый.

— Так вы не спрашивали...

Белоусый уже не слушал Искандера.

— Ильдус, слышь. Он, оказывается, арабский знает. Преподаватель... Вот это уже совсем другой разговор... Ага. Понял. Только ты это... без глупостей. Понял? Вот так. Ну ладно... погоди, ты дома сейчас? Ага... Давай.

— Все отлично, — сказал белоусый Искандеру. — Езжайте туда прямо сейчас. Давайте такси сейчас вызову. Он с вас ничего не возьмет. Только просит уроки арабского ему провести. Пока вы там живете. Короче, там на месте договоритесь.

Но Искандер не уходил. В голове его вертелся вопрос, и он не знал, как его озвучить.

— Простите, вот вы только что в разговоре упомянули, что этот ваш знакомый... как бы это сказать, — Искандер глядел на белоусого с надеждой, что тот сам произнесет нужное слово. Но белоусый молчал.

— Ну... вы сказали, что он, — Искандер изобразил рукой неопределенную фигуру в воздухе.

— Аа, вы про педрилу, что ли?! — заржал белоусый. — Да это я его так в шутку называю. Фигура речи, так сказать. Вы ни за что не бойтесь его. Он не их этих. Не без тараканов, конечно, но не это... Книжки, кстати, пишет. Татарский писатель Галимзянов. Не слышали?

— Не слышал, — отвечал Искандер. Слова о профессии хозяина на квартиры немного примирили его с постылой необходимостью задержаться в Казани. Ему никогда прежде не доводилось гостить у писателей, тем более у татарских. Да, что говорить, даже встречать живых писателей ему как-то не приходилось. Если не принимать в расчет профессора Снегирева, читавшего им историю Древнего Востока.

Снегирев имел странное хобби: он пописывал романы и печатал их за свой счет. Те, кто находил в себе силы прочесть сочинения профессора, утверждали, что все романы были полны смелых эротических фантазий. Некоторые студентки утверждали, что узнавали себя в образе какой-нибудь из героинь. Но это было еще полбеды. Снегирев, не имевший душевной мощи существовать вдали от своих читателей, принуждал студентов приобретать произведенный им литературный материал. Те, кто не приносил на экзамен один из сочиненных Снегиревым романов, немедленно отправлялись на персдачу. В следующий раз студент или студентка уже являлись с нужной книгой или деньгами. Профессор предусмотрительно брал с собой на экзамен некоторое количество экземпляров.

Первое время студенты выходили из положения следующим образом. Они покупали вскладчину несколько книг, а потом передавали их друг другу после успешной сдачи экзамена. Снегирев трюк этот быстро разоблачил и стал ставить на каждом предьявленном ему экземпляре автограф, где писал имя и фамилию человека, которому предназначалась книга. Профессор безнаказанно осуществлял этот гешефт в течение нескольких лет, пока не напоролся на Искандера.

Искандер отказался слушать советы сокурсников и не стал покупать только что вышедший из печати роман «Сладкие грезы царя Навуходносора». Несколько дней он всерьез готовился к экзамену у Снегирева, ходил по комнате и нараспев повторял содержание всех билетов. Для чего-то он даже выучил наизусть начало «Илиады»: «Гнев, о, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына! Гнев неумный его много бедствий ахеянам сделал...».

В день экзамена Искандер явился одним из первых. Доставшийся ему билет был несложным. Искандер с трудом дождался своей очереди отвечать. Снегирев небрежно выслушал ответ на первый вопрос о греко-персидских войнах, а когда Искандер начал говорить о трех отроках «в печи огненной», оборвал его и вклеил ему «парашу» (сам профессор называл эту оценку «лебедем»).

Искандер ничего не ответил, молча забрал зачетку и ушел. На следующей неделе он явился на персдачу, достал кошелек и демонстративно протянул Снегиреву 100 гривен со словами «сдачи не надо». Книга профессора оценивалась самим автором в 60 гривен. Искандер попросил писателя выслушающего профессора оставить автограф на своем произведении. Ничего не подозревавший Снегирев размашисто вывел надпись: «Искандеру от ав-

тора на долгую память». Искандер отложил в сторону книгу и взял билет. Бросив взгляд на вопросы, он заявил, что намерен отвечать сразу. Снегирев не возражал. Искандер, давно уже усвоивший наизусть содержание всех билетов, бойко выступил по первому и второму вопросу.

— Вот это уже совсем другое дело, — сказал Снегирев. — Можете ведь, когда захотите.

Искандер ничего не ответил. Он дождался, когда профессор проставит оценку в ведомость и распишется в зачетке. После этого Искандер медленно поднялся, спрятал зачетку в карман пиджака и пошел к выходу.

— Искандер, вы книгу забыли, — крикнул ему во след Снегирев.

— Ах да, простите, — Искандер медленно направился к столу. Он принял из покрытых рыжими пятнами рук Снегирева книгу, раскрыл ее на середине, затем прижал к груди и ярким жестом матроса, рвущего на груди тельняшку, разделил ее на две части. Книга была сделана без любви к долговому чтению и быстро поддалась. Одну половину Искандер небрежно бросил на пол, вторую же оставил при себе. Снегирев был настолько изумлен происшедшим, что не знал, как себя следует проявить. Только когда головы его коснулись несколько некрасиво вырванных из его романа листов, он вскочил с места и прокричал изменившим ему голосом одно только слово: «Говно!».

Больше Искандер ничего от профессора Снегирева не услышал. Пролетели каникулы. В первый день учебы Искандер заметил на входе в институт установленную на треножнике прямоугольную доску, обитую красной материей. Обычно так выглядели в институте некрологи, сообщавшие об убыли людей в учебном заведении. Он подошел, и первое, что он увидел, была фотография Снегирева. В правом нижнем углу размытый черно-белый снимок пересекала жирная, как улыбка покойного, траурная лента. Ниже шел текст. В некрологе сообщалось, что профессор Снегирев безвременно ушел из жизни от сердечного приступа в ночь на 26 января.

— На следующий день после пересдачи, — подумал вслух Искандер.

— Твоя работка? — услышал он за спиной знакомый голос. Искандер обернулся и увидел декана их факультета — желчного толстяка Мартынова, от которого всегда воняло псиной. Он не знал, что сказать и не стал больше смотреть на декана.

— Ну, ладно, не переживай сильно, — примирительно сказал Мартынов. — Покойник, надо прямо сказать, не подарок был. И нам от него доставалось. Но порядок есть порядок. Сделаем тебе выговор, — Мартынов легонько ткнул Искандера кулаком в плечо и отправился в сторону факультета, насвистывая какой-то мотив.

Искандер оставался некоторое время без движения. Если бы кто-нибудь в тот момент спросил его, чему он больше поражен: из-

вестию о смерти Снегирева или словам декана, он бы не смог дать точного ответа. С тех пор Искандер всерьез опасался писателей и не ждал от них ничего хорошего.

Галимзянов

Искандер подивился, как скоро появилось такси. Он только и успел, что зафиксировать в айфоне адрес писателя да сообщить белоусому свой номер. Искандер занял место рядом с таксистом — ненатуральным блондином с лягушачьими припухлыми веками и приподнятой верхней губой. Только когда Искандер соединился с сидением ремнем безопасности, он заметил, что на коленях у водителя находилось что-то темное. Сначала Искандер решил, что это варежка из темного меха, но варежка производила какой-то с трудом различимый звук, похожий на дыхание живого организма. Заметив интерес Искандера, блондин положил правую ладонь на черный предмет или существо, словно оберегая его от постороннего взгляда.

— Кто это? — шепотом спросил Искандер.

— Микки, — отвечал блондин, не понижая голоса. — Можете говорить громко. Он сейчас крепко спит. Мы всю ночь работали, и он, бедняжка, утомился.

— Это котенок?

— Нет, хорек. Он мелкий совсем. Пару недель как родился.

— Ничего себе. А так не опасно ... с одной рукой ездить? — заинтересовался Искандер, кивком головы указывая на руль.

— Нет, что вы, — улыбнулся блондин. — Я уже так две недели езжу. Его одного дома не оставишь. Вот и катаемся вместе. И ему спокойно, и мне хорошо.

Всю дорогу Микки спал, зарыв мордочку между бедер блондина, и Искандеру не удалось хорошенько его разглядеть.

Фарида апа молчала, словно все важное уже было произнесено. Искандер, занятый своими мыслями, не докучал ей разговорами. У дома на Фучика он помог старушке выбраться из автомобиля.

— Ты езжай, улым, — сказала Фарида апа. — Я тут еще посижу, воздухом подышу. Меня укачало в этом такси.

— Спасибо вам большое, Фарида апа.

— Если буду хорошо себя чувствовать, приду на похороны, Алла бирса. Когда там, напони пожалуйста?

— В понедельник. Я вам обязательно позвоню...

По адресу, который белоусый сообщил таксисту и Искандеру, находился девятиэтажный дом. На скамейке сидел человек неопределенного возраста в красных тренировочных штанах и белой футболке с полуистертой надписью на иностранном языке. Цвет волос человека был также неопределенный: то ли светло-каштановый, то ли темно-каштановый. Глаза его были устремлены вдаль и ничего не выражали, кроме безмолвия, совокупившегося с одиночеством.

Искандер сразу догадался, что это и есть Галимзянов. Издалека ему показалось, что писатель был занят едой. Когда Искандер приблизился, он понял, что писатель грыз семена подсолнуха. Галимзянов еще некоторое время сидел молча, не изменяя направление своего взгляда. Наконец, он медленно поднял на Искандера глаза неопределенного цвета и посмотрел на него так, словно наблюдал оплошность мироздания.

— Ты, что ли, жилец? — спросил он тягучим, как старая карамель, голосом.

— Я, — отвечал Искандер.

Писатель исторгнул из своего рта под ноги Искандеру шелуху подсолнуха.

— Хорошо, если не шутишь. Меня Ильдус зовут, — он протянул свою руку, и Искандер ощутил в ладони влажное безразличие.

— А где твой чемоданчик? — спросил писатель, разглядывая пространство под ногами Искандера.

— Чемодана нет, — отвечал Искандер. — Только рюкзак. Я думал, что на один день приеду...

— Понятно, — заключил писатель. Он медленно поднялся, извлек из кармана тренировочных штанов ключ домофона и прислонил его к металлическому кружку.

— Лифт не работает, — предупредил Ильдус, — но тут недалеко.

Весь их путь вверх был обозначен окурками. Следы привычки курить имелись и выше. На стене между первым и вторым этажами было выведено сигаретой: «Гуля, зачем ты крестила наших детей?». Они поднялись выше, и Искандер прочел выведенный тем же самым способом текст: «Исчезни, мразь». По-видимому, это был Гулин ответ.

Искандер обратил внимание, что в каждом пролете между этажами встречалась черная чугунная дверь. На такой двери не имелось не только номера или звонка, но даже дверной ручки. Только отверстие для ключа, но и его непросто было разглядеть человеку с ослабленным зрением.

— А это, что, тоже квартиры? — поинтересовался Искандер.

— Нет, — растягивая букву «е», отвечал Ильдус, — это кладовки. Раньше там мусоропровод был. То есть он и сейчас существует, только к нему никак не пройти. Как только дом заселили, народ подсуетился и занял свободное пространство. Поставили двери, кто успел.

— А разве так можно? — спросил Искандер, изучая глазами черную с ржавыми пятнами дверь.

— Формально нельзя, но управляющая компания закрывает на это глаза. Сам знаешь, если людям все подряд запрещать, они ведь волноваться начнут, права там качать. Вот и решили не связываться.

— А у вас тоже такая кладовка есть?

— У кого это у вас? — Ильдус даже остановился. — Ты ко мне это, что ли, во множественном числе, как к Наполеону?

— Ну не во множественном, — возразил Искандер.

— Так, ты эти шутки брось, понял? — строго сказал Ильдус и приблизил лицо свое к глазам Искандера. — Давай на «ты» и точка.

— Хорошо.

— А насчет кладовок... Не успел я. Пока я тут яйца чесал, деньги искал, ушлый сосед-сукерла захватил жизненное пространство.

На четвертом этаже Ильдус юркнул в неосвещенный коридор. Номера квартиры на металлической двери не имелось. Рядом со звонком с помощью скотча была закреплена надпись, выведенная черным маркером: «Звонок не работает. Не стучать!».

— А как же тогда ... — сказал Искандер, указывая кивком на надпись и не зная, как завершить начатый вопрос.

— Кому надо, у того номер телефона есть, — сказал Ильдус. — А эти из управляющей компании меня заманили уже.

— А что они хотят?

— Известно чего: денег. Задолжал я им не по-детски. Уже больше года за квартиру не платил...

— Не выселят тебя? — сочувственно спросил Искандер.

— Пусть только попробуют, — сквозь зубы проговорил Ильдус, распахивая дверь в квартиру. — Я — человек социально уязвимый, инвалид второй группы. У меня и документ на этот случай имеется.

В квартире в нос бросился запах усталости от жизни. Так пахнут квартиры, где проживают одинокие немолодые люди вместе с котом или неприученной к городскому комфорту собакой.

— У тебя животные есть? — спросил Искандер, проводя большим и указательным пальцем по носу.

— Была собака... Но сдохла давно уж. Что-то сожрала во дворе, когда гуляла. А я проморгал. Потом долго и мучительно умирала. Гнила, считай, заживо. Видел бы ты ее глаза. Как вспомню, плакать, мля, хочется. То ли эти козлы догхантеры что-то просыпали. То ли экология у нас тут такая. А, может, и то и другое... Обувь снимай! Пол чистый. Айда сначала твою комнату покажу.

Комната Искандера находилась слева от входной двери напротив туалета. Это было маленькое помещение, в котором стоял потрепанный диван неопределенного цвета, полупустой книжный шкаф и антикварного вида кресло-качалка.

— Этот предмет старины я на Тинчурину купил. За копейки, считай, — сказал Ильдус и качнул кресло. — Тебе эта штука мешать не будет, да? А то я уберу ее.

— Нет, пусть будет.

— Хорошо. Айда туалет покажу.

Санузел в квартире был раздельный. Но проникнуть туда можно было только боком: дверь открывалась вовнутрь, а расстояние между стенами было незначительным.

— Бумагу в горшок не бросай, — строго предупредил Ильдус. — Если вдруг большое дело сделаешь — мигом спу斯卡й. Освежителя воздуха нет.

Искандер усмехнулся. Ему понравилось это всерьез произнесенное «если вдруг».

— Так может проще освежитель купить, — предложил Искандер.

— Э-э-э, браджан: проще — не значит лучше, — отвечал Ильдус. — Во-первых, чего ради на такое баловство лишние деньги тратить? Я же не дочка Рокфеллера! А во-вторых, ты же с образованием вроде, не в курсе, что ли, что эти освежители воздуха озоновый слой земли не по-детски разрушают?

Искандер ничего не ответил, и они пошли дальше осматривать квартиру. Над умывальником с рыжим пятном на дне висело треснутое зеркало. Ильдус одернул занавеску.

— Ты там в душе поосторожней с переключателем, — сказал хозяин квартиры, указывая на смеситель. — Может резко горячая вода пойти. Не сварись...

По дороге на кухню Ильдус распахнул еще одну дверь.

— А здесь вот я сам обитаю.

Если бы Искандер прежде не видел хозяина квартиры, то при виде этой комнаты он решил бы, что здесь живет совершенно больной старый человек, которого давно никто не навещал и не любил. Незастланная кровать с разбросанной на ней одеждой, неказистый платяной шкаф и телевизор, приделанный к стене. На полу без всякого порядка лежали книги и газетные листки.

Кухня оказалась почти вдвое просторнее комнаты, отведенной под проживание Искандеру. У стены стоял большой стол, половина которого, судя по видимым глазу предметам (компьютеру, тетрадке и ручке), служила хозяину рабочим местом, а другая предназначалась для ежедневного приема разной пищи. На газовой плите что-то приготавливалось, кажется — пельмени. Над столом висел производственный календарь. Красная передвижная рамочка, служившая для обозначения текущей даты, остановилась на позавчерашнем дне. С календаря строго и в то же время кокетливо глядел уже знакомый Искандеру человек с маленькой рыжеватой бородкой и аккуратно подстриженными усиками. На голове его красовалась та же каракулевая шапка, похожая на пилотку. Под фотографией Искандер прочел выведенные золотыми буквами слова: «Тот, кто любит Аллаха, любит Россию и его суверенитет».

— А почему его, а нее? — спросил Искандер, кивком головы указывая на фотографию.

— Да чурки какие-то делали. Я поэтому и повесил его здесь, — чисто поржать.

— А кто это? — спросил Искандер, продолжая разглядывать человека в каракулевой шапке.

— Это Дамир хазрат, наш верховный муфтий. Ты располагайся, отдыхай, — тяжело вздохнул Ильдус и шлепнулся на единственный в помещении стул.

— Спасибо, — отвечал Искандер. — Я по поводу оплаты хотел бы сразу договориться.

— А тебе Карлов не сказал, что ли?

Искандер догадался, что Карловым звался белоусый.

— Он что-то там про арабский язык говорил, — вспомнил Искандер.

— Так точно. Ты арабский знаешь? Татакаллям би люха арабийя?¹

— Ля бас бих², — отвечал Искандер.

— Ты мусульманин?!

— Да.

— Круто! А по нации кто? Татарин?

— Крымский татарин, — поправил Искандер.

— Вот это да... Из самого Крыма, что ли? — Ильдус даже вскочил со стула.

— Из самого.

— А я вот, прикинь, никогда не бывал в Крыму. Как там? Лучше, говорят, стало?

— Может, кому-то и лучше, — уклончиво отвечал Искандер. У него уже сложилось некоторое представление о хозяине квартиры, и он не хотел вступать с ним в разговоры, которые могли кончиться неприятно.

— Знаешь, что я думаю про все это? — сказал вдруг Ильдус. — Я в эту политику лезть не хочу. Я так считаю: если народ решил быть с Россией, значит, так тому и быть. Но если по чесноку, то Крым конечно — российская земля.

Искандер оставил слова Ильдуса без ответа.

— Кушать хочешь? — поинтересовался хозяин квартиры. — Я как раз завтракать собирался.

— Не откажусь. С утра только чай успел попить.

— А я как раз пельмешки сварил, — Ильдус подошел к кастрюльке на плите и поднял крышку. — Ты пельмени уважаешь?

— Да.

Пельменей оказалось немного, но хозяин квартиры отдал Искандеру почти половину своей порции. Мясо в пельменях было кислым, и Искандеру от этого стало грустно.

— Мне сказали, вы... то есть ты писатель, — сказал Искандер, отвлекая самого себя от грустных сигналов, посылаемых языком.

— Правильно сказали, — с достоинством человека, имеющего сильную репутацию, отвечал Ильдус.

¹ Ты говоришь по-арабски? (*араб.*).

² Немного (*араб.*).

— И книги изданные есть?

— Ну да, имеются.

— Покажешь?

Пока писатель ходил за книгой, Исканер высыпал в его тарелку недоеденные им пельмени. Ильдус не мог видеть самой операции, но опытным глазом понял, в чем дело. Он хотел что-то сказать, но отрывка помешала ему сделать это. Исканер вынул у Ильдуса из рук принесенную книгу. Книга называлась «В дупле». В качестве автора на обложке был обозначен Илья Абрикосов.

— Так тут же какой-то Абрикосов написан. Так и я могу любую книгу с полки взять, и сказать, что это я написал. Например, Пушкина, — засмеялся Исканер.

— Пушкин, говоришь? А вот это ты видал, да?! — Ильдус выдернул из рук Искандера книгу и ткнул пальцем в фотографию на задней стороне обложки. На ней был парень лет двадцати, действительно похожий на Ильдуса. — Узнаешь? Вот то-то и оно. Абрикосов — это мой литературный псевдоним. Сам понимаешь, с моими именем и фамилией чурбанскими хрен куда пробьешься в современной русской литературе. Эти же редактора, издатели смотрят не то, что ты пишешь, а на то, кто ты есть по жизни. Одна редакторша так мне и сказала: «Не могу, значит, вообразить себе русского писателя по фамилии Галимзянов». Не сдержался я тогда, дал ей за такие слова по харе. В одном журнале московском дело было. Сейчас его уже нет. Закрыли из-за денег. Ну, набежали тут, как тараканы сраные, их сотрудники. Махач был знатный. Я одному писателю очки там сломал и зуб выбил. Жирный такой, с бородой, сука. Но не буду называть имя и фамилию. Потом меня долго в толстых журналах не печатали. Да не только в фамилии дело. Не пускают. Там мафия своя. Вход два рубля. Выход копейка. Есть, конечно, и среди издателей и писателей нормальные люди. Вот, например, Шишкин. Он, знаешь, что про вот эту мою книгу сказал? Ничего подобного, сказал писатель Шишкин, не читал со времен раннего Сорокина. Слышал про Шишкина, что ли?

— Шишкин — это же художник вроде, — осторожно заметил Исканер.

— Не-е, ты че. Он писатель уж. Хотя, он мужик талантливый, может и картины рисует. Про это не скажу. Он кино еще снимает. Мистика всякая, считай. Жутко интересно. Сейчас тебе покажу его. — Ильдус взял в руки лежавший рядом с ним телефон и стал что-то искать... — вот он. — Видал? Голова!

Исканер увидел лысого мужчину неопределенного возраста с грустными глазами и усами как у запорожского казака.

— Он недавно книгу выпустил про Распутина, — восторженно продолжал Ильдус. — Я, чесслово, пока не прочитал ее до конца спать не лег. Там все написано посильнее, чем у Старикова. Стари-

ков фалян-тегян¹, публицистика, заумь всякая, а этот Шишкин все как в романе описывает, как было все на самом деле. Ты вот, например, знаешь, за что Распутина пидорасы замочили?

— Кто?! — спросил Искандер.

— Пидорасы, — с готовностью повторил Ильдус.

— Чем же он им насолил?

— Да все просто. Им англичане пробашляли. Потому что Распутин у них как в горле кость был. И как только убрали Распутина, в России революция случилась на немецкие деньги.

— Постой, — перебил Ильдуса Искандер, — но англичане тогда с немцами воевали. Зачем им Распутина убивать, чтобы немцы потом революцию в России сделали?

Ильдус посмотрел на Искандера. Так глядят на старика-юбиляра, который громко пустил ветры в тот момент, когда нужно было задуть свечи на именинном торте.

— Ничего ты не понимаешь, наивняк, — с кривой усмешкой произнес Галимзянов. — Они всегда Россию, считай, ненавидели: и англичане, и немцы, и все остальные. И даже если воевали, всегда объединялись на почве русофобии и неприятия духовности нашей. Но с этими-то все понятно, заморскими чертями. Мне вот другое непонятно: почему наши отечественные люди правду о Распутине скрывают? Вот, к примеру, хорошо известно, что в Эрмитаже член Распутина в специальной банке хранится. Его когда эти... пидорасы убили, они ему из мести член отрезали за его мужскую силу. Потом член в банку закатали.

— А кто его туда поместил? — спросил Искандер.

— Врач один, фамилия у него съедобная такая... Пирожков, что ли.

— Может, Пирогов?

— Точно: он. Короче оттяпал этот Пирогов у Распутина член и поместил в банку. Но банку эту нигде не выставляют. Так вот недавно приезжал к нам в Казань академик Пиотровский из Эрмитажа. Он у них там за главного, считай. Я на этом культурном мероприятии присутствовал. Заранее пришел, сел в самый первый ряд, чтобы получше все увидеть и услышать. Я его прямо в лоб, этого Пиотровского, спросил: «Михаил Борисович, почему вы не выставляете член Распутина?». Видел бы ты его тогда. Весь сжался, глазки забегали. Нет, говорит, у нас никакого члена. А я-то вижу, что он врет. Меня ведь не проведешь. Он, когда слово «член» произносил, заикаться даже стал. Но от меня просто так не отмахнуться. Я не муха и не комар какой-нибудь. Говорю я тогда Пиотровскому этому: «У Вас, Михаил Борисович, может члена и нет, а в Эрмитаже он имеется. Мне это достоверно известно. Может, вы еще скажете, что у вас головы Хаджи-

¹ Фэлэн-төгән (татарск.) — бла-бла.

Мурата тоже нет? Верните народное достояние людям! Голову Хаджи Мурата — кавказцам, а член Распутина — русским». Из зала меня вывели и не дали дискуссию завершить.

— Ты, наверное, телек все время смотришь, — предположил Искандер, когда закончил смеяться.

— Бывает, — согласился Ильдус. — Хотя в последнее время реже включать стал. Всякую муть крутят. Тошно иногда смотреть, чесслово. Включаешь и смотришь этот беспросветный мрак.

— А сколько каналов у тебя?

— Не считал. Штук двести может.

— Так что ты не переключаешься?

— Легко сказать, — сказал Ильдус. — К вечеру так устаешь, считай, что даже сил нет кнопку на пульте нажать. Что-то еще искать там... Ну их в баню! Только и хватает энергии, что красную кнопку надавить. А там идет Первый канал обычно. Вот и приходится всякую дребедень зырить.

— Да ты Обломов, получается, — засмеялся Искандер. — Как только ты в себе силы находишь книги сочинять?

— А вот тут ты в точку попал, — вновь оживился Ильдус. — Не всегда удается собраться. Бывает так: встаю с утра. Голова свежая. Чайку глотну и сажусь писать. А в голову как назло ничего стоящего не лезет. И сидишь так над компом, как лох самый последний. Прямо до слез обидно бывает. А потом вдруг сходишь там... в магазин за хавкой или просто в туалет развеяться и понимаешь — поперло. Все бросаешь, бежишь за стол писать, но пока добежал, вдохновение куда-то на хрен улетучилось. У меня один раз так было. Я на улицу вышел — проветриться, и тут меня прихватило, считай. Я назад. Понесся по лестнице, про лифт забыл начисто, чтобы поскорее к творчеству приступить. Ну и упал, не добежал одного этажа. Закрытый перелом правой руки. Забрали меня в больницу. Там тоже пару раз муза приходила, я сам записывать не мог: рука. Стал диктовать соседу по палате. Он записывал все без звука, старательно. Потом оказалось, что туфта полная. Я думал он узбек или другой черный какой, а он корейцем оказался. Только не нашим, а оттуда, из этого... Сеула. Вообще по-русски писать не умел, хотя на пятом курсе в университете учился. Такие вещи я ему тогда надиктовывал, а он, — Ильдус нехорошо выругался.

— А сейчас ты пишешь что-то? — поинтересовался Искандер.

— Пишу, — отвечал Ильдус. — Роман в форме дневника. Не буду тебе сюжет весь пересказывать. У меня примета такая есть, пока книгу не написал — никому не слова. Так что без обид.

— Хорошо, — отвечал Искандер, вполне довольный уже одним тем обстоятельством, что писатель приотворил ему дверь в свою творческую кухню.

Искандер вспомнил, что Исмаил эфенди также вел дневник, куда записывал маленькими арабскими буквами какие-то слова.

Нередко во время этого занятия дед хмурился. Искандер знал, что брови деда беспокойно двигались, когда какая-то тяжелая мысль не отпускала его сердце и разум. И потому никогда не спрашивал деда, что он пишет. Куда-то потом этот дневник делся, Искандер припомнить не мог. Смерть деда и торопливые сборы в дорогу не оставили никакого шанса этому произведению Исмаила эфенди.

Сам Искандер тоже баловался стихами, а еще вместе с двумя одноклассниками — крымским татаринцом Мустафой и корейцем Коляном — «издавал» рукописную газету, звавшуюся «Кой». Колян настаивал на ином назывании, созвучным упоминавшемуся выше. Оно, что уж скрывать, и в самом деле отражало их тогдашний настрой и образ мыслей.

Первый номер действительно вышел под предложенным Коляном названием, но в творческий процесс вмешалась цензура в лице классной руководительницы Валентины Ивановны. Тетрадка в двенадцать листов, служившая каркасом для издания, так и не дошла до читателей. Валентина Ивановна непременно желала придать делу политический характер: на обороте тетрадки, чей титул был испоганен гадким заборным словом, был напечатан гимн Советского Союза. Фантазия издателей «Коя» не пощадила это произведение детского поэта Михалкова и недетского писателя Эль-Регистана.

Историю удалось очистить от политики благодаря дипломатии Исмаила эфенди. «Мальчишки думают о девчонках, — сказал мудрый старик, — разве можно их за это осуждать?». Потом Исмаил эфенди помолчал и добавил: «Если кого и следует осуждать, Валентина Ивановна, так это вас, за то, что плохо прививаете подрастающему поколению этику и психологию семейной жизни». Дед рассказывал эту историю дома, и родители Искандера от души смеялись. Не было смешно только Искандеру: он опасался, что теперь ему и его товарищам запретят делать газету. Но волнения эти были напрасными. Запрета не последовало.

На заседании редколлегии было принято решение переименовать газету. Колян настаивал на названии, которое в грубой форме обозначала другую часть человеческого тела, как мужского, так и женского, и вполне отвечало апокалиптическим настроениям их творческого коллектива. Но тут уже Искандер и Мустафа выступили против, и было найдено компромиссное название «Кой», переводившееся как «мелодия».

Газета выходила всего в одном экземпляре и бесплатно распространялась для медленного чтения среди одноклассников. Ее осваивали по очереди: сначала мальчишки, затем — девчонки. После этого зачитанный до дыр и пятен номер возвращался к членам редколлегии и поступал на бессрочное хранение к Колянцу. Что стало потом с номерами «Коя», Искандер не знал. Из письма одноклассницы Маши стало известно, что Колян, ставший заядлым кар-

тежником, проиграл каким-то уркам сначала все свое имущество, а потом и собственную честь. Может, среди проигранного имущества были номера газеты «Кой». Хотя навряд ли...

Пока Искандер вспоминал свою короткую писательскую жизнь, Ильдус расправился с пельменями.

Из комнаты, отведенной Искандеру, донеслись звуки азана¹.

— Слушай, я на джума² схожу, — сказал Искандер, появившийся в кухне с телефоном в руке. — Хочу заодно вашу новую мечеть посмотреть.

— Это ты здорово придумал, — одобрительно отозвался Галимзянов, задрал голову и посмотрел на календарь. — Сегодня, кстати, гряд, в мечети сам Ак Буре будет.

— А кто это Ак Буре? — спросил Искандер.

— Ну, ты даешь, блин. Как вчера на свет родился. Ты, что, реально про Ак Буре не слышал, штоле?

— Не слыхал.

— Это Белый Волк.

— Это из сказки который?

— Зачем? — протянул Искандер. — В сказке он фэйковый, а тут реальный. Он тут заместо шейха суфийского. С ним сам Аллах непосредственно общается.

— Прямо-таки и общается? — с недоверием спросил Искандер.

— Не знаю, люди говорят знающие. Я свечку не держал. Но говорят, что через него Аллах передает свои слова всем татарам.

— А почему только татарам?

Ильдус на мгновение задумался.

— Ну потому, что мы как бы самые правильные мусульмане... Как-то так. Это Дамир хазрат так говорил.

— Вот он, что ли? — спросил Искандер и посмотрел на человека в каракулевой шапке.

— Он самый, — отвечал Ильдус. — Он же не только муфтий, но еще и настоятель в мечети Шаймиева. Он как бы главный за ислам здесь, считай. Через него Ак Буре людям слова Аллаха сообщает. Ты чего в интернете его выступления не смотрел, что ли? Он ваще жжет иногда. Я тебе ссылку брошу. Ты есть в Контакте, да?

— Есть.

— Ладно, — Ильдус хлопнул себя по коленкам, — харе болтать. Пошли, что ли?

— А ты тоже идешь? — удивился Искандер.

— А то, — сказал Ильдус и почему-то подмигнул Искандеру. — Тахарат³ настоятельно рекомендую дома взять, а то там давка будет. Хотя в новой мечети все цивильно. Фонтанчики, мраморные скамейки. Бабла немало убухали, но красиво смотрится...

¹ Азан — призыв к молитве.

² Джума — обязательная пятничная молитва у мусульман.

³ Тахарат — ритуальное омовение перед молитвой.

Мечеть

Для удобства граждан, заинтересованных в коллективном разговоре с Богом, мечеть была организована в ничтожной удаленности от метро. Станция была нарочно открыта накануне первого молебствования. Мэру города Ибадуллину дважды пришлось приезжать на одно и то же место. Сначала он появился, чтобы разрезать ленту под землей и вместе с обрадованным таким значительным соседством машинистом дать старт первому поезду от станции, звывшейся так же, как и мечеть. Сама же мечеть была названа в честь человека, которого обитатели Казани ласково называли Бабаем и продолжали крепко любить, хотя никто не помнил уже, что хорошего он сделал людям. Человек этот тоже вместе с мэром прибыл на открытие мечети. Его вели под руки два молодых похожих друг на друга чиновника в блестящих костюмах. В газетах писали, что эта самая большая мечеть в Европе, но находились люди, которые утверждали, что это не так. Впрочем, всегда найдутся те, кто попытается обнаружить изъяны даже в самом совершенном творении.

Мечеть и в самом деле показалась Искандеру огромной. Голубые минареты, напоминавшие молодые грибы-поплавки, возвышались над районом как столпы веры. По мраморному полу, укрытому от разутых ног коврами, Ильдус с Искандером пересекли просторный зал. Искандер остановился, разглядывая богатую люстру с неизмеримым числом стеклянных фигурок.

— Из бемского хрустала, — сообщил Ильдус Искандеру. — На специальном самолете доставили в подарок Бабаю. А штуки, на которых стекляшки эти висят, из золота. Но я как-то не очень верю, слишком шикарно звучит, чтобы быть правдой. Давай поближе сядем, а то не увидишь ни черта.

Первые три ряда были уплотнены сидевшими в разных позах людьми со спокойными лицами. Они неторопливо говорили друг с другом о своих насущных делах, ожидая призыва к молитве. В четвертом имелось несколько незаполненных пространств между человеческими телами. Одно из них заполнили Ильдус с Искандером. Ильдус уселся по-турецки, а Искандер опустился на поджатые ноги...

— Вот видишь имама? — Ильдус указал головой в сторону человека, стоявшего к ним вполоборота. Это был высокий человек в темном длиннополом одеянии с белоснежной чалмой на голове. Красивое лицо. Выражение глаз не было видно по дальности расстояния, но Искандер хорошо помнил тот строгий и одновременно лукавый взгляд на фотографии с календаря, которую он видел на кухне у Ильдуса. Эдакий строгий плут.

— Да, — отозвался Искандер.

— Это тот самый Дамир хазрат, о котором я тебе говорил. Красиво говорит, и, что характерно, правильные слова. Короче, сам услышишь. Если че не поймешь, я тебе переведу.

— Спасибо.

Мечеть быстро заполнялась серьезными людьми мужского пола. Большинство было татарами, но встречались и совершенные азиаты, и чернокожие мусульмане.

— Хурметле... Дорогие братья и сестры! Ас-саламу алейкум ва рахмат Аллахи ва баркатух¹, — заговорил проповедник.

— Уважаемые... — вполголоса начал переводить Ильдус.

— Не надо, я пока понимаю, — шепотом перебил его Искандер.

Но когда проповедник стал говорить дальше, Искандер почувствовал, что слишком понадеялся на свое языковое чутье. И он покорно склонил свое ухо перед Ильдусом. А тот только и рад был проявить свою заинтересованную осведомленность в родном языке.

— Короче, тема этой проповеди — деньги. Что деньги всем Аллах как бы дает, но ждет, чтобы люди этим умело распорядились. Не тратили на всякую байдую. И что если у кого лишние деньги имеются, то не надо себе покупать дорогие часы и фалаян-тегян, а отдавать нуждающимся братьям... и сестрам. Сестрам лучше отдавать через братьев. И что если ты знаешь кого-то конкретно, кто нуждается, дай ему деньги, а если не знаешь — то носи в мечеть уж. Имам как бы поможет с этим делом, так как он сам знает тех, кто больше всего нуждается.

— Брат, потише, пожалуйста, — суровый взгляд обратившегося к ним бородача из третьего ряда совершенно не соответствовали доброте его слов.

— Я гостю перевожу, — огрызнулся Ильдус, не повышая голоса, но видом своим давая понять, что не намерен уступать.

— Ты чего такой дерзкий, брат?! — отвечал бородач, и глаза его сузились.

Проповедник неожиданно прервал свою речь, и Искандер догадался, что он смотрит на них с Ильдусом. Он хотел сообщить об этом Ильдусу, но проповедник опередил его. Он что-то сказал, и Искандер слышал только имя Ильдуса.

— Извините, хазрат. Да, монда минем кунак, Кырымнан², — пояснил Ильдус, кивая в сторону Искандера.

— Так что же вы молчали, — произнес Дамир хазрат уже по-русски. На этом языке говорил он отчего-то быстро, словно поспешал куда-то по неотложным делам с большой спортивной сумкой на плече. — Наши братья из Крыма — всегда дорогие гости для нас, татар Поволжья. Как зовут нашего дорогого брата?

— Искандер, — отвечал за смутившегося Искандера Ильдус.

Дамир хазрат замолчал и несколько секунд внимательно смотрел на Искандера. Наконец, он прокашлялся и произнес громче обычного: «Я думаю, братья и сестры, никто не будет возражать, если я продолжу хутбу на русском».

¹ Традиционное мусульманское приветствие.

² Монда минем кунак, Кырымнан (татарск.) — здесь мой гость из Крыма.

В зале прозвучал гул, из которого было неясно, что он заключает: одобрение или несогласие. Дамир хазрат поднял руку и, когда гул утих, продолжил.

— К сожалению, среди наших братьев и сестер все еще немало тех, кто забыл родной язык, язык Тукая и Мусы Джалиля, язык первого президента и шейха Ак Буре, — буква «я» в слове «язык» трижды крепко хлопнула Искандера по ушам. Ему вспомнилась Айгуль — девушка, с которой он когда-то встречался. Она также нещадно била всей силой своего большого рта по этой финальной букве, произнося ее в начале слова. Искандеру всякий раз казалось, что вслед за тем Айгуль непременно должно вытошнить. И хотя это никогда не происходило, страх, что это может когда-то случиться, не оставлял впечатлительного Искандера.

Дамира хазрата тоже не вытошнило на букву «я». Напротив, всем своим видом он демонстрировал, что чувствует себя превосходно.

— Но это не их вина, это их беда, — продолжал Дамир хазрат. — Я даже больше вам скажу: это наша совместная беда как татар. А совместную беду и решать надо совместно. Как сказано в одном хадисе: «Никто из вас не уверует, пока не пожелает для своего брата того, чего желает самому себе». Так пожелаем же нашему брату из солнечного Крыма поскорей выучить наш великий и могучий татарский язык, язык Марджани, язык, на котором наши предки столетиями обращались с мольбами к Аллаху.

Одобрительно отозвалась мечеть на слова проповедника. На Искандера с вниманием обратились сотни глаз, и он захотел в этот момент исчезнуть, вжаться в ковер и стать частью его узора.

— Какой тебе пиар Дамир хазрат сделал, — тихо произнес Ильдус Искандеру на ухо. — Теперь, считай, тебя каждая собака на улице будет узнавать.

Искандер хотел ответить Ильдусу, но Дамир хазрат возвысил голос, и Искандер умолк.

— Однако, дорогие братья и сестры, возвратимся к нашей проповеди. Мы с вами говорили о деньгах, о том, как опасно делать золотого тельца своим непосредственным богом и предметом культа. Часто наличие денег ослепляет человека, делает его самоуверенным. Ему кажется, что он едва ли не равен в своем значении Всевышнему Аллаху. Но горе тому, кто в ничтожестве своем возомнит себя, тварь, созданную Аллахом, беспредельным хозяином для всех богатств на территории Земли.

Последние две фразы Дамир хазрат почти прокричал. В голосе его звучали боль, страсть, гнев.

— Я расскажу вам, братья, одну историю, — возобновил Дамир хазрат свою речь после небольшой паузы. — Эта история тем более важна, что я буду говорить о нашем с вами земляке. Имя его сообщать вам я не стану. Но кто-то из присутствующих здесь может догадаться, о ком здесь имеется в виду. Есть у меня один знакомый

брат. В лихие девяностые, которые многие из нас хорошо помнят, был он близким образом связан с криминалом. Их банда контролировала полгорода. В деньгах, как говорится, купались. Все и кого хочешь, могли за деньги купить. Этот человек, о котором я сейчас веду речь, говорил своим бандитам: «Вы меня на руках носить должны. Я вам такую жизнь сказочную организовал. Катаетесь как масло в сыре». И что же вы думаете? Аллаху Таалю¹ услышал слова этого человека. Через какое-то время на жизнь того человека совершилось жестокое покушение. Гранатой оторвало ему обе ноги навсегда. И его, как он и говорил, стали носить на руках его ребята. То есть в буквальном значении, стали носить на руках. Вскоре после этого он, альхамдулилля², пришел в ислам. От него самого я услышал эту историю, которую сейчас рассказал вам. К чему я это говорю? Человек возомнил себя равнозначным Творцу и забыл, что все, все на этой грешной Земле принадлежит к Аллаху. И только Он имеет привилегию распоряжаться не только нашим имуществом, но и нашими жизнями.

Затем Дамир хазрат проворно спустился с минбара, прислонил к нему свой посох и повернулся спиной к верующим. Он приблизил обе ладони к ушам и пропел зачин молитвы. Понятные всем разлитым за его спиной людям слова «Аллаху акбар» разнеслись по залу и были подхвачены многоустным поминанием.

В молитвенном преклонении Искандеру не требовался советчик. Он с детства знал, как совершать намаз, еще до того, как научился угадывать смысл произносимых им арабских слов. Люди вокруг Искандера в сладостном ощущении единения бодрых душ склонялись к ласковой шерсти ковра, чтобы вслед за тем подняться над окружающим пространством, и с минарета человеческого тела восхвалить Единого Бога. Вместе со всеми припадал к земле и Искандер, вместе со всеми поднимался и, тихо шевеля губами, шепотом произносил знакомые с самого детства слова: Альхамду лиЛляхи, рабби алямин, ар-рахмани рахим, малики яуми д-дин...³

Когда имам закончил слова молитвы, он еще некоторое время оставался коленопреклоненным. Все продолжали сидеть, сменив лишь положение своих тел. Наконец, имам поднялся и повернулся лицом к мусульманам.

— А где Белый Волк? — едва слышно спросил Искандер.

— Погоди, скоро будет, — отвечал Ильдус.

Когда Искандер вновь посмотрел в сторону минбара, он увидел, что рядом с Дамиром хазратом стояли два крепких на вид старика и еще кто-то. Он не сразу сумел разглядеть его. Сначала Искандеру показалось, что это крепко состарившийся человек с бога-

¹ Аллаху Таалу (*араб.*) — Аллах Всевышний.

² Альхамдулилля (*араб.*) — слава Аллаху.

³ Слава Аллаху, Господу миров, Милостивому и Милосердному, господину судного дня (*араб.*) — слова мусульманской молитвы «Фатиха».

той растительностью на лице, — побелевшей то ли от долготы жизни, то ли от ее безрадостной строгости. Все внимание отнимал вытянутый нос, делавший лицо неизвестного похожим на лисью или даже волчью морду. Пока они с Ильдусом стояли в очереди, слепленной из тел бывших молящихся, Искандер не отрывал глаз от непонятого существа, которое по мере того, как он приближался к нему, все меньше походило на человека и все больше на лесного зверя, покрытого густой белой шерстью.

— Белый Волк? — прошептал Искандер и слова его звучали как волшебное заклинание.

— Ага, он самый, — отозвался Ильдус.

Верующие, образовав живую разноцветную змейку в круглых шапках разных цветов, поочередно подходили к Дамиру хазрату и стоявшим справа и слева от него старикам и, обнажая зубы, протягивали навстречу им свои ладони. Приблизившись к Белому Волку, каждый верующий обеими ладонями касался одной из мохнатых лап. И вслед за тем, не выпуская из рук своих лапу, они склоняли голову и прикасались к ней губами.

Змейка передвигалась быстро, и вскоре Искандер совершенно приблизился к зверю. Он бросил короткий взгляд на крепкого старика в тубетейке и протянул ему обе ладони. Затем сделал шаг и оказался лицом к лицу с Дамиром хазратом. Руки Дамира хазрата оказались мягкими и небольшими, как у городской девушки.

— Ас-саламу алейкум. Как ваша фамилия, уважаемый брат? — спросил Дамир хазрат Искандера, улыбаясь одними глазами.

— Ва алейкум ас-салам. Исмаилов, — медленно, как засыпающий от нестерпимой усталости человек, произнес Искандер и в тот же момент увидел на лице Дамира хазрата гримасу, словно тот прыгнул с кровати на канцелярскую кнопку голой пяткой. До боли сжал проповедник ладонь Искандера так, что ему пришлось с силой освободить свою руку.

— Прости... Простите, брат, — теперь Дамир хазрат улыбался уже не только глазами, но и ртом. — Просто ваше лицо показалось мне знакомым. Но я, кажется, немного ошибся.

— Ну, давай, что встал, — услышал Искандер за спиной шепот Ильдуса. — Тут меня толкают.

Искандер попятился в сторону, шевеля губами, как увлеченный какой-то неотложной мыслью человек. Он бездумно вытянул вперед две ладони и произнес приветствие, почти не глядя на высокого и жилистого бабая. Искандер весь сжался, будто он стоял посередине подвешенного моста через горную реку в ветреную погоду. Он почувствовал, как капельки пота стекают по спине и ноги его подкашиваются. Ильдус опять что-то зашипел ему в самое ухо, только Искандер уже не мог разобрать слов.

Еще один маленький шажок, и вот он уже перед мохнорылым существом. Теперь уже Искандер утратил всякий признак сомнения. Перед ним был натуральный волк. Только не серый с седыми волос-

ками, как обычно положено представлять этих лесных тварей, а абсолютно белый волк. Острые стальные глаза, узкие и немигающие внимательно смотрели на Искандера.

Волк стоял на задних лапах и, судя по всему, не чувствовал себя в таком положении беспомощно. На голове у лесного зверя была татарская тюбетейка белого цвета с вышитыми золотой нитью арабскими словами, которые Искандер не успел разобрать. На плечах у животного сидел синий однобортный пиджак, а под пиджаком была того же цвета рубашка без галстука. Искандер уронил взгляд вниз и увидел, что на лапах волка надеты серые вязаные шерстные носки с силуэтами каких-то животных... кажется, оленей. Носки выглядывали из-под синих джинсов.

Искандер задержался на мгновение, но позади его уже напирал Ильдус, а вслед за ним и другие звенья «змейки», и потому не было никакой возможности присмотреться к неведомому существу. Искандер протянул обе руки Белому Волку. Тот задержал в своих мохнатых лапах его ставшие влажными от волнения ладони. Затем повернулся к имаму и, запрокинув голову, завыл. Искандер резко подался назад, выдернул из лап волка обе свои ладони и отскочил в сторону. Правая рука его зачесалась, и он увидел на ней красную полоску, начинавшую выходить из берегов образовавшейся ранки.

Все, кто находился поблизости и наблюдал рукопожатие Белого Волка с Искандером и то, что затем последовало, засмеялись. Даже Ильдус, и тот издавал какие-то хрюкающие звуки. Но дольше всех смеялся сам Белый Волк. Если можно было назвать исторгаемые им звуки смехом. Он запрокинул назад свою голову и извлек из своей значительной пасти такую свирепую мелодию, что Искандера вновь передернуло.

— Шейх Ак Буре сказал, что очень рад видеть вас, брат Искандер, в нашем славном городе, — сказал Дамир хазрат, когда волк закрыл пасть. — И приносит свои извинения, что не по злему умыслу, а по случайности сделал вам небольшой физический дискомфорт.

— Спасибо большое, — пробормотал Искандер, не отводя взгляда от Ак Буре. — Я тоже очень рад познакомиться. — Когда Искандер произнес эти слова, он увидел, как сверкнули глаза Белого Волка. Вслед за тем тот, кого только что назвали Ак Буре, оскалится и поднес правую мохнатую лапу к тому месту на своей груди, где у людей и может быть у волков тоже полагается быть сердцу, и слегка склонил голову набок.

— Проходи дальше брат, — и Искандер, не оборачиваясь на голос, отступил в сторону. Но он не отрывал изумленного взгляда от Белого Волка, пока глаза давали ему силу видеть его.

У выхода к Искандеру, который обыскивал собственный рюкзак в поисках носового платка — кровь не переставала сочиться, — приблизился длинный парень в свитере, с лицом дохлого осла.

— Дай руку, брат, — повелительно сказал он. В руках у него Искандер увидел какую-то пластмассовую бутылочку и упаковку.

— Что это?

— Мирамистин, — сообщил парень. — Надо обработать рану. Меня муфтий хазрат послал.

Искандер послушно протянул руку, и парень выдавил на нее из пластмассовой бутылочки несколько бесцветных капель. Затем убрал бутылочку в задний карман брюк и двумя руками прислонил к ране Искандера толстый пластырь.

— Спасибо, — сказал Искандер.

— Вот еще. Позвони по этому номеру сегодня, — сказал парень и передал Искандеру неизвестно откуда извлеченную визитную карточку. Искандер прочитал слова, напечатанные по-русски, но с извивами, делавшими текст похожим при удаленном рассмотрении на арабскую вязь:

Дамир хазрат Навретдинов.

Чл.-корр. Российской академии наук. Почетный профессор Казанского федерального университета. Доктор экономических наук.

Кавалер ордена «За заслуги перед отечеством 2-й ст.».

Муфтий Духовного управления мусульман всех татар. Имам-хатиб Соборной мечети имени первого президента Республики М.Ш. Шаймиева.

Далее указывался номер мобильного телефона и многочисленные способы отыскания Дамира хазрата в Интернете.

Когда Искандер оторвал взгляд от визитной карточки, парня, оказавшего ему медицинскую помощь, рядом не оказалось.

— А ты счастливчик, брателло, — сказала голова Ильдуса из-за плеча Искандера. — Ак Буре подметил тебя. Это хороший знак, считай.

— Скорее уж пометил, — горько усмехнулся Искандер, разглядывая свою рану.

— Ничего, до свадьбы, как говорится, заживет...

— Откуда он взялся, этот Ак Буре? — спросил уже на улице Искандер.

— Да Аллах его знает, — пожал плечами Ильдус. — Сколько помню себя, он всегда был. Я еще в школе учился, а его портрет у нас в актовом зале висел. Ленина убрали на фиг, а его повесили. Легенда такая, считай, была. Как Казанское ханство возродится, Ак Буре должен явиться.

— Получается, пророчество не сбылось? Ак Буре бар, ханства — юк? — улыбнулся Искандер.

— Зачем? — обиделся Ильдус. — Ханства нет уж, да и на хрена оно нужно сейчас? А вот наша республика возродилась и поднялась с колен. Она поклуче всякого ханства будет, считай. В ханстве неф-

ти не было и технологий... Ладно, все это политика. А по этой теме я на голодный желудок не разговариваю. Айда покушаем, что ли? Есть тут одно заведение на Баумана. Тебе точно понравится.

На ловца и зверь

Ильдус не соврал: идти пришлось совсем недолго.

— Никогда здесь не бывал? — Ильдус указал на черную доску, к которой то ли по умыслу, то ли по безразличию сердца и рук были неровно приделаны фанерные буквы разного цвета и размера. Приглядевшись, Искандер сложил слова, которые были знакомы ему с детства: «Тяп-Ляп». Мать часто говорила ему, когда он ленился или бросал на полпути какое-нибудь затеянное им дело: «Что же ты, Искандер, все тяп-ляп делаешь?».

— Может, не пойдем сюда, — сказал Искандер. — Название как-то не сильно вдохновляет. Если у них там все тяп-ляп, еще отравимся...

— Э, броджан, да ты не в теме совсем. Ты про банду «Тяп Ляп» не слышал ничего, что ли?

Искандер наморщил лоб.

— Что-то слышал, но вспомнить не могу.

— Это первая банда молодежная, которая в страхе весь город держала, — пояснил Ильдус. — Еще в советское время, считай.

— А это кафе они открыли?

— Да нет, конечно, — засмеялся Ильдус. — Это мода сейчас такая. Стиль «ностальжи», считай. Сюда народ валом валит. Не только туристы, но и местные. Цены тут справедливые, еда сытная. Короче, пошли уж.

Они сразу оказались в большом полутемном зале. К деревянным безыскусно изготовленным столам прилагались разномастные посадочные места. Рядом со старомодным советским стулом с высокой спинкой и съемным сидением, обнажавшим квадрат пустоты, находился неказистый самодел. К отдельным столам были приставлены белые табуреты.

— Это для кого такие места? — усмехнулся Искандер, указывая на табуреты.

— Это так по приколу, для антуража, — отвечал Ильдус. — А вот там у туалета отдельный стол установлен. Для опущенных, считай. Ты туда ни за что не садись.

— А что, туда кто-то добровольно садится? — изумился Искандер.

— Бывает, — расплылся в улыбке Ильдус. — Кто-то из туристов по причине незнания. Тогда настоящая потеха наступает. Гости сидят, а их никто и не думает обслуживать. Они начинают возмущаться, тогда к ним подсылают самого последнего официанта, из новичков. Он приносит меню и пропадает с концами. Ну, понятно, гости опять бузить начинают. Кто-то не выдерживает такого обра-

щения, встает и уходит. Тогда к ним подбегает менеджер кафе, извиняется и сообщает, что они сели за неправильный стол, и сейчас все исправят.

— А если не уходят? — продолжал интересоваться Искандер.

— Тогда спектакль продолжается. Гости начинают возмущаться, приходит все тот же официант. Гости начинают делать заказ, а он, официант то есть, невозмутимо им отвечает: «Это вам не положено». Они другое, а он им опять: «И это не положено». Ему кричат: «Да ты охренел, что ли? Что тогда нам положено?». Он какое-то фуфло им втирает. Они обалдевают, хотят либо уйти, либо жаловаться, либо и то, и другое. И тут появляется менеджер, извиняется и объясняет гостям, что они сели за неправильный стол.

— Да, веселый у вас городок, — заметил Искандер.

— А то, — с гордостью отвечал Ильдус.

За разговором Искандер наткнулся на какой-то металлический предмет и чуть не полетел на пол. Предметом оказалась самодельная штанга — бывший лом с приваренными с двух сторон секциями батареей с облупившейся краской. Рядом лежала гиря, когда-то черная, а теперь цвета мокрого асфальта с рыжими пятнами на боках. Тут же находились старые металлические утюги с оборванными шнурами. Через весь зал тянулась какая-то перекладина в виде безнадежно порывшейся трубы.

— Это они, считай, воспроизвели по памяти интерьер качалки, которую организовал создатель банды Антипов, — пояснил Ильдус.

— Но какого... все это в середине зала ставить, — произнес сквозь зубы Искандер, потирая правую ногу.

— Не знаю, чтобы всем видно было, наверное.

— А он сейчас жив, этот... как его?

— Антипов, что ли?

— Да, Антипов.

— А пес его знает, — Ильдус почесал живот через футболку. — Когда суд был, он избежал «вышки». Потом после освобождения куда-то делся. Тут раньше целая картинная галерея имела. Портреты всего руководства банды, но потом менты потребовали их снять. Выжившие свидетели их преступлений стали возмущаться. Вместо них повесили портреты Путина и членов правительства. И все стали довольны. Давай вот здесь присядем.

Они устроились за столиком у стены. Прежде чем сесть, Искандер потрогал висевшую на стене велосипедную цепь.

— Тож оружие, — сказал Ильдус, — у меня у самого такое в школе было. Серьезно можно покалечить, если по незащищенному месту попасть.

Зал неторопливо пересекали молодые люди в ватниках и темных сапогах с молнией посередине. Такую обувь без проблем можно было купить в Ташкенте. Называлась она «Прощай молодость» и носили ее в основном люди, чей срок жизни соответствовал этому невеселому названию. Искандер не сразу догадался, что люди в

ватниках и стариковской обуви — официанты. Один из них вразвалочку подошел к их столику. Это был совсем молодой парень с короткими жилистыми руками.

— Привет, мужики, — поздоровался официант. — Что хавать будете?

— Он ээк, что ли? — прильнув к уху Ильдуса, спросил Искандер.

— Не-е-ет, — протянул Ильдус. — Это у них форма одежды такая и обратился к официанту: «Ты, Игорек, мне пельмешки сообрази. И композитора, как обычно».

Искандер открыл меню, принесенное Игорьком. Он уже не удивился, когда увидел названия на фене. В интересах непросвещенных клиентов, к некоторым блюдам прилагались фотографии.

— У вас котлеты есть? — спросил Искандер Игорька.

— Конечно, Вам какую: пожарскую или по-киевски? — официант, поняв, что блатная романтика не сильно вдохновляет клиента, перешел на нормальный язык.

— По-киевски...

— Все никак свою Хохляндию забыть не можешь, — сказал Ильдус и положил ладонь на плечо Искандеру.

— Прекрати, пожалуйста, — огрызнулся Искандер, и Ильдус театрально прикрыл ладонями рот.

— А пить что будете? — спросил официант.

В графе «Напитки» первым номером значился: Чайковский. Чайковского было два вида: «Индюшка» и Цейлон.

— Вы можете мне помочь? — сказал Искандер официанту. — Я бы хотел чаю.

— Все просто, — отвечал официант. — «Индюшка» — это, считайте, индийский чай. Цейлон — соответственно цейлонский.

— Тогда мне «индюшку». Надеюсь, это не чифирь.

— Нет, но если желаете...

— Нет, не желаю, — поспешил ответить Искандер.

— Хороший парень, — сказал Ильдус, когда Игорек удалился. — На филолога получает образование.

Искандер посмотрел на свою правую руку. Нитка раны покрылась фиолетовым цветом. Ильдус, которому до всего было дело, тоже стал разглядывать рану.

— Ловко он тебя отделал, — заметил Галимзянов. — Но не дрейфь, до свадьбы все рассосется.

— Ты уже это говорил. Руки схожу помою.

На входной двери в туалет не имелось ни букв, ни значков. Вместо унитаза в полу было отверстие размером с горло годовалого теленка. На стенах почти не осталось пространства, свободного от текста. Значительная часть прочитанных Искандером надписей содержала нецензурную брань. Некоторые тексты, казалось, были исполнены с помощью подручного материала. Искандер улыбнулся,

прочитав выведенные под сливным бочком слова: «Дамир хазрат — гондон». Кто-то исправил букву «о» в слове «гондон» на «а».

Искандер старательно мыл руки, словно пытался отмыть накопившееся за последнее время удивление.

Когда он возвратился, за ближайшим к ним столиком он заметил двух девушек, одетых по-мусульмански. Подруги были заняты беседой и не обратили никакого внимания на Искандера.

Появился Игорек с подносом и на некоторое время заслонил девушек от Искандера. Котлета оказалась вкусной, но никакой не киевской. Чай был крепкий, но со странным вкусом, не имевшим ничего общего с чайным напитком. Опустошив чашку, Искандер понял, что ему еще больше захотелось пить.

Искандер закончил свой обед раньше Ильдуса. Тот постоянно отвлекался от тарелки: крутил головой, что-то беспрерывно говорил, сначала о бандитах, затем о женщинах, потом вдруг перешел на пельмени. Искандер почти не слушал его. Лишь отдельные слова прорывались в плотный поток его размышлений: «беспредел», «девки», «пельмешки». Все внимание Искандера было сосредоточено на лице с тонкими бровями, лежавшими в основании небольшого лба, наполовину скрытого под белой шапочкой с нахлобестом. Поверх шапочки был надет платок бирюзового цвета.

Большие глаза. Цвет их был, вероятно, карий, почти наверняка карий, но это знание было недоступно Искандеру по причине слабости зрения... Небольшой нос, вполне пригодный для ребенка. Губы бантиком, не окрашенные. Красивые зубы, не выбеленные... Редкость сейчас... Подбородок... Все эти рассмотренные Искандером детали ровным счетом ничего не значили по отдельности, но соединенные вместе, составляли лицо девушки лет двадцати — двадцати двух.

Ее собеседницы в коричневом платке Искандер не видел. Она сидела к нему спиной. А судить о человеке, особенно женщине со спины — дело безнадежное, хотя и представляющее определенный интерес. Одно можно было с уверенностью сказать: подруга была выше ростом и слишком худа, чтобы понравиться Искандеру.

Ильдус наконец заметил, что Искандер совсем не слушает его.

— Ты чего завис? — сказал Ильдус и помахал ладонью перед носом Искандера. Затем он обернулся и, обнаружив предмет внимания своего сотрапезника, понимающе закивал. — А вот оно что! Принимаю тебя, — Ильдус причмокнул языком.

— Ильдус! — строго сказал Искандер.

— А что? — обиделся Ильдус. — Тебе, значит, можно, а мне нельзя? Так, что ли?! Постой-постой, кажется, я знаю эту девушку в бирюзовом платке.

— Откуда?

— От верблюда, — быстро отвечал Ильдус, довольный возможностью уколоть Искандера. — Где-то встречал, вот только вспомнить не могу. Погоди уж...

Ильдус шурился, чесал голову, внутреннюю сторону бедра, но так и не вспомнил, где он встречал «голубую девушку».

— У меня на девок память совсем слабая, особенно на тех, кто в платке. Поменяет, считай, платок, я и не узнаю ее ни за что. Но эту я определенно где-то видел. Мне надо голос ее услышать, чтобы окончательно ее узнать, — Ильдус затаился и стал вслушиваться, но то ли шум в кафе мешал, то ли девушка тихо говорила, но услышать слова ее речи ему не удалось.

Пока Ильдус настраивал оба своих уха на чужой разговор, Искандер придумывал, как ему поскорее отослать куда-нибудь писателя, а самому оставаться в кафе до тех пор, пока девушки не закончат свою беседу. Но верное решение никак не приходило ему в голову. Он даже перестал смотреть на девушек, чтобы и Ильдус прекратил вертеть головой.

— Давай еще чаю выпьем, — предложил Искандер.

— Что ж, можно и чаю, — охотно согласился Ильдус.

Чай доставили быстро. На этот раз Искандер заказал цейлонский, но по вкусу тот ничем не отличался от «индюшки».

— Я смотрю, ты большой охотник до женского полу, — отметил Ильдус и с шумом отпил из стакана.

Искандер хотел ответить ему, но увидел, что к столу, за которым сидели девушки, подошел официант. Вот он дает им счет, девушки не отпускают его и берутся за сумочки, расплачиваются. Без сдачи. Вот они поднимаются... Искандер вытащил из рюкзака кошелек и бросил на стол пятьсот рублей.

— Вот, расплатись... пожалуйста, — стараясь не выдавать своего волнения, произнес Искандер. — Вечером увидимся.

— Тукта!¹ — вскочил с места Ильдус. — Я с тобой.

— Не надо, — Искандер глянул на Ильдуса как на преграду для счастья.

— Почему это не надо? — обиделся Ильдус. — Их же двое, считай. Я на твою в бирюзовом платке даже претендовать не буду.

— Да я просто... — Искандер махнул рукой. — Ладно, черт с тобой, пошли. Расплатись только сначала.

Искандер надеялся, что Ильдус замешкается и не догонит его, но сильно просчитался. Довольно скоро он услышал за спиной дыхание Ильдуса. Обе подружки двигались медленно, и потому Искандер не мог двигаться быстрее.

— Ну что, как они? — громко сказал Ильдус.

— Никак. Что ты орешь как резанный? — шикнул на него Искандер.

— Вот сдача, — Ильдус протянул Искандеру сто рублей и мелочь.

¹ Тукта (*татарск.*) — подожди, постой.

Искандер, не глядя, сунул деньги в карман. На пересечении Баумана с ближайшей к кафе улицей обе подруги обнялись, приготовившись для расставания. Девушка в бирюзовом платке пошла вниз. А ее подруга — дальше, по Баумана. Искандер, не размышляя, также последовал за «голубой девушкой». Ильдус — за ним.

— Ты куда?! Дальше я сам. Твоя девушка, вон, дальше пошла. — Искандер кивнул в сторону удалявшейся девушки в коричневом платке.

— Ну, ладно, — разочарованно бросил Ильдус. — Вечером тогда увидимся. Расскажешь о своих приключениях.

Искандер только махнул рукой и заторопился за удалявшейся незнакомкой. А девушка пересекла улицу, названия которой Искандер не знал, и вышла на мост. Светофор переключился на красный цвет. Девушка уже оставила мост и перешла на другой берег протоки, звавшейся Булаком. Словно почувствовав что-то, она ускорила шаг. Искандер уловил момент, когда автомобилей не было, и пересек дорогу. Он не сразу расслышал чей-то звучный и строгий голос.

— Молодой человек! Молодой человек!

— Кто там еще, — с досадой подумал Искандер. Но не стал оборачиваться, чтобы никто не отвлек его от намеченной цели. На середине моста его кто-то крепко взял за локоть. Тут уж пришлось обернуться.

— Молодой человек! Пойдите.

Перед ним стоял небольшой сероглазый человек с мохнатыми бровями, в форме полицейского и салатного цвета жилете поверх формы.

— Добрый день, — полицейский поднес правую ладонь к виску. — Сержант Калимуллин. Вы только что пересекли дорогу на красный сигнал светофора. Требуется оформить штраф.

— Какой еще штраф? — изумился Искандер.

— За переход улицы на красный сигнал светофора, — пояснил сержант Калимуллин.

— Я... у меня... Сколько нужно?

— Что сколько?

— Денег! Сколько нужно денег?! — закричал Искандер, тревожно переводя взгляд с полицейского в сторону уменьшавшейся в размерах девушки в бирюзовом платке.

— Пятьсот рублей, — сообщил Калимуллин.

— Вот, возьмите, — Искандер достал кошелек и сунул сержанту фиолетовую купюру.

— Что же это вы, гражданин, — покачал головой Калимуллин. — Нужно все как положено оформить. Записать. А оплатить — это через банк.

— Я не могу, я спешу. Вот возьмите, — Искандер порылся в кошельке и достал из кошелька еще две сотенные бумажки. Потом вспомнил что-то, полез в карман джинсов и извлек еще одну сотенную купюру.

— Вы что же это мне взятку предлагаете? — поинтересовался Калимуллин и недобро улыбнулся. — Нехорошо. Это уж преступление, получается.

— Понимаете, я очень спешу! — взмолился Искандер.

— Понимаю, отчего ж не понять, — отвечал Калимуллин и внимательно поглядел на Искандера.

Искандер стоял, ожидая дополнительных слов от сержанта, но тот молчал. «Сейчас еще повяжут, совсем весело будет», — подумал Искандер и вновь тоскливо поглядел вдаль. Девушку в бирюзовом платке теперь едва можно было разглядеть. Калимуллин продолжал внимательно изучать лицо Искандера.

— Постойте, — вдруг заговорил сержант и Искандер вздрогнул, — а это случайно не вы сегодня на джума с шейхом Ак Буре беседу имели? В мечети?

— Да, я, — ответил Искандер, — а что это имеет какое-то отношение к моему задержанию?

— С чего это вы взяли, что вас кто-то задерживал, — обиженным тоном проговорил Калимуллин и даже отступил назад. — Вас никто не задерживал. Просто, мне показалось, что вы на красный свет переходили. Но сейчас я осознал свою ошибку и приношу вам искренние извинения. Извините, пожалуйста, ради Аллаха, что задержал. Счастливого вам пути, салам алейкум и всех благ, — с этими словами сержант, пятясь назад, удалился, так что Искандер не сумел ничего ему ответить.

Следующий переход Искандер миновал, не дожидаясь зеленого сигнала. Теперь он знал, что следует отвечать полицейским.

К радости Искандера, девушка шла по одной и той же улице, никуда не сворачивая, поэтому ему удалось вскоре нагнать ее. Достигнув конца или начала улицы, она пересекла дорогу и свернула направо. Свернул направо и Искандер. Вдруг на пути девушки образовался какой-то высокий мужчина с чалмой на голове. Девушка остановилась, и мужчина говорил ей и, кажется, улыбался.

— Ну вот, — сказал себе Искандер, но уходить не стал.

Оставалась надежда, что это случайный знакомый, и сейчас они, обменявшись приветствиями, пойдут каждый своей дорогой. Искандер остановился в нескольких шагах от говоривших и склонился, чтобы завязать шнурки на ботинках. Ничего более толкового ему в голову не пришло. Когда Искандер выпрямился, он увидел, что мужчина не только продолжает стоять рядом с девушкой, но и внимательно глядит на него. Именно на него. В этом не было никаких сомнений. Искандер сощурил глаза и сделал шаг вперед. Перед ним стоял Дамир хазрат.

— Вот так сюрприз! — нетерпеливо выбрасывая изо рта слова как излишнюю для довольного желудка пищу, воскликнул муфтий, приближаясь к Искандеру. — Ас-саламу алейкум, дорогой брат! — Продолжая демонстрировать на лице своем радость, он протянул Искандеру обе руки. — Спасибо, что уважили нас своим приходом.

— Ва алейкум ас-салам, — отвечал Искандер, про себя улыbnувшись кривизне произнесенных Дамиром хазратом слов.

— Не иначе, как сам Аллаху Таалу вас ко мне привел... Или не Аллах? — Дамир хазрат обернулся в сторону девушки в бирюзовом платке и подмигнул ей. — Ладно, не буду вас смущать. По уважению местных обстоятельств вам следует зайти к нам на чай. Джамия, приготовишь нам чаю, да? — последние слова Дамира хазрата были обращены к девушке в бирюзовом платке. Она продолжала стоять и не думала уходить.

— Он уже попил чаю, — отвечала приятным, но немного низким голосом девушка, звавшаяся Джамилей.

Искандер изумленно поглядел на девушку.

— Не беда. Чаю, как известно, много не бывает, — сказал Дамир хазрат. — Знаете, что писал наш великий ученый Шигабуддин Марджани о чае?

— Нет, — сказал Искандер.

— Ну, тогда я вам расскажу по этой теме, — сказал Дамир хазрат и распахнул перед Искандером дверь.

Дамир хазрат

Искандер заметил слева от входной двери большую желтую табличку с текстом на разных языках. Но узнать, что там написано, он не успел.

У металлоискателя за столиком, покрытым клетчатой клеенкой, сидел пожилой мужчина в зеленой татарской тюбетейке с вышитым золотыми нитями узором. Он был похож на одного из тех двух бабав из мечети, которых Искандер видел рядом с Ак Буре. При виде Искандера бабай поднял голову как зверь, почувявший риск для своей недолгой жизни, — разве что носом не воздух не втянул, — но увидев Джамилю, заулыбался, а потом и совсем вскочил с места. Бабай произнес что-то по-татарски скрипучим голосом, но Искандер не понял ни слова.

— Нет уж, Мансур абзи, — отвечал по-русски Дамир хазрат, — еще не вечер, чтобы иметь подобные мысли.

Они направились на второй этаж по узкой лестнице, на которой едва бы сумели разойтись два солидных взрослых человека. Первой на лестницу вступила Джамия, за ней последовал Искандер. Последним стал подниматься Дамир хазрат.

Комната, которая служила Дамиру хазрату кабинетом, оказалась Искандеру столь просторной, что он сразу же подивился, как она смогла уместиться в небольшом, если наблюдать со стороны улицы, здании.

Половину комнаты занимал стол из красного дерева в форме большой буквы «Т», за которым одновременно могло разместиться без причинения очевидных неудобств друг другу человек шесть, не считая хозяина кабинета. Для последнего было предусмотрено от-

дельное сидение во главе этой конструкции. По бокам стола в равномерном порядке были расставлены шесть основательных стульев с подлокотниками и высокими спинками. Сидением для хозяина кабинета служило кресло, обитое черной кожей. Оно было приподнято над окружающим пространством таким образом, что если бы сидевший на нем замыслил что-то написать на расположенных на столе в ровном порядке двух белых листах, то он смог бы это сделать лишь при содействии пальцев ног.

Над креслом висела картина с нарисованной на ней головой действующего главы государства. Голова был неправдоподобно молодой, словно это был не современный предмет искусства, а вещь из невозвратного прошлого. Только уставшие и помертвевшие от забот глаза главного человека в государстве напоминали о реальности современного мира.

Другой портрет находился на боковой стене над круглым столиком с приборами для употребления чая и прочих напитков, считаемых в этой местности. Искандер сразу узнал изображенного на портрете по вытянутой, заросшей белой шерстью морде и устремленным внутрь собеседника глазам стального цвета.

— Как вам портрет нашего уважаемого шейха? — спросил Дамир хазрат.

— Очень похож, — отвечал Искандер.

— Беспрецедентно похож! — немедленно подтвердил Дамир хазрат. — Я всякий раз гляжу на него и реально пугаюсь: как настоящий. Того и гляди спустится с портрета и спросит строго: «А ты, Дамир хазрат, не проспал часом фаджр?!¹». Шутка ли: шейха сразу двое именитых художников рисовали: Никас Сафронов и Шилов.

— Это как? Сразу вдвоем? — удивился Искандер.

— Нет, зачем! Сначала Никас рисовал. Но потом его шейх прогнал за дерзость и бедность красок, и Шилова призвал. Тот картину дорисовывал уж. Или нет, погодите... сначала Шилов рисовал, а потом Никас. Не помню уж точно. Кто из них с усиками и бородкой?

— Не помню, — задумался Искандер. — Кажется, Шилов.

— Ну, тогда, значит, Шилов был в начале, а Никас в конце. Вы присаживайтесь, — Дамир хазрат отодвинул один из стульев, и не дожидаясь, когда Искандер займет место за столом, подошел к столу в форме буквы «Т» и поднял трубку черного телефона. Он что-то сказал по-татарски, и Искандер успел поймать только два не требовавших растолкования слова: «Джамия» и «чай».

— Черный, зеленый, красный? — поворотив голову к Искандеру, спросил хозяин кабинета.

— Зеленый.

— Один зеленый, а мне как обычно, — сообщил Дамир хазрат в трубку. — Вы присаживайтесь.

¹ Фаджр — одна из обязательных пятикратных молитв, предписанных мусульманам.

После того, как Искандер сел, Дамир хазрат занял не трон в начале стола, а стул напротив.

— Дамир хазрат, вы обещали рассказать, что говорил Марджани о чае, — сказал Искандер, все еще удивленный и растерянный.

— О, я и забыл совсем, — засмеялся Дамир хазрат. — Наш выдающийся ученый Марджани сказал о чае следующее. Он считал, что чай — самый лучший напиток на Земле по следующим причинам. Во-первых, чай не знает сословных перегородок. Чай употребляют в равной доле и богатые, и бедные. Во-вторых, чай можно пить в любое время суток безо всякого вреда для здоровья. Кофе, например, перед сном нежелательно, а вот чай можно и утром пить, и вечером, и вообще, когда восхочется. И, в-третьих, чай можно пить везде. Даже когда едешь на велосипеде, чай можно пить. В термосе или в бумажном стакане. Поэтому мы, татары, так любим чай. Вы в Крыму, наверное, больше кофе увлекаетесь?

— Я раньше в студенческие годы только один кофе пил, — отвечал Искандер. — Но в последнее время перешел на чай.

— Вот это правильно, — одобрительно сказал Дамир хазрат. — Как вам наша Казань?

— Красивый город, — отвечал Искандер.

— Первый раз здесь?

— Нет, второй. Первый раз был в детстве.

— С родителями приезжали?

— Нет, с бабушкой.

— Ну тогда, считай, что в первый раз. Город в последнее время сильно поменялся. Много выстроено. Вон одних мечетей новых сколько появилось. Но самая лучшая, без всякого сомнения, наша Соборная. Красавица же, а?!

— Да, хороша, — согласился Искандер.

— Беспрецедентно хороша. Шейх лично проект утверждал. До этого несколько вариантов отвергли.

— Говорят, раньше на ее месте старинная мечеть восемнадцатого века находилась... — Искандер тут же пожалел, что задал этот вопрос, но было уже поздно.

— Кто говорит? — перебил Искандера Дамир хазрат и, не дождавшись ответа, продолжал быстрее обычного. — Злые языки так говорят, инде... Да, верно, имелась там прежде мечеть. Пипирочная такая. И ветхая, к тому ж. Позорище одно. Когда джума была, люди на снегу молились. Старики ноги отмораживали. Да и в самой мечети небезопасно было. Я каждый раз, когда пятницу там проводил, думал: упадет или не упадет? В итоге, она сама от старости своей и упала. Слава Аллаху, что ночью: никто не пострадал через это. И кибла у нее, кстати, неправильная была, в неправильную сторону смотрела.

Искандер хотел было что-то возразить, но потом решил смолчать, так как не имел в голове своей достаточно прочного материала для того, чтобы продолжать этот архитектурный спор. Да и появ-

ление в кабинете Джамили заставило Искандера прервать свои мысли о разрушенной мечети с неправильной киблой, о которой он когда-то прочел статью в Интернете.

Теперь Искандер мог разглядеть Джамилю вблизи. Это была невысокая, но хорошо придуманная Творцом девушка. Большие карие глаза, казалось, занимали пол-лица, доступного для постороннего взгляда. Маленький носик, слегка вздернутый, как бывает у впечатлительных девушек. Губы, сейчас даже мусульманки стали надувать себе губы. А у этой свои, настоящие. Вообще, вся она какая-то настоящая. Искандер даже обрадовался, что подобрал нужное слово.

Когда он оторвал от Джамили взгляд, он увидел насмешливое лицо Дамира хазрата.

— Ну, что, приглянулась вам наша красавица?..

Искандер отвернулся в сторону.

— Ну-ну не смущайтесь уж... — покровительственным тоном сказал Дамир хазрат. — Она многим на самом деле нравится, наша Джамилия.

Искандер молчал.

— Вы, если позволите залезть в личное пространство, женаты?

— Нет, — еще более смущаясь, ответил Искандер.

— Вот и отлично, — погладил бородку Дамир хазрат. — Джамилия наша тоже свободная. Пока. Так что могу посватать ...

— Да я...

— Ладно-ладно шучу я, — сказал Дамир хазрат и засмеялся, запрокинув назад голову. — Серьезный ты... вы... слушай, может на «ты» перейдем? Мы же ровесники почти.

— Мне как-то привычней на «вы», простите.

— Ну, ладно, хозяин, как говорится, — барин. — разочарованно сказал Дамир хазрат. — Какие у вас планы насчет Казани?

— Я на один день приехал. Думал в тот же вечер в Москву уехать, но... не вышло.

— Зачем?

— Да так...

— А понимаю... из-за девушки, — озвучил свою нехитрую догадку Дамир хазрат и подмигнул Искандеру.

— Да какая там девушка, — махнул рукой Искандер. — Я отца похоронить приехал. Думал, управлюсь за один день. Звонил главное, этим чертям на кладбище, спрашивал их русским языком: можно ли в тот же день похоронить. Сказали: да, можно. А приехал, они совсем другое говорят.

— А где же ваш отец, простите за вопрос, в настоящее время находится? — насторожился Дамир хазрат.

— На квартире, где я остановился.

Заметив смятение Дамира хазрата, Искандер поспешил поправиться.

— Я урну привез.

— Ай-яй. Что же это вы, дорогой брат, отца родного сожгли? — качая головой, сказал Дамир хазрат.

— Так вышло, — сдавленным голосом произнес Искандер. — Это сделали без меня.

— А-а, — протянул Дамир хазрат. — Ну, тогда дело другое, заслуживающее снисходительного отношения. И что там у вас насчет кладбища?

— Оказалось, что нужно ждать следующего понедельника. Сказали, что у них заказов много.

— Это не дело, совсем не дело, — в задумчивости произнес Дамир хазрат. — На каком кладбище его желаете хоронить?

— На Ново-Татарском.

— Дело непростое, — в раздумье проговорил Дамир хазрат.

— Да, я знаю. У меня там бабушка похоронена. Я в ее могилу урну подхораниваю.

— А, ну тогда дело значительно упрощается, — Дамир хазрат поднял знакомую Искандеру трубку, прилагавшуюся к черному аппарату, и произнес: «Джамия, соедини-ка меня по-быстрому с Карловым».

— Добрый день, Сергей Сергеевич ... что же это вы наших людей забираете?.. Тут у меня один симпатичный молодой человек сидит, который к вам утром приходил с урной... Да... Из Крыма... Ах, не знали... Ну, вот знай наших, как говорится... Когда ему можно подойти? Завтра?.. Нет, это не разговор... Сегодня? Вот это совсем другое дело... Спасибо... Спасибо... И вам того же... Конечно...

Окончив разговор, Дамир хазрат возвратился к своему сиденью.

— Ну, вот, сегодня прямо после нашей встречи можете подойти в контору и, так сказать, осуществить свой последний долг перед отцом, — сказал Дамир хазрат. — Вы ведь очень любили отца?

— Да, конечно. Спасибо вам большое, — отвечал Искандер, потирая от волнения руки. — Только, наверное, не стоило уж так волноваться.

— Как это так: не стоило? — всплеснул руками Дамир хазрат. — Все-таки мы с вами, как ни крути, мусульмане. И наш долг передать умершего земле, в какой бы материальной форме он не находился в данную минуту времени. Ну и сделать приятное своему брату — разве нет большей радости для верующего? Или я не прав?

— Правы.

— И потом... вы в чужом городе, и у вас возникли незапланированные расходы. Оно вам надо? Разве не так?

— Да, конечно, — опять согласился. Искандер. — Не знаю, просто как вас благодарить.

— Думаю, когда-нибудь представится случай, — медленно, непривычно для слуха Искандера произнес Дамир хазрат. — Вы лучше

расскажите, как там у вас в Крыму? Я, честно говоря, Крым обожаю. Сколько раз там побывал, не счесть. Первый раз был в возрасте еще моложе вашего. Так что у вас сейчас там?

— А что тут говорить... — махнул рукой Искандер.

— Я понимаю, что вы скрываете под сердцем, — закивал головой Дамир хазрат. — Последние события... Да, это все не так просто, как говорят в телевизоре. Но вы должны знать, что здесь, в Казани, нам безразличны проблемы наших братьев. Слыхали, что президент наш сказал?

Искандер повернул голову к портрету главы государства.

— Нет-нет, я подразумеваю нашего президента, республиканского... Так вот, наш президент сказал: крымские татары — наши братья. Татарстан — общий дом для всех татар. А для братьев двери дома всегда открыты.

— У меня дед точно так же говорил.

— Правильно рассуждал ваш дед... А отец ваш кем был?

— Инженером.

— Нам же помолиться за него нужно будет. Как звали вашего отца?

— Айдер... Айдер Исмаилов.

Дамир хазрат ничего не ответил. Только глаза его сузились, как показалось Искандеру.

— Кажется, я где-то слышал это имя, — наконец произнес он медленно, размышляя над каждым произносимым им даже не словом, а звуком. — Ваш отец случайно не был каким-то образом связан с политикой?

— Он участвовал в крымскотатарском движении, — сообщил Искандер. — Но потом отошел.

— Почему?

— Я, честно говоря, не знаю всех подробностей. Отец не очень любил говорить на эту тему.

— А от чего он умер? Болел?

— Погиб. В автокатастрофе.

Острый взгляд Дамира хазрата на несколько секунд впился в Искандера.

— Судя по вашим глазам, Искандер, — понизив тон, сказал Дамир хазрат, — вы не очень доверяете этой версии.

— Не знаю. Когда отец погиб, в Интернете писали, что это было убийство. Одни писали, что за этим стояли меджлисовцы, другие — что отца убили люди из России.

— Поистине, все мы под Аллахом ходим и к нему наше возвращение, — скороговоркой произнес Дамир хазрат.

— Аминь, — едва слышно отозвался Искандер.

— А вы сами кто по жизни, если не секрет?

— Не понял, — улыбнулся Искандер.

— Ну, работаете в каком качестве?

— А-а, — одними глазами улыбнулся Искандер. — В университете. Преподаю.

— В Таврическом?

— Да.

— Что преподаете?

— Арабский язык. Историю ислама еще.

— Вот это история, — воскликнул Дамир хазрат. — И как вам работа?

— Мне нравится преподавать. Но думаю, что последний год там работаю.

— Что так?

— Да надоело все.

— Удивление и ничего, кроме удивления не вызывают у меня эти слова, — сказал Дамир хазрат и откинулся на стуле. — Откуда в вас столько уныния? Вы ведь человек культурный во всех отношениях, и потому в курсе, что уныние это — страшный грех?

— Есть тут с чего приунуть.

— Дорогой мой человек! — Дамир хазрат стремительно поднялся со стула и оказавшись рядом с Искандером, обнял его за плечи. — Когда я слышу такие речи, я не могу не вспомнить то, что происходило с нашим дорогим пророком (салла Аллаху алейхи ва саллям¹). Жители Мекки ненавидели его, преследовали, хотели убить. Поначалу только Хадиджа (да будет доволен ей Аллах) оказала нашему пророку беспрецедентную моральную поддержку. И что же? Он не сдался, не впал в уныние как самый последний неудачник. Не только не сдался, но потом еще утер нос всем своим преследователям.

— Я не пророк, — отвечал Искандер.

— Я, к сожалению, тоже, — подхватил Дамир хазрат, и Искандер уловил в его словах искреннее сожаление. — Но пророк явил нам насыщенный пример, от которого мы должны отталкиваться как искусный пловец от стенки в бассейне. Разве не так?

— Наверное так.

— Вот видите, так что прошу вас, Искандер, ради Аллаха, ни за что и ни при каких условиях не унывайте! Обещаете мне? — Дамир хазрат дотронулся до ладони Искандера.

— Обещаю, — с грустной улыбкой отвечал Искандер.

— Ладно, заболтал я вас совсем. Вы чай пейте, — вдруг спохватился Дамир хазрат. — И куда думаете податься? Уже подыскали себе новое место?

— Нет, еще ишу. Думаю поступать на постдок.

— Как?

— На какой-нибудь исследовательский проект.

— Это за бугор что ли? На грант от фонда Сороса?

¹ Да благословит его Аллах и приветствует (араб.).

— Да, в Европу или Америку. Только не от Сороса. Сорос теперь под запретом.

Дамир хазрат присвистнул, показав тем самым открытое разочарование в словах своего собеседника.

— Э, да что там хорошего в этих Европах?

— Ну как...

— А как есть, так и говорите.

— Дело не в Европах, как вы говорите. Просто оставаться в Крыму я не хочу, — решительно произнес Искандер. — Сейчас по крайней мере.

— Покидаете, значит родину, родной очаг?

— Это все красивые слова, конечно, — неожиданно резко для самого себя сказал Искандер. — Но я не хочу быть чужим гостем в своем доме.

— Я понимаю ваши чувства, дорогой брат. Но только ведь мы с вами по счастью люди умные. И знаем, что плетью обуха не перешибешь. А вот шею себе переломить можно запросто. А между тем поезд жизни спешит себе дальше, и не спрашивает нас. И куда ему ехать, только от нас одних зависит: запрыгнем мы в этот поезд жизни или останемся на перроне ожидать прибытия нового поезда. А что, если поезд совсем не придет? Что тогда?

— Ну ведь можно просто взять и остаться на той же станции. И жить там... Не на станции, конечно, а в городе или поселке, который при этой станции.

— Ну вот, такую красивую картинку испортили, — засмеялся Дамир хазрат. — А вы никогда про третий вариант не думали?

— Что за третий вариант?

— У меня к вам есть одно предложение. Вы, наверное, слышали, что сейчас у нас в республике открылась Исламская Академия...

— Да, читал в интернете.

— Мне оказали беспрецедентную честь стать ректором академии.

— Поздравляю.

— Пока не с чем, — махнул рукой Дамир хазрат. — Много хлопот. И одна из главных головных болей в моем организме — это кадры. Нам очень необходимы толковые молодые ребята-мусульмане вроде вас. Знаете что: давайте вы про свои Европы переставайте думать и переходите к нам в Академию со своими замечательными мозгами. Дед ваш, которого я, к сожалению, не имел возможности знать, мудрым был человеком, раз говорил вам такие слова про Татарстан. Да и отец ваш, как я могу понимать, тоже любил Казань, — раз вы его сюда привезли на вечный покой. Можно удариться в рефлексию, в интеллигентские сопли: как все плохо, какие все кругом нехорошие люди, а можно просто спокойной и честно делать свое дело. Теория малых дел это, кажется, называется. Как говорил Ленин, делай, что делаешь и будь, что будет. Согласны?

— Я не готов пока... — начал было Искандар.

— Я не про это, — махнул рукой Дамир хазрат. — Со словами моими в корне согласны? Что лучше делать полезное людям дело, чем сидеть в углу и плакать в кулачок? Теория малых дел, как ее называли незабвенные академики Сахаров и Лихачев. Каждый из них совершал в уединении свое маленькое дело. А потом, когда соединили, и вышло такое большое дело, от которого вся страна задрожала как кленовый лист.

— Ну если так, то согласен.

— Вот и отлично, — хлопнул по собственным коленкам Дамир хазрат и вслед за тем поднялся с места. — А насчет моего предложения... Смотрите, как только определитесь, оформим вас оперативненько. Назначим на хорошую должность.

— Дамир хазрат, дайте мне время подумать немного, — отвечал Искандер, оглушенный предложением муфтия.

— Конечно, — отвечал Дамир хазрат. — Торопиться ни в коем случае не стоит. Как говорят наши дорогие братья-арабы: поспешность — от шайтана.

Фотоальбом

Искандер уселся в кресло-качалку и взял в руки фотоальбом. Обитый красным бархатом, с углами, упрятанными для долгой жизни в металлические скобы. Похожий на тот, который был у них дома в Симферополе. Даже цвет такой же. Искандер вспомнил как в день похорон Исмаила эфенди они с мамой смотрели семейный альбом и она рассказывала историю каждой фотографии. А еще она рассказывала историю самого альбома. Искандер уже однажды слышал ее от деда, но терпеливо выслушал ее для надежного запоминания.

Когда их приехали выселять, они уже знали о грозившей им беде. Знакомый деда, русский по фамилии Себенцов, работавший в райкоме и знавший Исмаила эфенди еще по гражданской войне, предупредил семью Исмаиловых за час до приезда военных.

Было пять утра. К ним в окно кто-то постучал. Дед выглянул в окно и увидел Лешку — сына Себенцова. Лешка, заметив в окне заspanное лицо Исмаила эфенди, первым делом поднес указательный палец к губам. Мальчика пустили в дом. И он, прерывая свою речь кашлем, вызванным быстрым перемещением в странстве в холодное время суток, сообщил, что его прислал отец. По большому секрету Лешка сказал, что примерно через час, а может и раньше, сюда придут войска и всех жителей заберут для переселения в другое место. «Соберите самое необходимое в дорогу. Возьмите побольше теплой одежды, одеяла и еду», — закончил свое устное послание Лешка. Больше ничего толкового пробудившаяся в полном своем составе семья Исмаиловых не могла добиться от себенцовского сына. Уже на пороге он вспомнил «самое главное» и срывающимся голосом передал просьбу отца: ни за что и никому не говорить,

то, что он только что рассказал. Мальчик убежал, а Исмаиловы немедленно стали совещаться.

— Надо рассказать людям, — сказал Исмаил эфенди, как только за Лешкой закрылась дверь.

— Ты что с ума сошел? — накинулась на него Асьма ханум. — Твой друг же просил тебя никому не говорить. Ему же плохо будет.

— Ты права, — сказал Исмаил эфенди. — Но не можем же мы молчать. Себенцов что-то не договаривает. Если он просил одежду теплую и побольше еды приготовить, значит дорога предстоит дальняя.

— Но ведь немцы же ушли, — сказала Асьма ханум.

— Немцы ушли, русские пришли, — в задумчивости произнес Исмаил эфенди и замолчал. — А людей все равно надо предупредить. Вот у Саитджедила недавно дочь родилась. Неделя ей всего. Им же подготовить ребенка к дороге надо. Аллах один знает, куда нас всех повезут.

— Да куда же нас могут повезти? — не унималась Асьма ханум.

— Куда угодно, может в Сибирь. А может и подальше.

Исмаил эфенди хотел еще что-то сказать, но шум в сенях мешал ему додумать мысль. Дед бросился на звук. В сенях никого не было он выглянул на улицу и увидел сына Айдера, который уже несся по улице.

— Ты куда? — только и успел крикнуть Исмаил эфенди.

— Надо предупредить всех, — крикнул мальчик и скрылся из виду.

Улыбка появилась на лице Исмаила эфенди. Последний раз он улыбался в этот день. Он остановил Асьму ханум, которая устремилась было за сыном.

— Ты куда?! — крикнул Исмаил эфенди на жену. — Ты что не слышала, что они скоро придут? Времени у нас в обрез. Иди собирай еду, а я остальным займусь.

Асьма ханум послушалась приказания мужа, но то и дело поглядывала в раскрытое окно и прислушивалась к звукам, доносившимся с улицы. Айдер прибежал за двадцать минут до того, как приехали они. В каждом доме его не хотели отпускать, расспрашивали и он, крича на ходу объяснения, летел в следующий дом. Когда он вернулся, Асьма ханум заканчивала приготовление узла с едой. Исмаил эфенди уже управился со своей частью работы.

Себенцов не обманул. Солдаты прибыли через час с небольшим после Лешкиного визита. Шум приближавшихся грузовых машин был слышен еще издали. Сколько их было? Десять? Больше? Наверное, больше. В их селе было почти пятьдесят семей. Дом Исмаиловых стоял первым на улице, поэтому незваные гости появились здесь несколько раньше, чем у других односельчан. В дом ввалились трое: высокий офицер в фуражке с красным околышем и два совсем молодых солдата, снабженные автоматами. Один — блондин,

белесый совсем, с заячьей губой, другой — почти лысый — с большим родимым пятном на лбу. Но прежде чем они вошли, Асьма ханум спрятала подальше от чужих глаз собранные мешки и тюки.

— Собирайтесь, — сказал офицер вместо приветствия. Исподлобья посмотрел на хозяев, обошел все комнаты, осмотрелся, словно собирался покупать их дом.

— Куда? — прикинулся протачком Исмаил эфенди.

— В дорогу дальнюю, — сказал офицер и нехорошо засмеялся. — Через пятнадцать минут вы должны быть на кладбище.

— То есть теперь уже врагам народа самим положено на кладбище отправляться, чтобы беречь топливо?

— А ты, папаша, шутник, — сказал офицер. — Только теперь не до шуток.

— Может, вы покушать хотите? — словно спохватившись засуетился Исмаил эфенди. — Вас в такую рань на ноги подняли, чтобы вы нам хорошие вести привезли. А у нас, татар, положено, чтобы гостя, который принес хорошую новость, без угощения не отпустить. Поговорка даже есть...

Но офицер грубо оборвал деда:

— Потом будешь шутки шутить, папаша, когда в машину сядешь.

— Да я серь...

— Молчать, — рявкнул офицер. Потом он ушел и прихватил с собой одного солдата. А другой боец, белесый, остался в доме. И как только его товарищи ушли, он быстро спросил Исмаила эфенди: «Что у вас из пищи имеется?»

Асьма апа расстегнула мешок, приготовленный в дорогу.

— Нет, отсюда не возьму, — решительно сказал солдат. — Это вам самим в скором времени очень пригодится. Может, у вас курица или другая живность есть?

— Несколько куриц имеется и петух, — сообщил Исмаил эфенди. — Была корова, но теперь нет ее. И хорошо, что нет. Жаль было бы ее оставлять.

— Я тогда прихвачу одного куря? — спросил солдат

— Забирай хоть всех, — сказал Исмаил эфенди. — Судя по словам твоего начальника, мы с нашими курами и петухом не скоро увидимся. Если вообще увидимся. Ты не знаешь далеко ехать придется, солдатик?

— Не знаю. Но сказали на три дня брать еды.

— Три дня, — присвистнул Исмаил эфенди. — Это на Урал выходит?

Солдат пожал плечами.

— Нам запрещено на эти темы с конвоируемыми разговаривать. Да я и не знаю ничего. Я пойду тогда за курами. А вы пока собирайтесь. Скоро идти надоть. Я вас оставлю, но вы никуда не уходите. Иначе мне...

— Ты не волнуйся, солдат. Нам некуда идти, даже если бы и захотели, — вздохнул Исмаил эфенди.

Солдат поспешно удалился.

— Что же ты ему всех кур сразу отдал? — накинулась на Исмаила эфенди Асьма ханым. — Что мы потом есть будем?

— Надеюсь, что не друг друга, — хмуро сказал Исмаил эфенди... Его слова прервали крики и звук автоматной очереди.

— Алла сакласын, — прошептала Асьма ханым.

Кто-то закричал. Это был женский голос, такой отчаянный, что даже невозмутимый Исмаил эфенди на мгновение замер на своем месте.

— Это голос Хатидже, — сказал Исмаил эфенди.

Хатидже одна вела хозяйство. Муж погиб в сорок первом под Москвой, сын был на фронте.

Возвратился солдат с дохлыми птицами: по две в каждой руке.

— А петух где? — спросил Исмаил эфенди.

— Скрылся, — с грустью сказал солдат. — Я бы его из автомата, но нельзя. Вы возьмите. Это вам законным образом полагается. — Он протянул Исмаилу эфенди две тушки. — Берите, пригодится. А это мы с ребятами употребим...

— Спасибо, мы об этом как-то не подумали, — Исмаил эфенди взял двух кур и передал их жене.

— У вас мешка не найдется никакого? — поинтересовался солдат.

Ему дали мешок, и солдат быстро расположил там свою добычу. Потом протянул Исмаилу эфенди мешок.

— Пусть он у вас пока для сохранности побудет, если вы не возражаете, — сказал солдат. — А то сами понимаете начальство увидит... А потом я его у вас заберу при случае.

За своим мешком солдат так и не явился. То ли обстоятельства не позволили, то ли решил оставить хозяевам их добро. Благодаря этим курам и доехали до самого Бекабада в Узбекистане...

Как только солдат управился с курами, он вдруг как-то засуетился и стал торопить Исмаиловых.

Последней из дома вышла Асма ханым. В руках у нее был тазик, самый обыкновенный тазик, в котором стирали белье. Когда Исмаил эфенди и Айдер, державший отца за руку, неспешно спускались с крыльца, она плеснула им во след воду. Асьма ханым не рассчитала усилий: Исмаила эфенди чуть обдало брызгами, а вот спина Айдера вся мокрая стала.

Под присмотром солдата Исмаиловы шагали по улице. Вдруг Айдер замер, словно наступил на колючку.

— Ты что, сынок? — спросил Исмаил эфенди.

— Альбом, — только проговорил Айдер и, не разбавляя больше крепость времени водой слов, рванул в сторону дома.

— Стой! Куда?! — крикнул солдат. Автомат изготовил мгновенно, но Исмаил эфенди оказался ловчее: животом закрыл доступную для смертельного оружия мишень.

— Он сейчас... Вещь одну забыл... Альбом, — отрывисто, как утомленный погоней человек, выбрасывал слова Исмаил эфенди. Он посмотрел в глаза солдату. Взгляд, полный ярости, увидел Исмаил эфенди. Но прошло всего несколько секунд, и ярость сменилась тревогой, даже испугом.

— Он вернется сейчас. Альбом. Память, — продолжал говорить телеграфным стилем Исмаил эфенди.

Автомат снова занял спокойное место на плече бойца. Солдат хотел что-то сказать, но почему-то смолчал. Из соседнего дома вывели Кадыровых. Семейство у них было побольше и их сопровождали двое солдат. Исмаил эфенди возблагодарил Аллаха, что случилось это на несколько минут позже. Иначе не остановил бы он других солдат.

Вот и Айдер красный, с высунутым языком. Словно проделал долгий путь, хотя до дома рукой подать. В руках у него был обитый красным бархатом альбом с семейными фотографиями. В ту ночь перед сном Айдер листал его и забыл под кроватью.

— Повезло тебе, пацан, — процедил белесый, что папаша у тебя шибко грамотный...

Не раз и не два добрым словом вспоминал Исмаил эфенди и его семейство Себенцова, мальчика Лешку и того белесого солдата с заячьей губой, имени которого они так и не узнали...

Вот теперь брат-близнец того альбома, проехавшего половину огромного государства и чуть не ставшего причиной ранней гибели его отца, лежал на коленях у Искандера.

На первой странице — старинная фотография, хорошо сохранившаяся. Даже пуговицы на одежде заметны. На ней двое: мужчина средних лет и молодая девушка. На мужчине было одеяние, название которого Искандер не знал: что-то вроде легкого пальто без ворота с пуговицами на левой стороне. Его часто можно было встретить на старинных фотографиях казанских татар. На голове у мужчины была черная татарская тюбетейка. Он сидел в кресле, правая рука лежала на стоявшем позади него столике. Справа от мужчины стояла высокая девушка с курчавыми волосами, одетая в длиннополое светлое платье. На шее у нее был какой-то платок, нижний конец которого имитировал галстук. На голове у девушки сидел светлый калфак. Может, подобранный под цвет платья. Правая рука девушки лежала на маленьком высоком столике... или это был не столик?.. — Искандер даже невольно улыбнулся своему бессилию описать незнакомые старые вещи.

На обороте имелась подпись на тюркском языке, сделанная арабскими буквами. На этом языке говорил дед, и бабушка прекрасно понимала его. А потом по воле политиков произошло смеще-

ние наречий, и теперь крымский татарин для объяснения со своим братом из Казани вынужден прибегать к русскому языку. Искандер прочитал имя мужчины: Махмут абзи. Значит, это его прадед, отец бабушки Асьмы. Имя прабабушки Искандер нашел без труда: Зарифа. Также распознал год: 1913.

Искандер перевернул страницу альбома. Вот опять прадед с прабабкой, а с ними — девочка лет трех. «Прабабушка», — без промедления догадался Искандер. Прадед на этом фото уже одет в европейский костюм, бабушка в простое платье. Калфака и тюбетейки уже не наблюдается. Сама фотография попроще, не на паспарту, а на обычной фотобумаге. Прадед с прабабкой сидят на стульях, а между ними стоит с плюшевым медведем руке девочка. Только надпись на обороте по-прежнему на тюркском языке: Махмут абзи, Зарифа ханум и Асьма. 1928 год...

Неторопливо листал Искандер альбом, сначала угадывал на снимках знакомые лица, а потом заботливыми пальцами вынимал фотографию и изучал надпись. Двадцатые годы быстро закончились, затем пошли тридцатые, но и они продлились недолго. 1940-й год. Свадебная фотография дедушки и бабушки. Какие смешные все... Будто из театра.

А вот и маленький папа. Какой-то заморыш, с испуганными глазами. Фото сделано в Крыму. 1941 год. Потом фотографий становится меньше. Война, не до этого. С сорок второго по сорок шестой только две фотографии. На обеих — сильно постаревшие родители Асьмы. Затем, идут пятидесятые. Ай да бабушка, все как в архиве! Появляется все больше фотографий отца и все меньше фотографий самой Асьмы ханым. Вот отец вместе со своим курсом в институте. Верно говорят, что он, Искандер, поразительно похож на молодого отца. Отец всегда находится в центре групповых фотографий. Уже нет прежнего испуганного младенца-Бемби. Уверенный взгляд человека, знающего себе цену.

Искандеру всегда больше нравились групповые фотографии. Он любил угадывать по позам стоящих или сидящих как они относятся друг к другу. В альбоме было несколько таких фотографий. Одна была сделана в селе Первомайском под Симферополем. Черно-белое фото пятнадцать на двадцать. На фоне каменного полуразвалившегося здания стояло несколько человек. Искандер не сразу узнал отца. Он стоял слева крайним, в правой руке у него был флаг. Флаг крымскотатарского движения. Отец был в белой рубашке, заправленной в брюки. Он слегка щурился, по-видимому, от солнца. Фотография была выцветшая, и Искандер не сразу различил на плече у отца небольшое светлое пятно.

Вглядевшись, он понял, что это ладонь стоявшего рядом парня. Искандер замер, кресло еще по инерции продолжало раскачиваться, но Искандер уже не шевелился. Он вытащил фотографию из альбома и приблизил ее к глазам.

— Не может быть — пробормотал он.

Он отодвинул фотографию от лица и затем снова приблизил ее. Затем перевернул снимок. На обороте карандашом было выведено: Первомайское, Крым, 1990 г. Слева направо: Исмаилов Айдер, Хамидов Винер... Искандер пробежал глазами весь список, но нужной фамилии не нашел.

— Хамидов Винер, — одними губами сказал Искандер.

— Ну чего ты там завис? Все дуешься, — голова Ильдуса просунулась в комнату.

— А это ты, — вздрогнул как разбуженный Искандер. — Послушай, подойди-ка сюда.

Ильдус мигом очутился рядом с ним.

— Чего за фотка?

— От бабушки осталось. Передали сегодня. Посмотри-ка на эту фотографию. Ты тут никого не узнаешь?

Ильдус взял в руки снимок. Искандер не сводил взгляда с лица Ильдуса. Но тот лишь крутил головой, словно глаза его могли передвигаться только вместе со всей конструкцией, в которую были ввинчены... Какие-то невнятные звуки слетали с его губ. Искандеру показалось, что прошло несколько минут, прежде чем Ильдус распахнул рот.

— Ну что?! — наконец не выдержал Искандер.

— Да нет, вроде никого не знаю. А этот чувак с флагом, — Искандер указал пальцем на отца Искандера — на тебя немного смахивает.

— Это мой отец.

— Так ты насчет него у меня интересовался?

— Нет... а вот этот рядом с ним. Ты случайно не знаешь его?

Ильдус снова взял в руки фото.

— Вроде нет.

— Тебе не кажется, что он похож на Дамира хазрата?

— А... ну да, есть немного. Действительно, похож. Только, молодой. Это он?

— Нет, на обороте написано, что это Винер Хамидов. Ты никогда не слышал такое имя?

— Хамидов?.. Знавал я одного Хамидова. Он на Баумана стрингами со стразами торговал. Потом его менты погнали. Громкая была история, его потом в отделении ножку стула в жопу засунули. Не слышал? Об этом по первому каналу даже репортаж был.

— Нет.

— Ну ты даешь, чесслово! Короче, этот Хамидов одному менту в буквальном смысле глотку перегрыз. Его даже пристрелить пришлось. Но мент тоже сдох, конечно. Но тот не Винер, вроде был. Вообще физиономий у татар много похожих. Я один раз иду по улице, смотрю — училка моя первая идет, Гульнара Шамсутдиновна. У меня даже челюсть отвисла. А дело в том, что я самостоятельно на ее похоронах присутствовал, она утонула по пьяному делу, когда я в десятом классе еще, считай, был. Так вот гляжу

на нее и сердце, знаешь, бьется как овечий хвост. Я за ней, она заметила меня и стала ускоряться. Я вижу, что она драпать от меня собирается. Кричу ей тогда: «Гульнара Шамсутдиновна, это я Ильдус, вы у нас учительницей были в первом классе!». Она сразу остановилась, посмотрела на меня и говорит: «Спасибо, конечно, только я не Гульнара Шамсутдиновна, а Гульнара Маратовна. Во-вторых, я в школе не работаю и надеюсь, никогда работать не буду. А в-третьих, если вы молодой человек избрали такой способ знакомства, то идите прямым ходом в задницу, потому что вашей учительнице должно быть лет восемьдесят. А мне двадцать пять». Дала она мне пощечину и пошла дальше. А еще был один случай...

— Ильдус, — перебил рассказчика Искандер. — давай потом свои байки травить будешь, хорошо? Ты мне все-таки скажи: похож этот человек на фото на Дамира хазрата или нет?

— Знаешь, Искандер, что я думаю. Ты так много общался сегодня с Дамиром хазратом, что скоро в зеркало будешь смотреть и видеть там его физиономию. Чесслово!..

«А ведь он, пожалуй, прав», — подумал Искандер.

Перед тем как выключить свет, Искандер еще раз внимательно посмотрел на фотографию с Винером Хамидовым. Почему Дамир так интересовался его отцом? Еще тогда, в мечети, он спросил его фамилию. Ведь при обычном знакомстве фамилию не спрашивают. По крайней мере, сразу. Искандер закрыл глаза и попытался припомнить все, что происходило с того самого момента, как Дамир хазрат обратился к нему и Ильдусу.

Искандер вспомнил, как изменилось лицо муфтия, когда тот услышал его фамилию. Ради него он перешел на русский язык, ради всего одного человека, который не понимал слова проповеди. Может, дело в том, что он из Крыма. Ну и что с того?.. Наверняка в мечети было немало тех, кто не знает татарского или плохо его знает. А потом они с Ильдусом встали в очередь, и он пожал руку Дамиру хазрату. Тот поглядел на него и спросил не только его, Искандера, имя, но и фамилию. Что за гримаса появилась у него на лице? Все это продолжалось секунду или две. А потом Дамир, вроде как извиняясь, сказал, что ему показалось знакомым лицо Искандера. Получается, что сначала Дамир увидел Искандера и решил, что он его знакомый. Поэтому спросил его фамилию. Логично? Логично. Но почему тогда потом он так скривился? Если Искандер не тот, о ком подумал Дамир, то почему же тогда у него появилась такая гримаса?..

Искандер пытался найти, но не находил никакого объяснения. Может, все-таки ему показалось тогда. Мало ли что там у него. Может, геморрой или под сердцем кольнуло. Да что угодно... А если нет?! Если он все-таки знал отца? А Искандер похож на отца как раз в те годы, когда тот познакомился с Дамиром...

От огромного количества возникавших в голове вопросов у Искандера заныла голова. Он еще некоторое время смотрел на фотографии, потом вздохнул, положил альбом и выбрался из кресла.

Винер Хамидов

Ночью Искандеру снилось, как он с отцом сидит в какой-то крохотной, как обиталище гномов, комнате с толстыми утратившими исходный цвет коврами на стенах. В каком городе все это происходит, из материала сна было непонятно, но Искандер наверняка знал, что они в Крыму. У него нет времени думать об этом, он разговаривает с отцом. Вдруг в комнату заходит Дамир хазрат. Отец поднимается ему навстречу, радостно обнимает его и говорит Искандеру: «Знакомься, сынок, это мой лучший друг Винер». Искандер задыхается от волнения, хочет во весь голос крикнуть: «Нет, папа, это не Винер! Его зовут...». Но кашель душит его, и не дает произнести ни слова.

Искандер и в самом деле проснулся от собственного кашля. На айфоне пять тридцать. Искандер хотел заставить себя снова уснуть, но что-то ему мешало, какой-то неприятный зуд. Он почесал левую руку, затем правую, сел на кровати. Клопы? Только этого не хватало. Может, у этого обормота еще и мыши живут?

Искандер встал, включил свет и принялся осматривать постель. Никаких следов этих отвратительных существ, которых он последний раз наблюдал в глубоком детстве, он не обнаружил. А зуд все не проходил, Искандер поднес правую руку к глазам и замер от удивления и тревоги. Вся рука от кисти до локтя и выше покрылась черными пятнышками, словно это была никакая не рука, а подбородок на второй или даже третий день после бритья. Искандер никогда не отличался волосатостью. Руки его почти не знали волос. Искандер почти прыгнул к столу. Он поднял вверх дрожавшую правую руку. Падавший в окно свет позволял хорошо разглядеть прораставшую на пространстве от локтя до кисти щетину. На второй руке — то же самое. Искандер сел на кровать и уставился на собственные ноги, как будто видел их в первый раз. Он и в самом деле видел их такими в первый раз. Между редкими давно уже обжившимися на ноге волосками появились точно такие же приметные пятнышки, как и на руках. Искандер перебрисил взгляд на грудь. И здесь то же самое...

Искандер быстро растворил дверь в ванную комнату. Он сбросил одежду на пол и встал под душ. В руках у Искандера оказался кусок хозяйственного мыла, и он старательно принялся тереть свое тело. На всякий случай Искандер вымыл и волосы, хотя голова у него не чесалась. После мытья зуд почти прекратился, и Искандер на мгновение возрадовался. Но едва только тело его соприкоснулось с полотенцем, как неприятные ощущения возвратились.

Искандер снова посмотрел на айфон. 5.50. Он широко раскрыл окно и сбросил на пол полотенце. Расчет оказался верным. Скоро Искандер почувствовал, как мурашки покрыли тело, и озноб стал медленно одолевать чесотку. Когда стало совсем холодно, Искандер затворил окно. Так он проделывал несколько раз. Всякий раз, когда тело начинало гореть от зуда, он раскрывал окно, а когда его начало пробивать «цыганский пот», окно закрывал.

Больше всего Искандера беспокоила ладонь, как раз в том месте, где имелась незажившая рана от вчерашнего рукопожатия Белого Волка. Хотя скорее, это было... лапопожатие. Стоп!.. — Тут мысль Искандера оборвалась и полетела вниз в бездонную пустоту. А на место ее явилась другая мысль, заставившая на несколько секунд забыть и о зуде, и о холоде: Ак Буре... Неужели это он... ну, конечно, вот царапина... что же это инфекция?.. Черт знает что. Если так и дальше будет продолжаться, он за неделю зарастет шерстью, как дикое животное. Что за бред. Такое только в фильмах бывает...

Искандер хотел сесть в кресло, но увидел альбом. И сразу же вспомнился ночной сон. Пока Искандер шел до кресла, брал в руки альбом и приближал к глазам фотографию, он надеялся, что вчерашнее его подозрение окажется ошибкой утомленного мозга. Но когда он внимательно посмотрел на фотографию, ему показалось, что Винер Хамидов за ночь стал еще больше похожим на Дамира хазрата. Беспрецедентно похож, как сказал бы, наверное, сам Дамир хазрат, если бы увидел это фото... Кстати, хорошая идея показать ему фотографию. Как он отреагирует? Нет, сходство конечно поразительное, но ведь прошло почти... почти двадцать пять лет. Дамир хазрат похож на того Хамидова, который существовал в девяностом году. Но сейчас-то Хамидов, если он еще жив, должен выглядеть совсем по-другому. Искандер закрыл глаза. Покачиваясь в кресле и заставив себя не думать о не отступавшем зуде, он стал вспоминать их вчерашний разговор с Дамиром хазратом в его кабинете.

О чем они говорили? О Джамиле. Он спрашивал, понравилась ли ему Джамиле... Ладно, Бог с ней... В самом начале рассказывал про Никаса Сафронова и еще какого-то художника, как тот портрет Ак Буре рисовал. Еще про академию рассказывал. Что непростая работа. Его расспрашивал о чем-то. Ну конечно! Как он мог забыть это? Когда Дамир хазрат стал расспрашивать его о Крыме, он упомянул, что первый раз был там совсем молодым, моложе Искандера. Сейчас ему лет пятьдесят пять или около того. Значит... значит, он вполне мог быть тогда в Крыму. Но почему тогда Винер? Может, отец ошибся? Подпись к фотографии точно сделана отцом. Это его почерк... Но почему: Винер?.. Получается, не только имя, но и фамилия другая: Винер Хамидов. А этот Наверетдинов или как его там... — Искандер хотел отправиться на поиски визитной карточки Дамира хазрата, но потом передумал.

Но почему... почему он тогда спрашивал его об отце? Как тот погиб... Хотя, что в этом такого?.. Умер не старый еще человек. Вопрос логичный... Да! Он сам спросил: был ли связан отец с политикой. Почему он спросил об этом?.. Он мог где-то слышать фамилию отца. Да, мог, но точно не сейчас, а двадцать пять лет назад, когда отец действительно занимался политикой... О смерти отца писали на украинских сайтах, но вряд ли эта новость могла заинтересовать кого-то здесь. Кроме тех, кто знал отца... Что же получается... Но если он знал отца, то почему тогда просто не сказал об этом... Надо обязательно самого Дамира спросить... Хотя какой смысл... Если он действительно был знаком с отцом, но не сказал об этом, значит, у него есть причина молчать....

— Ты че не спишь, морж?

Искандер вздрогнул и увидел стоявшего в дверях Ильдуса. Писатель почесывал волосатый живот, вываливавшийся из-под футболки.

— Я разбудил тебя? — спросил Искандер.

— А то.

— Извини, я не хотел.

— Охотно верю, — Ильдус громко зевнул и поежился. — Ты это, закаляйся, что ли, решил? Давай только без меня, я заду-бел уж.

— Да-да... — Искандер положил на стол фотоальбом и придерживая подлокотники, встал с кресла. Но до окна он не дошел. Только сейчас он вспомнил, что на нем совершенно нет одежды. Непрекращавшийся зуд заставил его забыть о ее существовании. Искандер устремился к дивану, на спинке которого были сложены его вещи. Одеваясь, он бормотал какие-то непонятные даже ему самому слова.

Ильдус быстро закрыл окно, а оставшееся время с усмешкой глядел на то, как Искандер с прилипшими друг к другу от холода пальцами ног влезал в трусы.

— У тебя есть какая-нибудь мазь? — спросил Искандер, когда наконец сумел одеться. — Ну, от укусов. Когда насекомое или животное укусило.

— А кто тебя укусил? — Ильдус перестал чесать живот и устался на Искандера.

— Кто-кто? Конь в пальто, — Искандер вскочил с кресла и двинулся на Ильдуса. Тот отступил назад. — Волк этот ваш... Ак Буре. Забыл?!

— Так он же это... не кусал тебя.

— Зато поцарапал. Вот погляди, — Искандер сунул Искандеру почти под самый нос обе свои руки. — Видишь?

— Что?

— Как что?! — воскликнул Искандер. — Волосы видишь, как растут?

— Ну и че, — с равнодушием отвечал Ильдус.

— Через плечо! — незнакомым Ильдусу голосом воскликнул Искандер. — Да у меня с роду волос не было. А теперь я весь зарастаю как обезьяна, так еще мало этого, все тело чешется так, хоть на стенку лезь.

— Хорошо, а причем здесь Ак Буре?

— Да при том! Вот: смотри, — Искандер перевернул ладонь и сунул ее под самый нос Ильдусу. Видишь? Это после того, как он меня поцарапал, вся эта ерунда началась. Видишь даже здесь на ладони шерсть начинает расти. Короче, у тебя мазь есть какая-нибудь?

— Сейчас посмотрю. Погоди, только поссать дай сначала. А то я сдохну. Я как только услышал, что ты встал, сразу к тебе подорвался. Думал случилось что.

Ильдуса не было несколько минут. Наконец он появился. В руке у него была какая-то мазь. «Бен гей», — прочитал Искандер и улыбнулся, впервые за это утро. Даже мазь у этого чудака странная.

— Она старая, правда, но охлаждает нормально, — пояснил Ильдус. — Попробуй, может не так сильно чесаться будет.

Искандер уже не слушал его и жирным слоем втирал мазь в кожу, подергивая плечами то ли от волнения, то ли от холода.

— Ты кушать что-нибудь будешь? — спросил Ильдус, с сочувствием наблюдая усилия Искандера.

— Поставь чай, пожалуйста.

— Хорошо, сделаем. Пельмешки будешь?

— Нет, спасибо. Я чай только.

Искандер и в самом деле ограничился одним чаем, но зато выпил почти залпом две с половиной чашки. После мази Ильдуса ему стало так холодно, что боль, казалось, заоченела. Но как только он согрелся за чаем, как снова почувствовал зуд, правда не такой сильный, как прежде. Чудовищно хотелось спать, но Искандер уговорил себя не ложиться. Он боялся, что проспит свидание с Джамилей. А еще он всерьез опасался, что после пробуждения зуд станет сильнее. Ведь волосы, как ему было известно, растут в основном во сне.

Чтобы скоротать ползшее, как не кормленная пару дней домашняя черепаха, время Искандер опять устроился в кресле-качалке с альбомом. Он вертел в руках ту самую фотографию, в которой пытался распознать черты Дамира хазрата. Потом взял в руки айфон и в Гугле открыл галерею. На всех фотографиях Дамир хазрат был в своем современном виде. На нем был чапан черного или зеленого цвета, либо костюм. Костюмы Дамир хазрат предпочитал черные или темно-синие, но обязательно в полоску. Голову муфтия покрывала либо чалма, либо уже знакомая Искандеру по фотографии на кухне у Ильдуса и в кабинете Карлова кудрявая каракулевая папаха. Впрочем, встречалось немало фотографий, на которых Дамир

хазрат был вообще без головного убора, с гладко прилизанными темно-рыжими волосами.

Одна фотография, несмотря на тревожное и болезненное состояние Искандера, вызвала у него улыбку. Дамир хазрат был во всем белом: летней рубашке без рукавов и брюках в полоску. На голове у него была белая фетровая шляпа. Дамир хазрат сидел, развалившись в плетеном кресле с поднятым вверх указательным пальцем правой руки. В последнее время Искандер часто встречал фотографии мусульман с таким жестом, напоминаям о единственности Аллаха. Таких фотографий стало так много, что ничего кроме усталости для глаз и для души они у Искандера не вызывали.

Место, где был запечатлен муфтий, больше всего напоминало террасу какого-то летнего домика в южной стране. Рядом с Дамиром хазратом на столике стоял бокал с каким-то невероятной белизны напитком. Судя по дольке ананаса, это вполне могла быть Пина колада. «Безалкогольная?» — подумал Искандер и улыбнулся при этой мысли.

Ранние фотографии Дамира хазрата, до того, как он стал имамом, сеть отказывалась находить. Тогда Искандер набрал в поиске: Винер Хамидов, сначала кириллицей, а затем латинскими буквами, причем фамилию задал в двух вариантах: как Hamidov и Khamidov. Людей с таким именем и фамилией оказалось немного. Два пользователя в «Одноклассниках», трое — в «Контакте», включая тех двух, имевших аккаунты в «Одноклассниках» и один в Фейсбуке. Искандер пролистал фотографии и заметил одну черно-белую иконку, где были изображены несколько молодых людей. Он нажал на нее, чтобы увеличить изображение. Фотографии похуже была не отсканирована, а переснята на мобильный телефон. Трое парней лет двадцати рядом с памятником Ленину. Также закинули пиджачки на плечо, как монументальный Ильич. Стоп! Вот этот посередине — очень похож на Винера Хамидова из бабушкиного альбома. Вот если бы фото только получше было. Словно кто-то положил на снимок кальку, прежде чем его переснять. Искандер глядел попеременно то на живое фото, то на электронное. Подпись к фотографии: «Саид Махмуд, Винер Хамидов и неизвестный. 1991 г.» Хамидов стоял посередине. Тот, кто звался Саидом Махмудом, наверное, стоял слева. Это был невысокого роста араб, с черными курчавыми волосами и залысиной посреди внушительного лба. Были у Саида Махмуда и неизменными для арабов из светских стран усы. Третий персонаж на фото был примерно одного роста с Винером. Лицо его было сильно размыто, и Искандер быстро потерял к нему интерес.

Искандер нажал на фотографию. Сайт не сразу открылся. Это была страница, посвященная татарско-арабской дружбе. Там было много иллюстраций и очень мало текста. Кроме подписи к фотографии ничего нового о Винере Хамидове или Саиде Махмуде сайт не сообщал. Искандер нажал рубрику «Пишите нам». Что же им написать?..

Текст возник быстро: «Добрый день! На вашем сайте я увидел фотографию, на которой изображен друг моего отца Винер Хамидов. Известен ли вам источник этой фотографии? Можно ли связаться с тем, кто ее передал? С уважением Искандер Исмаилов». Искандер подумал немного и добавил перед именем: кандидат исторических наук. Так скорее ответят.

Только Искандер отправил сообщение, сработал будильник. Ну вот пора. Встал, потянулся. Чесотка словно того и ждала. Зазудело все и сразу: руки, ноги, грудь, спина. «Господи, еще и на спине», — с тяжелой грустью подумал Искандер по дороге в ванную. Он принял холодный душ, а потом натер конечности и туловище мазью Ильдуса для закрепления результата. Как и в прошлый раз, телесный холод опять заставил чесотку отступить. Не теряя времени, Искандер стал собираться. Вещей у него было немного, и вскоре он уже стоял на пороге.

— К ней идешь? — спросил наблюдавший за его приготовлениями Ильдус.

— Нет, в Исламскую Академию, — сухо сказал Искандер, так и не научившийся мириться с любопытством хозяина квартиры.

— Оформляться, что ли? — не унимался Ильдус.

— Нет, знакомиться.

— Ну ладно тогда, удачно тебе познакомиться...

На улице Искандер почувствовал, как зубы застучали друг о друга, словно яйца в кипящей воде. Только яйца стучали от жары, а зубы — от холода. Искандер застегнул куртку и засунул руки в карманы, но теплее ему от этого не стало. Вместо того, чтобы думать о предстоящей встрече с понравившейся ему девушкой, Искандер был занят размышлениями о Винере Хамидове. Пока было ясно только одно: Винер Хамидов — не ошибка отца. Винер Хамидов действительно существует... Или, по крайней мере, существовал. Осталось выяснить только одно: Хамидов и Дамир — это один и тот же человек? Узнать это не так сложно. Ведь это не сто лет назад было. Наверняка полно людей, которые помнят Винера Хамидова. Его согруппники по университету. Надо только непременно найти их, даже если для этого потребуются остаться здесь еще на несколько дней...

Искандер заметил Джамилю издалека. Она был одета в платье цвета брокколи. Почему Искандер подумал в тот момент о брокколи — он, наверное, и сам бы не смог ответить, но именно такое сравнение пришло ему в голову. Такого же цвета платок закрывал волосы девушки. Поверх платья была накинута светлая джинсовая куртка. Джамилия стояла на углу Булака и улицы Пушкина, рядом со снежным барсом, указывающим лапой в сторону озера Кабан. Скелетом искусственному животному служил проволочный каркас, а кожей — живые цветы.

Джамия улыбнулась Искандеру и сделала знак рукой, чтобы он не переходил дорогу. Искандер послушно замер у светофора, не отрывая взгляда от девушки. Он не сразу услышал за спиной голос. Только когда чья-то рука опустилась ему на плечо, Искандер обернулся. Перед ним стоял сероглазый сержант, который вчера чуть не оштрафовал его почти на том же самом месте. Искандер наморщил лоб, пытаясь вспомнить фамилию полицейского, но тот не дал ему времени на размышления:

— Добрый день, уважаемый. Вам удалось успеть в тот раз? — с ласковой заботой спросил сержант.

— Да, — отвечал Искандер. Он вновь почувствовал зуд по всему телу.

— Вы подождите немножко, я сейчас, — вдруг заторопился сержант. — Можете здесь еще минутку постоять?

— Хорошо, — неуверенно отвечал Искандер, а сам подумал: «Что же на этот раз?»

— Что случилось? — спросила Джамия и посмотрел во след удалявшемуся сержанту.

— Не знаю, попросил вот подождать.

Сержант и в самом деле отсутствовал недолго. Он поспешно направлялся к Искандеру с Джамией, а в руке у него был полиэтиленовый пакет, который сероглазый придерживал второй рукой за дно.

— Тут вам небольшой сувенир от моего начальства как маленькая компенсация за ту вчерашнюю неприятность, — сержант протянул Искандеру пакет, и тот, секунду помедлив, взял его.

— Не смею больше вас задерживать. Удачного вам дня, — сержант поднес правую ладонь к фуражке и, повернувшись, быстро зашагал прочь.

Искандер смотрел ему во след, пока Джамия не обратилась к нему:

— Ну что там? Давайте посмотрим.

Искандер раскрыл пакет и увидел бутылку шампанского «Казанский сюрприз».

— Я так и подумала, — сказала Джамия. — У наших казанских полицейских традиция такая. Они всегда дарят шампанское тем, кто им нравится.

— Хорошая традиция — сказал Искандер, только я не пью шампанское, и вы, — он посмотрел на голову Джамии, — подозреваю тоже.

— Ничего страшного, — сказала Джамия. — Мы как раз с вами идем с визитами, можете кому-нибудь подарить бутылку. Например, Шамиль Габдурахманович точно не откажется. Кстати, — Джамия извлекла телефон из сумочки и посмотрела на экран, — нас уже ждут.

— А далеко идти?

— Так вот же здесь, — Джамиля кивнула в сторону здания, перед которым они стояли.

Это был кофейного цвета четырехэтажный дом из тех, что принято именовать «сталинскими». Искандер прочитал надпись на желтого цвета табличке у входа: Исламская Академия им. досточтимого шейха Ак Буре. По другую сторону от входной двери была точно такая же надпись, только на татарском языке в арабской графике.

— Красивое здание, — отметил Искандер.

— Как вам, кстати, наш город? Нравится? — спросила Джамиля.

— Нравится, — не задумываясь, отвечал Искандер. — Только пока не до красоты мне было. Вы знаете, наверное, зачем я приехал в Казань.

— Да, мне Дамир хазрат говорил, — понизив голос, отвечала Джамиля. — Сочувствую вам.

— Спасибо, — Искандер толкнул входную дверь и пропустил Джамилю. — Это уже давно случилось. Месяц уже прошел. Просто у меня только сейчас получилось похоронить... урну.

— Значит теперь полегче стало?

— Не знаю. По крайней мере, я сделал все, что было в моих силах.

Искандер не хотел продолжать этот разговор и немного подумав, произнес, когда они уже ступили на лестницу:

— Джамиля, скажите, а вы давно с Дамиром хазратом работаете?

— Нет, не очень, — медленно отвечала Джамиля. — Два года.

— И как вам, нравится?

Джамиля посмотрела на Искандера, словно не поняла вопроса.

— Ну, не строгий он? — пояснил Искандер и выдал из себя улыбку на лице как опытный курортник выдавливает остатки крема для загара из похудевшего тюбика.

— Строгий? — не сразу отвечала Джамиля. — Да, наверное, но справедливый при этом. Дамир хазрат — очень конкретный человек. Если ставит задачу, то обязательно ее выполняет. Даже если возникают препятствия.

— То есть напролом идет?

— Зачем напролом? Просто он пока не достигнет цели, не успокоится. Настойчивый.

Искандер хотел спросить Джамилю, известно ли ей подлинное имя ее шефа, но решил пока промолчать. Он не знал, как лучше произнести этот вопрос, чтобы не испугать и не смутить девушку. Все-таки она подчиненная Дамира хазрата. Вдруг возьмет, да и раскажет все своему шефу обо всем.

— Искандер, я очень извиняюсь, но нам пора идти. — прервала Джамиля размышления Искандера. — Вы встретитесь с тремя ведущими кафедрами на факультете исламских наук. Сначала вы побеседуете с Елдашевым Шамилем Габдурахмановичем.

— Как вы сказали? — не сдержал улыбки Искандер.

— Елдашевым, — ничуть не смутившись, повторила Джамия. — Зря вы, между прочим, смеетесь. Шамиль Габдурахманович — очень серьезный мужчина. Он у нас заведующий кафедрой изучения Священного Корана и Пречистой Сунны.

— Интересное название.

— Ну мы же Исламская Академия все-таки.

— А после Елдашева к кому мы пойдем?

— Не мы, а вы, — поправила Искандера Джамия. — К Линору Маркленовичу. Он у нас заведующий кафедрой исламского мистицизма. Человек с интересной судьбой. Бывший офицер, в Конго, между прочим, служил. Его там чуть не убили.

— Ничего себе, — изумился Искандер. — Я даже боюсь предположить, как у вас называется третья кафедра. Их же три, верно?

— Да, верно: три, — подтвердила Джамия. — А название у нее как раз самое простое: кафедра арабского языка. Туда мы пойдем в самом конце... Вот мы, кстати, и пришли. Я вас вот тут на скамейке подожду. Если будете задерживаться, я предупрежу остальных профессоров.

Елдашев

На двери имелась табличка, сообщавшая необходимые сведения о лице, находившемся внутри помещения: профессор, доктор филологических наук Шамиль Габдурахманович Елдашев.

Искандер постучал и вслед за тем быстро растворил дверь. За столом сидел человек с лицом цвета ссохшейся земли. Он поднялся навстречу Искандеру и показал, что велик ростом, но совершенно не полный, как это бывает у некоторых людей, сосредоточенных на сидячей работе. На лице его были очки с толстыми стеклами в толстой оправе, как у зарубежных корреспондентов из старой советской передачи «Международная панорама». Черные, без седины волосы не были густы, но вполне достойно смотрелись на его крепкой голове. На туловище его был пиджак неопределенного цвета в мелкую клетку: то ли коричневый, то ли бежевый.

— Исэнмесез, — сказал он голосом человека, умеющего петь красивым баритоном.

— Исэнмесез, Шамиль абый, — отвечал Искандер. — Если вы не против, я по-русски буду с вами говорить. Меня Искандер зовут.

— Как же, как же, Искандер, — крепко сжимая руку, напевал Елдашев. — Дамир хазрат мне о вас говорил. Очень нахваливал вас. Говорит: «Нашел я для вашей кафедры, Шамиль абый, настоящий алмаз. Разве что не ограненный, по причине молодости. Вы, говорит, Шамиль абый, алмаз этот ограните». Значит, вот ты какой алмаз, — вдруг перепрыгнул на «ты» без всякого предупреждения Елдашев. — А ты по-татарски, получается, совсем ни бельмеса?.. Учи,

малай. Утырыгыз чай эчергя. Это наша традиция. Без чаю никуда уж. Если чай не уважаешь — считай, счастья не будет по жизни.

— Чай я люблю, — отвечал Искандер, с покорностью принявший исчезновение обращения «вы» в словах Елдашева.

— Знаешь, что говорил наш великий ученый Марджани о чае? — спросил Елдашев.

— Да, знаю, — отвечал Искандер. Но Шамиль абый то ли не услышал ответ Искандера, то ли не придавал его словам значения, и в подробностях с собственными прибавлениями пересказал апологию чая, ранее звучавшую из уст Дамира хазрата.

— Только голый чай пить не положено. Вот тебе самса, — Елдашев пододвинул к Искандеру тарелку. — Моя жена готовила. Лучше ее нет в Казани.

Искандер не уяснил, о ком идет речь: о самсе или о жене Елдашева, но на всякий случай не стал уточнять.

— Хотя нет, подожди, — Елдашев подался вперед и выхватил у Искандера тарелку из рук. — Она остыла, наверное. — Шамиль абый легонько ткнул длинным указательным пальцем, у основания которого были заметные черные волоски, в морщинистый бок самсы и убедился в верности собственной догадки. — Пока тебя ждала, остыла. Сейчас ее мигом разогрею, — он взял тарелку и сделал два шага в сторону окна, около которого находилась микроволновка. От самсы теперь шел дым как изо рта живого существа в морозное утро.

Волосатые пальцы Елдашева словно пробудили в сознании Искандера затихшую на время болезнь.

— Кушай, малай, — нежно проговорил Елдашев, словно обращаясь к котенку. — Вкусная самса?

— Да, — согласился Искандер, проглотив кусок.

— Ты арабский хорошо знаешь?

— Учил в школе и в медресе. В Египте потом был, но не доучился: революция началась.

— Революция, — повторил Елдашев с каким-то непонятым привкусом в голосе, словно жевал протухшую селедочью голову. — Наши студенты, когда я в большом университете работал, тоже оказались там в эту революцию. Кисло им там пришлось, скажу я тебе. Что ни говори: все эти революции — полное дерьмо.

— Почему? — спросил Искандер, удивленный не столько реплике Елдашева, сколько последнему слову, произнесенному профессором.

— А что в них хорошего, в этих тюльпановых, гвоздичных и прочих революциях? Сначала раскачивают лодку. Мутят народ, проливается кровь, а потом что? Еще хуже становится.

Искандеру много раз приходилось слышать подобные разговоры про «лодку», и он решил, что лучше есть самсу, чем говорить. Тем более что самса и в самом деле была хороша.

— А вообще Египет — это моя любовь, — произнес Елдашев и стал вертеть в руке ручку в форме... Искандер приблизил глаза. «Нет, показалось», — подумал он.

— Я когда студентом был, там на стажировке находился, — продолжал Елдашев. — Переводил у военного советника и у врача нашего при посольстве. История там одна приключилась. Хазер расскажу тебе. Обсмеешься до колик. Однажды приходит к нашему доктору пациент — негр. «Что вас беспокоит?» — спрашивает врач. Я перевожу. Тот отвечает: «Член, или "зуб" по-арабски». Ну, как говорится, мне что, мое дело — переводить, я и перевел. Понимаю: дело житейское. Доктор говорит негру: «Показывайте свою болячку». Тот, недолго думая, стягивает штаны и достает... во-о-от такую колбасу, — Елдашев взмахнул руками, и на пол обрушилось две или три книги, стоявшие у него на столе.

— Я, понятное дело, обалдел, доктор наш тоже, — продолжал Елдашев, не замечая сердечного волнения Искандера. — Как ты, говорю, негритос проклятый, с такой елдой функционируешь? А он, злодей, смеется. Зубы скалит, а зубы такие здоровые, белые. С помощью Аллаха, говорит. На все, мол, воля его, то бишь Аллаха: одному елду дарует большую, другому — острый глаз... Потом этот негр в повараху при посольстве без памяти влюбился. Приносил ей подарки, фрукты, безделушки, бижутерию всякую. А она кокетничала, в черном теле держала его, не подпускала к себе. Я потом подошел к ней: «Дура ты, говорю, Нинка, дубина. Мужик перед тобой такой видный. Все при нем, и так и сяк, а ты его...». А она мне: «Шамиль, дурачок ты еще, одним хреном сыт не будешь. Где пища для души?».

— Понимающая женщина, — сказал Искандер.

— Э, малай, — усмехнулся Елдашев и провел ладонью по голове. Это ты сейчас рассуждаешь так. А вот будет тебе, сколько мне, — по-другому инде запоешь.

Взгляд Искандера упал на стол. Он даже подался вперед, чтобы разглядеть привлечший его внимание предмет. Теперь он уже не сомневался: деревянная ручка Шамиля абыя была в... форме фаллоса.

— Нравится ручка? — спросил Елдашев, зорко следивший за каждым движением Искандера. — Это мне Линор подарил. Ты, кстати, уже был у него?

— Нет. Кто это?

— Завируллин Линор Маркленович, — с готовностью пояснил Елдашев. — Заведующий кафедрой исламского мистицизма.

— Не был еще. Вот после вас собирался к нему зайти. Дамир хазрат сказал обойти три кафедры, а потом принять решение.

— Э, малай. В другие можешь ходить, даже не трать время, — махнул рукой Елдашев. — Особенно к Линору.

— Почему?

— Как почему? — изумился Елдашев. — Вафлер же он.

— Простите, кто?

— Вафлер... — повторил Елдашев и замолчал, наслаждаясь замешательством Искандера. — Ну ... вроде опущенного. Он в молодости в психушке лежал, от армии косил или не знаю зачем, его там соседи по палате изнасиловали в жесткой форме, и он окончательно тронулся на этом деле. Шутка ли...

— А я слышал, он офицером в Конго служил, — попытался возразить Искандер.

— Служил, — скривил физиономию Елдашев. — Если бы все так служили, как он, у нас бы давно страны не осталось. В Конго он действительно был, это правда, но прославился там не боевыми подвигами, а совсем другим. Вы не слышали эту историю?

— Н-нет, — признался Искандер, не желавший слушать историю Линора Маркленовича. Но Елдашев уже начал свой рассказ.

— Хазер расскажу тебе все как на духу. Его ж в Конго того... ну, обработали... в грубой форме, — Елдашев посмотрел на Искандера, но тот молчал и не выражал ни радости, ни печали. — Изнасиловали, тот есть, по полной программе. С неграми, считай, шутки плохи. Вон как тот мой из Египта, о котором я тебе рассказывал... Кстати еще один случай вспомнил! Ты сейчас упадешь. Был у нас профессор один. Башкир. Тупо-о-ой. Киек... впрочем не важно. Так все говорили: у него причиндалы 30 см. Я не поверил, конечно, ерунда, говорю. А мои коллеги профессора говорят: «Нет уж. Ты наши слова сомнению не подвергай». Пospорили мы на ящик коньяку. И что ты думаешь? Я проиграл. Действительно, как конская колбаса. Даже цвета такого же почти. Пришлось мне выставить ящик. Ты, конечно, спросишь: как мы узнали? Хазер расскажу тебе все как на духу. Очень просто: пошли с ним в баню. Я и один профессор еще был, Мухаметшин. Выпили хорошо. И смерили. Ты, конечно, спросишь, как мы это сделали? Хазер...

— Нет, не спрошу! — запротестовал Искандер. Но больше ничего Искандер добавить не сумел, поскольку кусок самсы каким-то образом попал ему в нос.

Елдашев вскочил с места и шваркнул Искандера по спине. Искандер закашлял еще больше. Опасаясь нового удара, Искандер вскочил с места и потому следующий удар профессора пришелся на место пониже спины.

— Ты смотри, поосторожней с пищей, — предупредил Елдашев. — Так ведь и умереть, астахфирулла¹ можно. Знаешь, что говорил наш великий ученый Марджани о еде?

Искандер замотал головой.

— Шигабуддин хазрат говорил: «Принимай пищу сидя, женщину — лежа, а начальство — стоя», — сказав эти слова, Елдашев с надеждой посмотрел на Искандера. Увидев, что тот не только не засмеялся, но даже не улыбнулся, Шамиль абый прокашлялся.

¹ Упаси Аллах (араб.).

Искандер тем временем с помощью салфетки избавился от потерявшегося в его организме куске самсы.

— А еще у нас хазрат один был, Куран хафиз, то есть Коран весь наизусть знал, так у него это... — Елдашев приготовился избразить руками уже знакомый Искандеру жест.

— Простите, Шамиль абый, но мне надо ийти, — сказал Искандер и поднялся так стремительно, что смахнул тарелку с недоодежной самсой на пол. Тарелка раскололась, а самса рассыпалась на фрагменты, оголив начинку.

— Просите, пожалуйста, — сказал Искандер, сердцем не чувствуя, впрочем, никакого стыда.

— Это на счастье, — демонстрируя свое безразличие к причиненному материальному беспокойству, отвечал Елдашев.

Искандер наклонился, чтобы собрать осколки, но Елдашев схватил его за плечи и возвратил в вертикальное положение.

— Не волнуйся, я Лилию попрошу убрать... Ты, малай заходи, пообщаемся еще. В гости ко мне заходи. Я за городом живу. В Юдино. У меня баня там. Нет нигде в Казани такой бани. Попаримся, как черти.

Искандер пробормотал что-то невразумительное в ответ.

— Постой, — Елдашев сделал шаг к столу. — Я видел, тебе ручка моя приглянулась. Держи на память, — он потянул Искандеру деревянный письменный прибор. — Она многоцветного использования. Стержень меняется шулай. Сильно тянешь за головку, во-от так.

Но головка и не думала поддаваться. Тогда Елдашев, не долго размышляя, взялся за набалдашник ручки зубами. Раздался звук, похожий на хруст раскальваемого ореха. Искандер в смятении глядел на Елдашева. В кулаке, покрытом рябыми пятнами, профессор сжимал половину ручки, другая половина торчала у Елдашева изо рта.

— Ну вот, кирдык ручке, — сказал Елдашев после того, как извлек другой фрагмент ручки изо рта. — Ничего страшного, малай. Я тебе другой подарок сделаю. Хазер.

Елдашев поднялся, неспеша направился к книжному шкафу, распахнул стеклянную створку и на мгновение замер, выискивая глазами нужный ему предмет.

— Вот она, — торжествуяще воскликнул Елдашев и повернулся к Искандеру. В руках у него была какая-то пластмассовая вещь неизвестного назначения. Искандер не знал, куда ему деваться: то ли залезть под стол, то ли выпрыгнуть в окно. Подарок Елдашева по-прежнему находился у него в руке.

— Это тебе заместо ручки, полезная штука для любителя читать. Закладка для книг.

Если бы не эти сведения, сообщенные Елдашевым, то Искандер, пожалуй, ни за что не догадался для чего предназначалась огромная пластмассовая скрепка в форме... мужского детородного органа.

— Шамиль абый, я не могу принять такой подарок, — наконец произнес Искандер и положил закладку на стол.

— Ты что же это, малай, обидеть меня задумал? — повысив голос, произнес Елдашев и протянул закладку Искандеру. — Ты сразу запомни: у нас здесь так не принято. Я же сам видел, какими глазами ты смотрел на ручку. Ручки теперь нет, но есть закладка. Я битьй воробей, от меня ничего не скроешь. Вижу: понравилась она тебе. А желание гостя, особенно того, что в первый раз пришел в дом — закон. Знаешь, что по этому поводу наш выдающийся ученый Шигабуддин Марджани говорил?

— Н-нет, — пробормотал едва слышно Искандер, сжавшийся в ожидании очередной сальной шутки.

— Ладно, в другой раз расскажу, — снисходительно махнул рукой Елдашев. — А закладку возьми. Не обижай старика.

Искандер засунул закладку в задний карман джинсов и, пробормотав какие-то невразумительные слова, выкатился в коридор.



Василий МЕЛЬНИКОВ

/ Минск /

У ОБМЕЛЕВШЕЙ РЕКИ

1

К обмелевшей реке,
Под коряги залезшей от страха,
Вырывался ручей
Из шершавых ладоней оврага
И когтистых корней
Семипалого пня
Расщеплённого молнией ясеня.
Зелень лета тесня,
Солнце купины в рыжее красило
И мормышек следы
На бисквитном песке у сгущенной воды.

2

Желторотого дня
В камышах пламенела рубаха.
И краснели белки
Круглых глаз удивленного рака
Возле щучьей щеки
В мелководной траве,
Разделившей на две
Половины обитателей дна
И, ключами кипящей, стремнины
Без углей и огня.

3

Боевой муравей
Отвоёвывал жизни пространство
Возле павших ветвей
За реликтовый сохнувший ельник,

Не прося у трахейных гражданство,
И на жительство вид
У граничащих с плёсом раки,
И сочувствия после,
Когда вырастит в росте
Выше хатки бобра раза так в полтора
На медвежьей тропе муравейник.

4

В шалашовых сенях
Ткали тень пауки.
И пропахая выменем козьим свобода
Попадала в силки
И глазастые сети с налёта.
Окрылённая тля, стерегущие ряску стрекозы,
Отслужившие «срочную» в мае жуки
И призыва весеннего мухи и оводы
Погибали зазря,
Безо всякого повода
На чужих простынях
В рукопашных боях
От голодных стрекал.

5

И мелела река,
Оголяя стыдливо пороги,
Прошлогодний топляк
И морёные жабры челна.
Цепенела волна,
Плавниками цепляясь за вздохи
Перекатных камней,
У затона разбивших бивак.
Из корветных щелей
Выпив солнца живого на розлив,
Парус вис на усопшей ветле.
И заостренной хвои галерные вёсла
Взяли в душной смоле.

В КОНЦЕ ЛЕТА

К вечерне клонилось лето.
Звенели в лугах псалмы.
Густыми клубами света
Окуривались холмы.

В Песню песней царя Соломона
Погружалось предместье.
В пруду догорали тени
Намоленных облаков.
И плющ обвивал ступени
Под исповедь каблуков.
Осыпались с молебного склона
Гроздь зрелых созвездий.

А встрече — не до вечерни.
Неистовая напасть.
Сплетался венок из терний;
К нему примерялась страсть.
К сумеркам никла солнца корона.
Слов менялось убранство.
По смуглым плечам террасы
Беседа спускалась в сад,
Обрывками тихой фразы
Цепляясь за томный взгляд.
И предчувствие сладкого стона
Искушало пространство.

Искали глаза беседку.
Струился гречишный мёд.
И яблони сладкой ветку
К земле гнул запретный плод.

В СПИРАЛИ ВРЕМЕНИ

В душе огня осадок гари
И безутешности зола.
Сгорела рукопись, едва
В пурпур окрасилась листва,
И распушился первый иней.
Пойми, я это не со зла.

Древляной осени гербарий
Сметёт глазастая метла
До ломоты трамвайных линий
В мешки и мусорные баки.
Перекрестятся божьи твари,
Влезая в коконы и фракы.

Кто не успел — сгорит дотла
Как эта вязанка стихов
Из, детством пахнущих, дворов.
Потом воскреснет, если Богу
Угодно будет по весне
Об агнце вспомнить на досуге.

Начнутся схватки и потуги,
Прольют елей колокола.
Ботаник в треснувшем пенсне
Укажет завязи дорогу.
И расплодятся понемногу
Стихи, ожившие во мне.



Галина
АНДРЕЙЧЕНКО

/ Минск /

ГОФРЕ
НЕОСТОРОЖНЫХ ПОЕЗДОВ

1

На брошенном собачьем полустанке,
На выведенной родинке Земли
Замешкался потертый писк шарманки
И зимние поганки расцвели.

Рассеянный крахмал стыда и срама,
Висячие глухоты тишины...
Фаланги предзакатной балюстрады
Дремотно и подагренно черны.

Распутья переломов лечит ветер,
Вживляя в тело выстиранный вздох,
И правит бал в затопленном кювете
Гофре неосторожных поездов.

2

Дожди подпитывают душу
Зеленой брагой подземелья.
Раскопки давешних пирушек —
Вожди по жизни... Надоели.

Недоедаем. Забреедаем
На очарованную пристань.
Взлетят пугающие дали
Из-под чугунных ног со свистом.

Невыразимая погода:
Во фраках мгла, в подолах нечисть,
В костлявом месиве вагона
Переделась смертью вечность.

Состав распарывает тучу
Так осязаемо и сыто.
И ничего — на всякий случай.
И ничего уже не стыдно.

3

Самый отходчивый поезд уже нараспашку,
Самый расхожий журнал открестился от рук.
Ну не случилось родиться вплетенной в рубашку...
Что до смирительной — в ней окопался паук.

Жесткое детство, голодная тень пианино,
Пальцев топорность висит на подгнивших углах.
Самый отходчивый поезд прибьется с повинной —
Слышится по миру лязг разбежавшихся глав.

Сказка прострелена, мокрая, всюду чужая,
Шляпа из мусорки вновь не в ладу с головой.
Чертов состав, он опять наобум наезжает:
Шепот в костях, и разорваны рельсы травой.

4

Колокол звякнул и в пыль разлетелся,
Как бутафорная спесь бытия.
Поезда крик устремился из сердца
В неразъяснимую прорву тернья.

Март — наповал, короновано-шалый,
Следом — неверующая рука
Все норовит сумасшедшие шпалы
К свалкам наследия перетолкать.

В тамбуре ночи, в чугунном стаккато
Не прошептать, что я все-таки вне
Разноголосиц молитв чумоватых. —
Жить бы да жить, только гвозди в спине.

Завтра окатимся нежностью млечной
И рассорим на запчасти ковчег.
Долго горчила за пазухой свечка,
Вплавь пережив затянувшийся век.

5

И даже ничье дыханье
не точится в эти двери,
И бож по кликухе Совесть
с рождения нем и крив.
Потемки дружны с духами,
шуршат втихомолку перья,
А где-то ступает в поезд
мой бледно-зеленый миф.

Не верится, что безгрешно,
не снится, что первозданно
Над кем-то синеть примятым,
непризнанным потолком.
Ни образа, ни надежды,
ни Ганса, ни Христиана,
А только свернулись даты
над пролитым молоком.

Да что в этом мире проще
конюшни для сытой зебры:
Мужает скупая травка —
не косят и не секут.
Колеса всю полощет
почти голубое небо.
Увидимся послезавтра:
стоянка тридцать секунд.

6

По осени считаем синяки
И медь трубы прикладываем к цвету,
И травку пьем в костях неспешных улиц,
А им то что — пасут себе стада.
И перекусывают лопухи
Тоску асфальта. Трется указатель
О кожу дома: «Вечный переулок»,
А от угла — «Двусмысленный тупик».
Нескладный обособившийся город
Жил в кратере замерзшего вулкана,

Вчерашний снег гостил с подобострашьем
На плоскогорьях шляп, в зазорах окон
И отдавал музейным порошком.
В заиндевавшем ящике двора
Металась неслышанная песня.
Обезображенный маэстро выжил
В стоячих водах бабушки-Европы,
Забыв, что голодает звукоряд.
В дорогом асфальтовом пальтишке
Не шевельнуться. В зеркале кострища
Прикосновенье елочной баллады...
Вагончик, некогда трудолюбивый,
Взбрыкнул и отрывается от рельсов,
А чемодан мне собирают вслед...



Елена АСЕНЧИК

/ Гомель /

О ПОЭТАХ И ПОЭЗИИ

Реинкарнись, заурядный гений...

Владимир Гутковский

У Третьих врат скопление народа,
и озадачен люд, и возбуждён!
«*Реинкарнись!*» — приветствие у входа,
но в то же время — вроде, не сезон
ни путешествий, ни реинкарнаций:
когда одни морозы впереди,
кому ж охота «переодеваться»
в иной футляр — не в Африке ж, поди!
Да и вообще — губа у них не дура,
они ж поэты, а при смене тел
реинкарнёшься, бац — тебе *фигура*
... («три точки») *умолчания*. Пробел.
И будешь долго нем и неопознан,
как заурядный гений. Без лица.
Пока кому-то выигрышные позы
позволят диаложить до конца...
Но как — без риска, как — без жажды выше
себя, других — взлететь (пускай в мечтах),
без мазохистской жилочки — услышать
из уст других — о собственных стихах?!
Их выстраданных образах и тропах,
о том, что т а к — единственный сказал?!

Прости, читатель: заплутал я в тропах,
забыл — зачем беседу начинал.
Но разговор — душевный. Ладно, будем!

Давай за тех, кто пишет и поёт!
Давай за то, что есть на свете люди,
тех и других у Творческих Ворот
встречающие, ждущие...

И вот...

ЗОЛУШКА

Что ты, Золушка, плачешь? Работы мало?!
Не гневи нашу сказку своей кручиной!
Для тебя не придумала Фея бала,
Не назвав причины?

Ишь чего захотела: кружиться в танце,
Отнимая внимание у элиты!
Вместо бального платья — надевай-ка панцирь:
если козыри биты,

защищайся, как зверь, отражай атаки!
Это роль не твоя? Перепутал к ночи?!
Может, всё же не бал, а немного драки?..
А впрочем, впрочем...

АЛЛЮЗОРНОСТЬ

А вот цифры в столбик записать если,
и потом правильно их прочитать,
то даже математика, наверно, превратится в поэзию:
11, 150,
13, 125...

А бывает, что из буквочек сложили строчки
в столбик, пространство ими прорезывая,
но стихи в результате выходят не очень,
т.е. стихи-то выходят — но без поэзии,

хотя они и хватаются лапками цепкими,
и фразами в критиков бросаются суровыми,
мол, чего ещё? Откупа надо какого ей?
Это я о том, что никакими рецептами
не изготовить себе, братцы, венки лавровые.

И пиши ты хоть буквами, хоть чертами или резами,
всё одно потом расхлёбывать словесную кашницу..
А читатель фыркает: фи, стихи о поэтах и поэзии!
Это в нынешнее время моветон, кажется...

Но что бы там читатели привередливо не итожили,
гадая по письменам, как погани суще,
где — в сплетении слов затаилась «скрепочка божия»,
есть ли она, или вовсе сюда не вложена
(кстати, попробуйте цифрами зарифмовать, например, «гущу»:

не получится! А словами — рифмуй, и лучше заживо,
вот так, как они вдруг рождаются, начерно,
хочешь — «мальчика скорчившегося» Микеланджело,
хочешь — вообще всё, что на язык схвачено)...

(Ох, длинное предложение. Пожалуй, вернусь к истоку,
а то заморочила всех словесным своим барокко...)

Итак, читатель весь в поисках смысла сего говорения,
той «скрепочки божией», которая дух и букву в одно сжимает?
А может, и нет смысла... Блуждает в потёмках чьего-то гения
идея. Бесформенная. Но живая...

ОТТЕПЕЛЬ

В.Д.

Вечер ласкает светом, кристалит на лужах лёд,
делает жёстче тени и мягче лица...
Ты говоришь о снеге — и снег идёт!
Страшно подумать, до чего так можно договориться...

Было, ведь это было, даже почти сбылось:
мы проверяли слова на силу — и радовались, как дети!
Время земля наматывает на ось,
а как отмотать — удерживает в секрете.

И вот наступила зима — без снега. Как будто и нет зимы.
Ты про неё молчишь, потому что *от* теперь —
от стихов, от жены, от мира слова куда-то унесены...
И зима не приходит. Всюду оттепель, оттепель, оттепель...

* * *

Бывает такое счастье,
такой неземной полёт,
что всё — не объять, а частью
Всевышний не выдаёт...

И мечешься, ищешь выход,
рыданья зажав в горсти!
А Он улыбнётся тихо:
расти до него, расти...

С ФЕДОТА НА ЯКОВА

Вкус жизни и возраст обычно приходят вместе:
такой вот коктейль, в котором и дар, и грех...
Нас время стирает, как буквы на палимпсесте,
и новый текст записывает поверх.

Меняет стилистику. В сторону нарратива.
Рисует штампы, шепча: «сокровенный клад!»
Да лишь бы чернил подольше ему хватило...
Хотя... А если был бы иной расклад?

Представь, что мы начинаем отсчёт с конца,
с морщин и пятен старческого лица,
с дрожанья рук, выстрелов в пояснице.
С того, что кто-то всё нам уже сказал,
и хоть неверны шаги и мутны глаза,
но вскоре им начертано проясниться...

И опыт будет таять, но пока ты знаешь,
Кого обретёшь, кого, увы, потеряешь.

И каждый день, многослойный, что канапе,
ты будешь на шпажки нанизывать и т.п.
Не брать у дней ты будешь, а возмещать им.
Вернутся зубы, волосы. А в конце
они исчезнут снова. И на лице
младенческом отразится немое счастье...

Ведь жизнь, она, говорят, не кончается: якобы
переходит, как та икота, с федота на якова.
А потом, я слышала, как знающий говорил кто-то,
обнуляется и снова — с якова на федота...



Михаил БАРАНЧИК

/ Минск /

* * *

Я не по Торе жил, не по Корану,
Своей эпохи не ценил масштабы.
Но сильным мира я не пел осанну,
И не смеялся никогда над слабым.

Я верил, что зима сменяет осень,
Что море, несомненно, лучше суши,
Что Бог, конечно, этот мир не бросит,
И Свет придёт в больные наши души.

Что этим миром мир давно заслужен,
И что любовь — не вымысел, не байки.
Я верил, что стране любимой нужен
Не только в виде болтика иль гайки.

Наверно, знал, что молодость не вечна.
Но думал — ну какие наши годы?
Когда-то я уверовал беспечно,
Что нету ничего ценней свободы.

Я верил в то, что счастье бродит рядом,
Что мы с годами станем все мудрее.
И лились строчки звонким водопадом,
Мир хоть немного делая добрее.

Казалось, мне диктует кто-то свыше.
И я открыть смогу любые двери...
Но Тот, кто выше нас — давно не пишет.
Поскольку сам в себя уже не верит.

06.12.2019

ПРОСТО КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО

Вот и сентябрь на исходе. Суровый, поджарый.
В пальцах озябших упрямо чадит сигарета.
Гроздья рябины во тьме полыхают пожаром.
Это не осень ещё — просто кончилось лето.

Пусть по утрам замерзают от холода травы
Поздних цветов разноцветье ещё не воспето.
Поздней любви намешает нам осень отраву.
Это не осень пока — просто кончилось лето.

Снова погоды прогноз нам грозит холодами,
Только тепло до сих пор ещё прячется где-то.
Кто там решил, что душа моя скована льдами?
Это не осень ещё — просто кончилось лето.

Может, неделя промчится — и ляжет на травы
Красно-красный ковёр из цветов бересклета.
Осень у лета своё отбирает по праву.
Только не осень ещё — просто кончилось лето.

Город застыл от дыханья сурового норда,
В небе продрогшем звезда ожидает рассвета.
В песне моей не хватает сегодня аккорда.
Это не осень ещё — просто кончилось лето.

Пусть погребальный сюртук мне скроила портниха,
Только упрямо твержу — моя песня не спета.
Бес мой притих, и в ребре подозрительно тихо —
Это не осень пока — просто кончилось лето.

28.09.19

* * *

Река плывёт куда-то за закат,
День провожает птичье песнопенье.
Я жил то второпях, то невпопад,
И плыл туда, куда несло течение.

Плывут в края иные облака —
А я останусь в этой глухомани.
Я не по нотам пел наверняка,
Бродил по жизни ёжиком в тумане.

За ближним лесом ухает сова —
Кого — пугает, а кому — пророчит.
Вступает ночь уже в свои права —
Я тоже полноправный житель ночи.

Ночь солнце запирает на засов,
В своё всесилье веруя беспечно.
Мне шепчет лес на сотню голосов
О счастье. И ещё о чём-то вечном.

А ночью сосны плачут янтарём.
Но лес, как и Москва, слезам не верит.
Я шёл по жизни вечным бунтарём,
И бился лбом в незапертые двери.

Пусть звёзды с изумлением глядят —
Но я не поддаюсь уже лечению.
Нам завтра плыть. И нет пути назад.
И что с того, что снова по течению?

Уже луна исчезла вдалеке,
И звёзды в небе тают постепенно.
Нам снова плыть куда-то по реке,
Затерянной навечно во вселенной.

Август 2019

* * *

Со старой фотографии глядят
Красавиц школьных пламенные взгляды.
Мальчишки скромно рядышком стоят,
И наше детство бродит где-то рядом.

Теперь ну разве только интернет
Подарит нам нечаянную встречу.
Кого-то с нами много лет как нет,
А те — в иных краях живут далече.

Но нас запомнил старый школьный двор.
А нам не распознать по всем приметам:
Тот станет музыкантом, этот — вор,
А тот, представь, окажется поэтом.

Жаль, не вернуть нам школьные года —
Съедает годы жадный век-бездельник...

Как мы в «орлянку» резались тогда!
Сперва — на интерес, потом — на деньги.

А на руке записан телефон
Девчонки из соседнего квартала.
То не любовь была — играл гормон,
Но нам тогда для подвигов хватало.

За взгляд один её бездонных глаз,
Или за фразу «тили-тили-тесто»
Не раз дрались за школой «раз на раз» —
Такой вот был пацанский кодекс чести.

И пили мы «Небесную лазурь» —
Ах, как красиво названы «чернила».
Вот только, честно, не курили «дурь» —
Поскольку дури нам своей хватило.

По моде расклешённые штаны.
В карманах — то конфеты, то кастеты.
Из приблатнённой дворовой шпаны
Произросли и воры, и поэты.

18.09.18

ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ

Наш век погряз в словесной перепалке,
Уже вождей сдают в металлолом...
А я припомнил — раньше каждом парке
Всегда стояла «Девушка с веслом».

Студентка, комсомолка и спортсменка-
Да всех достоинств и не перечить.
И грудь крепка, и круглая коленка —
Эпохи нашей совесть, ум и честь.

Мы к ней тогда привыкли понемногу,
Не понимали — сдуру иль со зла:
Нам не Ильич указывал дорогу —
Она веслом к победам нас звала!

Дзержинских, Ильчей совсем не жалко —
Убрали с площадей — и поделом.
Вот только жаль, что из дворов и парков,
Убрали также «Девушку с веслом».

Невзгоды со страной делила стойко.
И пусть из гипса — крепче не найти.
А вот убрали — вышла перестройка.
И как-то сбились с верного пути.

Нарушились эпохи ориентиры,
И ценностей нарушена шкала,
И всё никак не залатаем дыры,
И трудно плыть по жизни без весла...

Наелись мы уже идей бредовых,
И времена не балуют теплом.
Прошу вас, вместо всех дворцов ледовых
Верните в парки девушку с веслом.

Ведь согласитесь — всё-таки красиво.
Понравится и юным, и седым.
Верните нам — и тучи негатива
По-над страной развеются как дым.

Её вернёте — и вернётся вера,
И к счастью вновь продолжится полёт.
А грудь ей сделать третьего размера —
Она дорогу грудью нам пробьёт.

И отречёмся от эпохи-дуры,
Где только марши с гимнами поют...
А если жалко вам вернуть скульптуру —
Так хоть верните молодость мою.

02.07.17

Илья ИМАЗИН

/ Ростов-на-Дону /



ЁЖИК ФИЛИМОН, ИЛИ СКАЗКА НА ВЫРОСТ

Эта история — про ёжика, научившегося читать.

И действительно, жил на свете такой примечательный ёжик и довелось ему чудесным образом прочесть несколько страниц, что для человека не так уж и много, но для лесного жителя — поверьте, немало.

Было бы в корне неверно утверждать, что занятие это — чтение — является для ёжиков чем-то необходимым и жизненно важным, без чего не выьёшься в люди, в смысле, в ёжики. Куда важнее научиться быстро и ловко (т.е. шустро) накалывать спелые лесные ягоды на иголки или различать сорта разбросанных повсюду сосновых шишек по запаху (от шишек ёжику в гастрономическом отношении, конечно, меньше проку, чем от ягод и грибов, но шишки служат условными знаками — метками и ориентирами).

И, разумеется, ёжику куда важнее знать, как, каким путём и каким манёвром, улизнуть от хитрой лисы, чем разбираться со всякими буквами. Поэтому ёжиков не учат читать в школе и даже не заставляют делать это в продлёнке. Ёжики — причём, совершенно осмысленно — тратят уйму времени, чтобы научиться ловко выгибаться, изворачиваться, отбрыкиваться, грозно фыркать, топорщить иголки под определённым углом и мгновенно сворачиваться клубком. Из сказанного следует, что ежей мы можем вполне обоснованно уподобить представителям дописьменных цивилизаций, либо сгинувших во мраке столетий, либо упрянтанных в позабытых христианским Богом уголках нашей планеты.

При этом ежи — народ очень смысленный: из них любой сызмальства знает, к примеру, разницу между «принюхаться», «понюхать» и «обнюхивать». *Принюхиваются* к текучей изменчивости жизни, стремясь уловить в ней запахи, служащие сигналами или телеграфными посланиями; *принюхиваются* ко всему, что приносит «ветер перемен». *Нюхают* же нечто конкретное, определённое, хотя и

незнакомое, а потому потенциально чужое, неприятное или опасное, от чего, возможно, уже через миг придётся со страхом или брезгливостью отдёрнуть мягкий и крайне чувствительный нос. И это отдёргивание, отстранение изначально, как ощутимая вероятность, заключено в глаголе «понюхать». А вот *обнюхивать* следует то, что может в ходе дальнейшего знакомства оказаться «своим». Обнюхивать значит знакомиться, осваиваться, готовиться сказать «ты». В ритуале обоюдного обнюхивания — всегда надежда. На узнавание и признание.

Согласитесь, в таком различии есть уже что-то от культуры, какие-то её предпосылки, зачатки.

Больше того, один очень умный, изобретательный ёжик оставил потомкам чёткие указания, которые многие тысячелетия передаются от поколения к поколению посредством замысловатого и для человека непостижимого, невоспроизводимого посапывания: носик к носику, ноздря в ноздю. Именно так, с помощью специального кода переходит от старших к младшим и от посвящённых к несведущим знание о том, что следует делать незадачливому ёжику, — а это, замечу, сложный комплекс мельчайших движений, — когда лисица коварно и подло катит его к водоёму. Но чтобы уяснить эти простые инструкции, ежам не нужно знать буквы и понимать слова. Как и для того, чтобы получать свежие лесные новости, должностные назначения, экстренные сообщения или поздравления с праздниками. Хватает и других ухищрений. Тех же шишек, разложенных в определённом порядке.

Итак, ёжики не читают. Ни Гомера, ни комиксов, ни Пруста, ни дамских романов. А ведь могли бы при известных обстоятельствах научиться читать. В доказательство — эта история.

Ёжик, о котором пойдёт речь, — назовём его Филимон, — был юн и не успел проявить какие-либо незаурядные способности. Его педагоги сказали бы о нём, что он просто «способный», но отнюдь не талантливый. К любой его характеристике легко можно было добавить эпитет «средний», и он всегда оказывался посередке между своими умственно отсталыми сородичами и подающими надежды талантами. И середина эта не золотая, а скорее серая. Однако «серость» и «неприметность» — в менталитете ёжиков качества очень даже положительные, почти достоинства, так что Филимону не нужно было ничего доказывать себе или другим и, в общем-то, не к чему было стремиться.

Родители Филимона — простые служащие; неприметность поощрялась и культивировалась в его семье, именуясь скромностью. В филимоновой родословной не отыщешь великих полководцев (что неудивительно: ёжикам не с кем и некогда воевать, да и междоусобицы для них нехарактерны); не было в роду его гениев, не было безумцев: поэтов, изобретателей, законотворцев. Дедушка Филимона учил: чем меньше шумишь, тем дольше живёшь. Не бог весть, какая житейская мудрость, скажете вы. Так ведь ёжикам мудрствовать не пристало: они всецело поглощены проблемами выживания.

Филимон отличался всё же одной исключительной особенностью, по мнению его родичей, не только странной, но и вредной. Он мог идти и вдруг забыть, куда это, собственно, направляется, и в таком забытии следовать всё дальше и дальше — в никуда. Не раз приходилось ему опомниться в отдалённой и глухой части леса, — слава Богу, не за его пределами, скажем, в огороде какого-нибудь хуторянина, в страшном и чуждом мире людей. И вот, придя в себя, Филимон оставшуюся половину дня, — а все его искали, волновались, — добирался домой по собственным следам, которые различал по запаху (в отличие от человека, ежи к своему запаху не привыкают и легко его распознают в мешанине прочих ароматов).

За эту привычку бродяжничать Филимона окрестили «перекати-поле». Владей наш ёжик навыками картографа, он проложил бы немало новых маршрутов и мог бы водить экспедиции по местам своих спонтанных путешествий. Но Филимон не способен был определить даже направление беспечной прогулки: южное? Юго-восточное? Или же очередная волна скитаний отнесла его на северо-запад? Он не слишком уверенно ориентировался на местности.

Община ёжиков, к которой принадлежали родители и предки Филимона, веками проживала в сосновом бору. Лесные ёжики во многом отличаются от полян. Они не любят яркий солнечный свет, заставляющий щуриться, зато, как люди мех, очень ценят мох, мягкий и влажный или высушенный и бархатистый, служащий для отделки жилища и в качестве губки для умывания. Жилища у лесных ёжиков характерные, полянам таких не построить: это утеплённые норы, выложенные мхом и по форме напоминающие пятерню. «Большой оттопыренный палец» — спальня родителей, «ладонь» — место общего сбора, и ещё четыре детские комнаты, вытянутые, как фаланги. (У лесных ёжиков, что тоже характерно, редко бывает больше трёх-четырёх детей; у Филимона было три сестры: две старшие и одна, задиристая, младшая.) Меня не покидает предположение, что первоначально словосочетание «ежовые рукавицы» означало такие вот жилища. Наверное, кто-нибудь из наблюдательных охотников или егерей ввёл его в обиход, а уж после, в нелучшие времена, оно получило привычное для нас переносное значение.

Ёжики очень любят свои тёплые и уютные «ежовые рукавицы», и как бы далеко ни отлучился ёжик, внутреннее чутье всегда приведёт его к родному устланному мхом порогу.

И один только Филимон, непутёвый бедолага, с его манией бродить за версту от дома, умудрился-таки заблудиться. А случилось это, что вдвойне неприятно, зимой, в суровый мороз, когда у ёжиков резко притупляется обоняние, и им «строжайше не рекомендуется» (так любил выражаться дедушка Филимона) удаляться от места постоянного проживания больше чем на 15–20 кувырков. Филимон толком не умел ни считать, ни кувыркаться, а потому забрёл Бог весть куда.

У самой кромки леса он вдруг понял, с ужасом осознал, что находится неведомо где. Нюх уже не различал только что оставленных

Филимоном следов, по которым можно было, с грехом пополам, выбраться на привычную для него тропу. Ни одной опознавательной шишки. Принюхиваться к заиндевелой коре, тронутым морозом веточкам елей или к сугробам было бесполезно, да и неприятно: у холода неопределенный запах — безразличия. Филимон, оказавшись в совершенно неизвестном месте, впервые не узнал самого себя или, точнее сказать, не нашёл себя в мире. Мир, в общем-то, был тот же, незыблемый, постоянный, непостижимый, — те же мощные стволы, раскинувшиеся ветви, покрытые сверкающим снегом, кусты, рыжий промельк белки, возможность лисы, — но: Филимон не мог дать ответ, кто он здесь. Родители и сёстры, мудрый дедушка находились далеко, в другой реальности. Школьные товарищи, наверняка, кувыркались сейчас или носом подбрасывали шишки поблизости от своих нор. Никто из них не мог оказаться в этой глуши, ибо здесь обрывался освоенный ёжиками универсум, старательно выстроенная ими Ойкумена. И Филимону здесь не было места, а значит, он как будто и не существовал вовсе. Безвидность и пустота? Не совсем. Скорее, невнятность примет и какая-то принципиальная необязательность, даже нежелательность твоего присутствия. Ты словно в минусе, а то и вовсе сведён на нет.

Филимон оцепенел от такого неузнавания себя и вскоре замёрз. Чтобы согреть озябшие лапки, он свернулся в клубок — это у ёжиков «поза зародыша» — и погрузился в сон. Сначала иголки его заиндевели, потом заледенели и позвякивали, точно сосульки, стоило ёжику пошевелиться. Филимону пригрезился оставшийся в норке под его подушкой и закутанный в мох подсохший опёнок. Во сне ёжик пытался дотянуться до него самым кончиком носа, но в последний миг какой-то щелчок вынуждал его отпрянуть. Сие повторялось вновь и вновь, как наваждение.

В зимнем лесу всё совсем не так, как в летнем, — это иной космос. В нём есть угодки заколдованные, куда лучше не соваться, и все опытные животные знают об этом, вернее, чуют и обходят их стороной. А летом там самая спелая ежевика, и первыми, не боясь развеявшихся зимних чар, туда устремляются трусливейшие из трусливых — зайцы.

Зима для всех лесных обитателей — пора испытаний и предосторожностей. Надеяться приходится только на собственные глаза и уши, лапы и иглы, скудные съестные запасы да отложения подкожного жира. Январь — это тебе не август, когда на пути сам собой появляется гриб или россыпь спелых ягод. Но Филимон об этом позабыл, и теперь древняя мудрость вертелась в его тяжёлой, наполненной гулом сна голове: прежде чем направляться туда, где тебя нет, пойми, где ты есть.

Зима в лесу — это что-то вроде колдовства: вдруг под снегом обнаруживается морошка, или в проталине — подслащенная вода, или резко идёт на спад мороз, а меж ветвей — прищур солнца.

Филимону повезло. Он не успел превратиться в ледышку, а все потому, что жевал какую-то не то хвойную веточку, не то ягоду, ко-

торую прежде раскромсал клюв закоченевшего снегиря; движения челюстей и бессвязное бормотание помогли сохранить остатки живого тепла в уже было выстуженных косточках Филимона. Он ухитрялся таким способом поддерживать в себе слабеющий огонёк жизни до той самой минуты, когда его совершенно случайно нашёл человек.

* * *

Савелий Петрович (Савелий, как представлялся он сам, и Петрович, как окрестили его немногочисленные соседи, не знавшие, что это не истинное имя-отчество, но причуда — «дачный псевдоним») любил прогулки в зимних сумерках по хрустящему снегу, в безмолвии и зачарованности леса. Когда-то работал он егерем, а ныне искал себя на литературном поприще; первое занятие он выбрал, потому что сулило оно свободу, и сладкое одиночество, и единенье с Природой; а вот в писательстве, как вскоре убедился Савелий, всегда зависишь от разумения и предпочтений других людей, в первую очередь, редакторов и издателей. Савелий писал, не пытаясь опубликовать написанное, но складывая в ящик письменного стола и оставляя на титуле шутиливую пометку «до востребования».

Савелий Петрович в очередной раз прибыл в эти места в конце ноября ради жизни плодотворной и смиренной, протекающей в чтении книг и в писании собственной книги, за которую он принимался уже не раз. То должна была быть — или, точнее сказать, замышлялась, — книга о страхе, о стремлении потерять себя, чтобы обрести, посреди небытия, в самом сердце ночи. Впрочем, из всего, ранее написанного, эскизно набросанного, пунктирно намеченного, Савелия удовлетворяло, не вызывая сомнений, только название — «Роман о некоем Вездегосте».

«Гостить везде» — в этом слышалось какое-то подобие жизненной философии, вдохновителем которой мог быть, к примеру, Эразм Роттердамский, изрекший: «Все мы гости на этой земле, а не жители». Куда бы ни забросила нас судьба, мы всюду гостим, везде гости.

Стремясь передать эту ключевую идею графическими средствами, Савелий придумал даже специальный иероглиф, смахивающий на китайский, — такое же муравьиное копошение мелких чёрточек — и означающий «Тот, кто бродит повсюду». Его Савелий планировал поместить на обложке — очень эффектно: чёрный на белом льняном фоне. Фактура обложки — «лён» — была важнейшим и неотъемлемым элементом замысла, от которого Савелий ни за что бы не отказался, — вот до чего он был дотошный и мелочно-педантичный.

Возможно, поэтому ему не удавалось дописать начатое до конца — процесс писания бесконечно дробился, всплывали всё новые нюансы и подробности, отдалявшие кульминацию, финал — подобное писательство могло бы послужить мотивом для ещё одной апории Зенона.

Другой роман Савелия, так и не получивший окончательного названия — на титульном листе автор сперва написал, а затем зачерк-

нул «Узы близости» — также обрёл обложку раньше, чем был завершён, — а завершён-то, собственно и не был. Черновые наброски, перемежающиеся с умышленно оставляемыми пробелами, зияющими пустотами, оказались в изящной упаковке: под предполагавшимся названием — «обязательно из двух слов!» — Савелий поместил аккуратно вырезанную репродукцию картины Босха «Царство земное» — тот её фрагмент, на котором была запечатлена пара влюблённых, уютно расположившихся под куполом одуванчика. А ниже, под этой идиллией, отвратительная крыса (словно выскочившая из романа Оруэлла «1984») по прозрачной стеклянной трубке приближалась к лицу замурованного человека. «Всегда ли в любви двоих страдает третий?» — сам Савелий, конечно, не задавался таким нелепым вопросом, но планировал вынести его в заголовок третьей главы.

* * *

Филимону потребовалось двое суток, чтобы оттаять на мягкой, вышитой азиатским узором подушечке у камина. Ещё день ушёл на адаптацию. Очнувшись, Филимон был ошеломлён резкой сменой обстановки; кряду 10 или 12 долгих, вялотекущих часов провёл он уже оттаявший, в оцепенении, стараясь отойти от этого внезапного потрясения. Шелохнуться — значит признать новый мир действительным и вместе с тем нанести предательский удар, ущерб тому, привычному, но потерянному или покинутому миру. Значит одним движением согретой лапы перечеркнуть туманные образы мамы, папы, сестёр, строгие заветы бабушки, запахи леса и всё, чему учили в лесной школе.

Мир не должен был быть таким, ведь в этой своей версии он попросту не умещался в границы разумного и объяснимого.

Филимон не знал, что письменный стол — это письменный стол, камин — соответственно, камин, а «Охотники на привале» — сделанная местным умельцем копия известной картины в деревянной раме на стене, и всё это так характерно для дачного домика. Филимон не понимал, зачем нужны все эти странные, неизвестные ему предметы, для чего они собраны в одном тёплом месте и почему их так много. Подсушенные на солнце грибы или — зимой — мороженые ягоды в специальных ямках, выложенных лоскутками мха, — это понятно, без вопросов. Но человек, принесший его сюда с лютого мороза, почему-то не довольствовался этим и нуждался в каких-то немислимым нагромождениях.

Да и, собственно, кто он — человек? И чего от него ждать? Могли ёжик, к тому же непутёвый, неопытный, знать ответы на эти вопросы?

Конечно, до него доходили предания об этих таинственных полумифических существах, живущих по ту сторону леса. Слову «человек» в лексиконе ёжиков соответствует весьма замысловатое сопение: сначала воздух быстро и отрывисто, три раза втягивается

левой ноздрей, а затем непрерывно и медленно выдыхается через правую. Много ли узнаешь о людях вот так, вхолостую, гоня ноздрями воздух?

Впрочем, мы не можем с уверенностью утверждать, что наш ёжик узнал в Савелии человека. Ведь Филимон ни разу не видел людей. Слушать же пустые рассказы о них, подкреплённые вымыслами и домыслами, — совсем другое дело. Что ни говори, а у Филимона не было никаких зацепок, и мысль его блуждала в темноте, не находя привычных троп и утешительных объяснений.

Меж тем Савелий Петрович уютно расположился за письменным столом. Свет настольной лампы очертил круг в кипе его бумаг, в самой гуще недовершённых замыслов. Он достал из пачки сигарету, с минуту подержал её в застывшей, словно онемевшей руке, глядя перед собой ничего не видящим, непроницаемым взглядом... затем отложил. Вздохнул. Сдул со стола крупинки табака и потянулся за книгой (какое-то карманное издание). Открыл её. Пролистнул несколько страниц, после чего неожиданно обернулся к оттаявшему Филимону и спросил: «Согрелся?».

Филимон воспринял его вопрос как до предела укороченный ритуал ознакомительного обнюхивания, ритуал, в котором в силу его стремительности сам ёжик не успел, да и, — учитывая разделявшее их с Савелием расстояние, — при всём желании не смог бы принять участие. Весьма неделикатно. Не то вызов, не то неуместная демонстрация силы и могущества. Ёжик насторожился.

А Савелий подмигнул ему, как старому приятелю, и, улыбнувшись, промолвил: «Сейчас я тебе почитаю», — и добавил: «Тебе ведь, конечно, никто никогда ничего не читал».

«Великий Холод, свидетельствуют историки, превосходил суровостью все холода, когда-либо выпадавшие на долю этих островов. Птицы гибли на лету и камнем падали на землю. В Норвиче одна молодая крестьянка, пустившись через дорогу во всегданшем своём крепком здравии, при всём честном народе была застигнута на углу ледяным вихрем, обращена в пыль и в таком виде взметена над крышами. Смертность среди овец и крупного рогатого скота достигла небывалых показателей. Трупы промерзали так, что их не удавалось отодрать от почвы. Нередко приходилось видеть на дорогах недвижимые стада замороженных свиней. В полях то и дело попадались пастухи, крестьяне, табуны коней, мальчишки, пугавшие птиц, в мгновение ока загубленные морозом: кто ковыряя в носу, кто прикладываясь к бутылке, кто целясь камнем в ворону, которая, в свою очередь, чучелом торчала на ограде в метре от него. Мороз так свирепствовал, что его следствием порой являлось некое окаменение; полагали, что множеством новых скал в известных своих частях Дербишир обязан вовсе не извержению вулкана, ибо такового не наблюдалось, но отвердению несчастных путников, в буквальном смысле слова застывших в пути. Церковь ничего не могла поделать, и хотя кое-кто из землевладельцев читл эти останки, большинство предпочитало их

использовать как межевые вехи, указательные столбы или, когда форма камня позволяла, корыта для скота, каковым целям они, по большей части превосходно, служат и поныне».

Ёжик внимательно всматривался в лицо Савелия, когда тот издавал все эти звуки. Их было много, как и предметов в комнате, их становилось всё больше, но из них при всём желании невозможно было извлечь что-либо понятное или знакомое. Филимон почувствовал, как к нему возвращается озноб, и, стремясь сохранить крупницы тепла, стал сжиматься в дрожащий колючий комочек — некий замкнутый самодовлеющий микрокосм.

«Но пока сельский люд страдал от лютых бедствий, и жизнь в глуши застопорилась, Лондон предавался пышным празднествам. Двор находился в Гринвиче, и новый король, придравшись к коронации, решил наладить отношения с народом. Он повелел, чтобы реку, промёрзшую на двадцать футов в глубину и в обе стороны на шесть-семь миль, расчистили, изукрасили и превратили в увеселительный парк с беседками, лабиринтами, аллеями, питейными киосками и прочая и прочая — всё на его счёт. Для себя и придворных он выговорил известное пространство прямо против дворцовых ворот, какое, отгороженное от публики всего лишь шёлковой лентой, тотчас сделалось средоточием самого блистательного общества Англии. Важные государственные мужи в жабо и бородах вершили судьбы отечества под малиновым навесом королевской пагоды. Военачальники замыслили паденье мавра и разгром турчанина в полосатых шатрах, венчаных страусовыми перьями. Адмиралы важно ступали по узким тропкам, с бокалами в руках, озирая горизонт и рассуждая о северо-западном походе и испанской Армаде. Возлюбленные пары амурились на соболями устланных диванах. Мерзлые розы градом сыпались на королеву, гулявшую в сопровождении придворных дам. Разноцветные шары недвижно парили в воздухе. Там и сям пылали в огромных праздничных кострах дубовые и кедровые поленья, густо посыпанные солью, так что пламя казалось зелёные, рыжие, лиловые языки. Но как ни жарко горело, оно не могло растопить лёд, который при небывалой своей прозрачности мог твёрдостью поспорить со сталью. Так прозрачен был лёд, что на глубине нескольких футов можно было разглядеть где застывшего дельфина, где форель. Невдвигно лежали косяки угрей, и вопрос о том, состояние ли это смерти или лежало лишь забытья, из которого могло бы вывести тепло, терзал мыслителей. Близ Лондонского моста, там, где река промёрзла саженой на двадцать, на дне была отчётливо видна баржа, затонувшая осенью под неподъёмным грузом яблок. Старуха маркитантка, поспешавшая с товаром на суррейскую сторону, на рынок, сидела в своих платках и фижмах, с яблоками в подоле, и можно было бы поклясться, что она их предлагает покупателю, если бы некоторая голубоватость губ не выдавала горестную правду. Это зрелище особенно развлекало короля Якова, и он приводил сюда придворных на него полюбоваться. Словом, трудно передать, как весело и живописно

тут было днём. Но по ночам праздничное настроение достигало высшей точки. Ибо мороз не отпускал; ночи стояли тихие; луна и звёзды сверкали с упорством бриллиантов, и под нежные звуки гобоев и лютней двор танцевал».

— Я как будто заморозил тебя своим чтением, и ты опять до прожилок продрог. Эк, какой ты впечатлительный... и трусливый. Подвигался бы немного, движение лучше всего согревает...

Филимон напомнил Савелию старый футбольный мяч, пробитый и выброшенный мальчишками, тот самый, который когда-то совсем ещё маленький, хлипкий Савелий-первоклассник, разбрызгивая грязь, подбрасывал, пинал то правой, то левой ногой в часы своего одиночества на огромном школьном дворе...

— До чего же ты смешной, беззащитный, несмотря на все твои иголки! Почему Природа или Бог, или оба они, сообщая, вооружают нас и, одновременно, делают такими уязвимыми? Пожалуй, это стоит записать, — и Савелий потянулся за блокнотом и карандашом, которые заранее отложил на сей случай.

Филимон в первый раз смог уяснить общий смысл его слов. Смесь иронии и жалости. Но в этом не было противопоставления, высокомерия или насмешки. Скорее признание общности, сходства. И что-то от товарищества. Да, так добродушно посмеиваться над тобой может лишь товарищ, терпимый к твоим слабостям, узнающий в них свои.

Ёжик почувствовал облегчение.

Он закрыл глаза и погрузился в полудрёму, и увидел лес, и сплетение ветвей, и в просвете — фрагмент неба, синий, разорванный, точно негодная фотокарточка, не то молнией, не то ветвистыми рогами оленя. Он почувствовал, как его лапка наступает на лужу, скользит по ледяной корке, намокает, мёрзнет, дрожит. В глаза его сладкой кровью хлынул сок лесных ягод, лопнувших от собственной спелости. В лабиринте меж оттопыренных иголок плутал самонадеянным Тезеем муравей, свалившийся с колышущейся ветки. Даже запах лисицы казался родным и приятно щекотал ноздри. И, конечно, куропатки, и шумный недалёкий тетерев — умора, до полубоморока смешивший его своими повадками, а ещё ритуалы утреннего умывания и благодарения Солнцу, собиравшие вместе всю мелкую безобидную лесную живность в те благословенные часы, когда даже самые коварные хищники воздерживались от охоты...

* * *

Наступило утро. Солнце косою шафрановою полосой, как в одном неизвестном ёжику чудесном стихотворении, растянулось на полу от занавеси до дивана. Филимон осознал, что голоден. Это означало одно: он наконец-то ожил. «Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась...». Он не знал, какая сила выхвати-

ла его из привычного течения событий, не знал, не помнил, не понимал, как оказался здесь, в этом чуждом мире, где ему суждено было родиться второй раз.

Филимонов нос тем временем внимательно исследовал пространство. Нос ёжика куда более зоркий, цепкий и пронизательный, чем человеческий глаз; ему удалось уловить то, что для глаза неуловимо: слабый, призрачный запах пищи. Филимон последовал за собственным носом, как слепец за поводырём... И вот он уже с упоением обнюхивал горку грибов, залитых расплавленным сыром, вперемежку с черносливом и сухофруктами. После стольких странствий немудрено нагулять аппетит. Ёжик принялся утолять голод с каким-то прежде неведомым умилением, нежно посапывая, выводя неслышную для уха человеческого мелодию блаженства. Ему казалось, что он не просто ест, но кормит самого себя, словно малого ребёнка.

Савелий Петрович, сидя на корточках в сторонке, тихонько наблюдал за этим скромным пиришеством.

С появлением ёжика, несомненно, что-то изменилось в его размеренной, унылой и монотонной сельской жизни. Когда этот комочек оттаял, в доме повеяло молодостью и весной. В воздухе чувствовалось оживление; воцарились игривое настроение и беззаботность — та беззаботность, при которой так приятно и легко о ком-нибудь заботиться. Сами собой стали всплывать образы и прозвища других питомцев: кошек, черепах, хомячков, кроликов, когда-либо украшавших своим ненавязчивым присутствием земное существование Савелия.

Савелий вспомнил кота Себастьяна, огромного и пушистого, всегда тёплого, как нагретый чайник, и никогда не выпускавшего когти. Вспомнил, как Себа играл однажды бутоном засохшей розы, а затем запрятал его в Савелиев ботинок. Истлевшие лепестки рассыпались на мелкие частицы, влипшиеся в ткань шерстяного носка... забавный сюрприз, что-то вроде дружеской шутки.

Савелию вспомнился крольчатник в его детском саду, служивший благородной воспитательной цели — привить малышне любовь к животным. Кролики казались серьёзными, задумчивыми. В их лицах была какая-то сосредоточенность и осмысленность, порою напряжённая, так что иного хотелось спросить: «О чём ты, дружок?»

Ещё в детстве он очень любил водяных черепах, для своей любви придумал причудливое имя Гризелла, похожее на очень красивое возвышенно-поэтическое слово «грёза», но вскоре от него отказался, потому что в нём слышалось также и «грязь», а Гризелла не была грязнулей и могла обидеться.

Животные дарили ему то, что он не мог получить, общаясь с людьми. Умиротворение. Безмятежность. Какое-то первозданно-наивное отношение к жизни, при котором диалог с ней не требовал мучительных усилий духа. Вот и теперь, наблюдая за Филимоном, — за тем, как Филимон тщательно и упоённо, в каком-то трогательном самозабвении обнюхивает шляпку гриба, словно желая лишний раз

убедиться в её достоверности, — Савелий чувствовал, что нервы его успокаиваются и приходят в порядок, что едва слышный гул далёкой душевной боли, кажется, стихает окончательно. Больше того, чувствовал, как в жилы вливается обновлённая кровь, как по всему телу циркулирует надежда на долгожданное возрождение и вдохновение. Шляпка гриба, шляпка гвоздя, шляпка дамы... Перед тем, как обнаружить Филимона в лесу, Савелий дошёл до предельной точки... нет-нет, вовсе не «так жить нельзя», ибо жизнь всецело ему подчинялась и была как никогда упорядочена, но... ощущалась исчерпанность, полнота снаружи и запустение внутри. Казалось бы, все внешние — материальные, бытовые, географические — обстоятельства выстроились наилучшим образом, и ни в чём не было недостатка, однако куда-то исчезли желания, устремления, чувства. Нужен был толчок, или прорыв, или всплеск... и это стало очевидно в то бестолковое утро.

«Жизнь упала как зарница, как в стакан воды ресница...», — бормотал Савелий, расхаживая по дому. Ухватиться было не за что, не писалось, не думалось, не грезилось; простые вещи казались далёкими, одинаково удалёнными, узор распадался на фрагменты, рассыпался как пыльный гербарий; как будто бы всё шло своим чередом и вместе с тем не клеилось, не складывалось в привычную последовательность событий. Савелий решил отправиться на прогулку в лес, взбодрить себя хрустом чистейшего белого снега и посвежевшим, румянощёким вернуться к завтраку.

Солнечный луч, отскочив рикошетом от сугроба, ослепил его. Глаза привыкали какое-то время к яростно-яркой белизне, и это было похоже на детство: вот так же он, девятилетний мальчик, вышел когда-то навстречу зиме в шубке «на рыбьем меху», в дырявых варежках на резинках, с санками, и снег был такой ослепительно белый, что стволы берёз сумеречно темнели на его пылающем фоне...

«Изогвавшись на корню, никого я не виню», — автоматически нашёптывали губы Савелия, когда он шёл через двор к припорошенной снегом калитке. Зубы его отбивали дробь не от холода даже, — он тепло оделся, — но от осознания, что зима воцарилась внутри, в нём самом, а не только снаружи. И теперь зима земли встретилась с зимой его души — так человек, подходя к зеркалу, встречается со своим отражением.

Он с трудом отворил калитку, — образовался невысокий сугроб, — покинул двор и неспешно побрёл по проселочной дороге в направлении леса. Его посетило желание прогуляться в окрестностях так и не написанного романа, побыть вездехостем. Некогда найденным в лесу посохом он начертил на снегу некогда придуманный иероглиф. Прищурившись, посмотрел на холодное зимнее солнце, затем глянул на него сквозь слюдяную пластинку льда, поднеся её к самому глазу, — оказалось, что на сей раз светило сощурилось, подмигнуло или моргнуло, — и снова пробормотал, тихо буркнул себе под нос: «...никого я не виню». «Не виню».

На ветках деревьев торжественно восседали многочисленные красногрудые снегири. Свою напыщенностью они напоминали всадников императорского эскорта, остановивших коней перед Высокими Вратами Семи Таинств для свершения церемониала. Но кто же был незримым Императором, кто принимал их парад? В Природе не было ответа, да Савелий и не искал его, по крайней мере, в этом лесу, по крайней мере, в это утро.

Стоит ли вообще вопрошать и тревожить Природу? А если и стоит, то о чём? Кто здесь главный? Кто это задумал? К чему всё идёт? И какой ответ от неё, невпопад задавая вопросы, мы рассчитываем получить? Впрочем... это не то... «не то, что мните вы, природа...».

Он хотел было записать эти и последующие неторопливые рассуждения, вернувшись домой с прогулки, но неожиданная находка отвлекла его, и всё начисто забылось, изгладилось, выветрилось из памяти.

Всё больше углубляясь в лес, Савелий Петрович ощущал ту бесприютность, в которой, собственно, и обнаруживает себя извечный разлад духа и плоти. Плоть зябла и желала тепла, дух, тоскуя по Абсолюту, сковывал её арктическим холодом. Телесный огонь стремился вырваться из ледяного оцепенения, из тесной кристаллической решётки — наружу, в жизнь; дух, избравший аскезу и отрешённость, с прометеевой дерзостью пытался приручить, заговорить огонь, обратить его в покорное, ручное тепло... «Проходя мимо кем-то разведённого и брошенного костра, — бормотал Савелий, — выхватить клочок тепла и нести его в ладони, не давая ему исчезнуть, угаснуть, замёрзнуть... и скомкать его уже у самой двери, на пороге другого тепла — домашнего, родного, по-матерински объёмлющего тебя...».

В этой точке его путанный монолог внезапно прервался, ибо наш герой наткнулся на заиндевшего Филимона. Внутри звонкой хрустальной сферы Савелий увидел стеснённое естество, крохотку, крупинку живого, мерцавшую и сжимавшуюся под натиском вечного льда; умалённую не лучшими обстоятельствами судьбу, что замерла, не смея шелохнуться, у самого обрыва. И судьба эта легко могла разместиться на его ладони.

Пока он нёс Филимона за пазухой, тот не подавал признаков жизни, находясь на границе, всех нас отделяющей от небытия. Ни жив, ни мёртв, или и мёртв, и жив одновременно, и здесь, и краешком лапы — или кончиком носа — уже по ту сторону рая. Только домашнее тепло окончательно пробудило в этой маленькой заледеневшей колючке слепую волю — жить, желать, действовать.

К полудню Филимон значительно приблизился к прежней своей телесности и напоминал уже не синеватый ледяной шар, а скорее лепёшку, пролежавшую несколько морозных дней и ночей на холодном подоконнике. С того момента Савелий Петрович и начал с ним разговаривать, да вот только Филимон какое-то время не слышал его...

...теперь же, в начале четвертого дня их знакомства, ёжик закончил со своей нехитрой трапезой и остался весьма доволен. Ему

особенно пришёлся по вкусу расплавленный сыр, — раньше не доводилось пробовать ничего подобного. Он почувствовал расположение к приютившему его хозяину, и голос последнего звучал теперь по-другому, словно оттаявшая мелодия, звуки которой разносят по дому тепло.

«Вкусно было?» — полюбопытствовал Савелий. — «Ты, я вижу, тоже любишь сыр. Вот и я жизни без него не мыслю».

Сыр был для Савелия важнейшим атрибутом благополучия, а его французские сорта почему-то ассоциировались с литературой, с писательским поприщем. «Хозяйка сырной горы» (мышь, разумеется), «Душа сыра», «Флобер, поедающий сыр» — рисунки с такими заголовками нередко появлялись на полях неоконченных рукописей Савелия Петровича. Он хотел даже написать шуточную энциклопедию сыров, в которой к описанию каждого конкретного сорта прилагалась бы вымышленная побасенка с участием одного или нескольких великих персонажей — что-то вроде «О роли сыра в мировой истории и культуре» или «Всемирная история сыра», в духе Борхеса. Филимон, ясное дело, не выстраивал столь сложных и разветвлённых ассоциаций — ему просто чертовски понравился вкус нового кушанья.

«Как всё-таки хорошо, — подумалось Филимону, — что нестерпимый холод, наконец, прекратился, и здесь так тепло и уютно; жаль только, что те, кто мне близок, теперь далеко от меня».

Эту горькую мысль не заешь даже самым вкусным в мире сыром.

«Ты как будто приуныл», — пронизательно заметил Савелий. — «Верно, скучаешь по своим?» Его вопрос был риторическим, то есть не требовал ответа. Однако Филимон ответил — он шумно выдохнул воздух, и вышло нечто среднее между вздохом и свистом; так лаконично у ежей принято выражать великое множество вещей: и согласие, и разочарование, и тоску, и безразличие, и сожаление, и облегчение, и... даже влюблённость. Савелия порадовал этот звук — первый отклик ёжика на его слова, и он вспомнил, как радуются родители невнятному младенческому лепету, вспомнил о дочери. Для неё находка Филимона была бы великим событием.

— У тебя наверняка есть родичи: родители, братья и сёстры. Они давно уже хватились и ищут тебя. Да и сам ты, конечно, хотел бы скорее вернуться в родной лес и оказаться дома. Вот только в такой мороз нам вряд ли удастся разыскать твою нору; поживи в этой, пока не потеплеет. Здесь, по крайней мере, не замёрзнешь и будешь сыт.

Филимону оставалось только согласиться. Савелий, однако, не ждал от него ни согласия, ни возражений. Сам он не чувствовал обречённости, которую несли в себе его слова, и как будто отказывал Филимону в способности ясно осознавать происходящее. Как человек, мыслящий реалистично, Савелий попросту не верил в характерное для ёжиков островковое самосознание, вовсе не стремящееся охватить собою Вселенную, но способное, тем не менее, задавать во-

просы и искать ответы. Если же он отказывал своему новому другу и гостю даже в зачатках осознанности, то зачем разговаривал с ним? Просто проговаривал вслух внутренний диалог? Странно!

Эти длинные витиеватые фразы, не предполагавшие ответной реакции, ставили Филимона в тупик. «Чего же он хочет от меня, если, издавая за короткий промежуток времени столько замысловатых звукосочетаний, даже не старается прислушаться и вникнуть в моё тщетное — ответное, точнее, безответное — сопение? Не могу же я постоянно, что есть сил гонять ноздрями воздух, чтобы быть услышанным? Кажется, он понимает только глубокие вздохи! Эдак я быстро измотаюсь...» И действительно, для ёжика сопеть с таким шумом — всё равно, что для человека постоянно разговаривать не своим обычным голосом, а криком во всё горло. Ни у кого сил не хватит.

Савелий закурил. «А знаешь ли ты, дружище, что такое хорошая папироса? Это тебе не...» Он не окончил. Его бесцельно блуждавший взгляд зацепился за пыльную паутину, свисавшую с потолка. Он давно позабыл вкус хороших папирос и перебивался сигаретами из местного ларька, набитыми дрянным табаком — во рту оставался привкус жжёной бумаги и никакого намёка на удовольствие. «Как можно скверным сигаретам давать название «Друг»? Разве такой должна быть настоящая дружба? Всё одно: курим дрянь и дружбой называем лицемерие... Не так ли?»

Савелий резко выдохнул и обдал ёжика облаком едкого дыма, что Филимону уже определённо не понравилось; он впервые всерьёз подумал о том, как было бы здорово вновь оказаться сейчас в лесу и стремительными кувырками возвращаться домой... домой.

Но ведь в лесу нестерпимо холодно, а дорога домой позабыта.

Да уж... как говорится, «домой возврата нет»...

Так неужели он пленник? Заложник скверных обстоятельств, на которые по безрассудству обрёл себя сам?

Так далеко мысль ёжика, конечно, не заходила. Он ограничился лишь смутным мечтанием, грёзой о доме. Подобно мальчику, поминутно, в туманной задумчивости, вспоминая своих родных и питомцев посреди суеты летнего лагеря. Несовпадение было не только в сезоне: за мальчиком однажды заедут родители и заберут его, вконец соскучившегося, домой, а вот у Филимона не было надежды на подобный счастливый исход. Поэтому он и старался не забредать в размышлениях так далеко, как забрёл недавно в лесу, и предпочитал не ходить по кругу, задаваясь одним и тем же мучительным вопросом без ответа. Животная душа мудрее человеческой и знает, как и когда остановить, прервать бесплодное кружение тревожных мыслей.

Филимон и сам не заметил, как задремал. Дым савельевой сигареты вызвал к жизни тягостные видения. Перед мысленным взором сотни и тысячи колючих клубков катились всё стремительнее и неотвратимее, превращаясь в несчетное воинство и угрожая этому новому странному миру миллионом нацеленных на него игл. Но когда эти грозные средоточия неистовства и отваги приближались к цели, их

обволакивал густой и едкий дым, и они, как один, замирали, впадая во всеобщую летаргию и со всех сторон света окружая Филимона плотным кольцом повального беспамятства. Ёжик впервые оказался во власти коварной феи Никотин и не мог противиться её опасным чарам. Ему казалось, что эти зловещие образы, точно поющие сирены, стремятся отнять у него память о доме и надежду на возвращение; но вскоре наваждение рассеялось, сменившись ровным полдневным сном.

* * *

Так у них и пошло. День за днём. Савелий курил, что-то писал, много говорил, утомляя Ёжика своей скороговоркой и даже не пытаюсь выслушать его сопение, а Филимон наблюдал за ним, грезил и рассматривал этот новый дивный мир как причудливый орнамент, от которого голова шла кругом.

Во дворе у Савелия жил большой старый пёс, по ночам не столько охранявший подступы к дому, сколько взывавший к Луне, настойчиво, громко и заунывно, подобно легендарному Калигуле, мечтавшему в своём безумии сблизиться с Небесной Богиней. Пса звали то Афанасием, то Нафаней — Савелий никак не мог определиться с именем, обрекая бедное животное этой путаницей обращений на двойственность или, точнее, раздвоенность, свойственную человеку. Утром Нафаня с шумом устремлялся на кухню, откуда вскоре доносился плеск молока или ухи, хруст разгрызаемых костей и пугавшее Филимона рычание. Затем пёс, уже в новой ипостаси, как Афанасий, отправлялся с хозяином на долгую прогулку, а ёжик оставался в доме один. Он предавался любимому своему занятию — обнюхиванию: ножек стола, бахромы занавесок, плюшевого пледа, брошенного на диване и свисавшего до самого пола... Никто не мог смутить его или отвлечь от этого упоительного занятия — он всё глубже и смелее внюхивался и проникал в непознанное.

Если бы Филимон прочёл Свифта, то нашёл бы в рассказах Гулливера много общего с собственным теперешним положением — гостя, чужестранца в незнакомой стране, где всё так диковинно, и освоиться нелегко. И как Гулливеру пришлось разбираться в непонятных ему обычаях и законах, так Филимон должен был привыкать к неведомым и загадочным запахам; многие из них ничего внятного и определенного ему не говорили, но всё же настойчиво проникали в сознание. Эти «иероглифы» ёжик при всём старании не мог расшифровать, а они манили его, как манят археолога надписи египетских гробниц. Он иногда пытался, хотя тщетно, найти им соответствия в своем привычном лесном мире, казавшемся теперь совсем далёким и потому почти не реальным.

Особенно привлекал его старый плед, в который, сменяя друг друга, кутались предки Савелия, давно опавшие, как осенние листья, с писательского родового дерева. Плед пропах дедушкиной фронтовой

махоркой, забытой второпях — непростительная для тех суровых времён оплошность, ведь как на войне без курева! Бабушка держала эти крупницы полевой жизни в носовом платке, а его — в шкатулке. Сидит, бывало, на диване, накрыв ноги пледом, озябшая, думает о муже-защитнике, и тянется рука ее к шкатулке на тумбочке и извлекает платок, подносит к лицу, вдыхает щекочущий аромат... Воспоминания и грёзы наплывают тут же, и сбивчивая молитва переходит в какое-то полужылическое волхование, точно пытается она заговорить, заклясть судьбу. Не мог, конечно, Филимон знать об этом или вычитывать в запахе пледа трогательную семейную историю. Ни в книге, ни в запахе невозможно прочесть больше того, что ты уже знаешь. Ведь то, что ты уже знаешь, делает уже твое восприятие. Другое дело тайна или непостижимое — здесь чувствуется нечто большее, как, впрочем, и в сновидении, которое поутру не удастся вспомнить целиком.

Дед Савелия, полумифический и солидарно боготворимый Сергей Яковлевич освобождал Венгрию и привёз оттуда трофей — скрипку, ставшую главной реликвией семейства. В их роду не было музыкантов, но и мать Савелия, и его самого, и его племянницу пытались обучить игре на скрипке. Дедушке хотелось услышать отзвуки своей победы в музыкальном триумфе кого-то из потомков. Увы! Одного лишь инструмента оказалось недостаточно, порыв иссяк по причине бесталанности новых поколений. Скрипку тоже однажды завернули в плед, когда вместе с прочим бесчисленным скарбом перевезли на другое место жительства, а футляр так и не нашли. Позднее и смычок затерялся, и скрипка безмолвно висела в углу — как икона.

На исходе одного из тех дней, слушая вечернюю песню самого музыкального существа в их доме и не отрывая глаз от скрипки, подросток Савелий без остановки и без толку принялся повторять несложную рифму: «смычок — сверчок», «смычок — сверчок». Или наоборот, «сверчок — смычок»... И так раз десять, а может и больше, пока в ушах не загудело. А вслед за тем и другие рифмованные «двойчатки» стали крутиться у него в голове. Тогда-то он и понял, что ему чертовски хочется сочинять стихи, подбирать рифмы, искать созвучия, и что это занятие — чего о музыке не скажешь — ему по нутру и по силам. А ребята во дворе от души смеялись над первыми его стихами, ведь это же стыдно — писать стихи, ведь это же для девчонок...

Вот, что было в запахе пледа.

Заворожённый ёжик обычно не замечал, как Савелий возвращался в дом, оставив пса Афанасия во дворе в его будке. Непостижимый спаситель Филимона какое-то время ходил взад-вперёд, потирая озябшие руки, затем садился за бумаги, делал записи, что-то рвал, бурчал, сорил, нервно ломал сигарету, усыпая стол крупинками табака, наконец, брал книгу и, погрузившись в чтение, на час забывался. «Знаешь, что я сейчас читаю? — спросил он однажды, видимо, вспомнив тот первый ритуал знакомства с оттаявшим Филимоном, который завершился зачитыванием вслух английской хро-

ники, повествующей о Великом Холоде. — «Очарованный странник». Моя любимая вещь». На сей раз он воздержался от пространных цитат, а только рассеянно поглядел на ёжика, будто пытаясь понять, какое тот имеет отношение к прочитанному. И вновь его взгляд нырнул в книгу.

«Ну, хорошо: заснули они или этак только вздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: “Кто там?” — потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришёл; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергей.

Владыко и говорят:

“Ты ли это, пресвятой отче Сергие?”

А угодник отвечает:

“Я, раб божий Филарет”.

Владыко спрашивают:

“Что же твоей чистоте угодно от моего недостойства?”

А святой Сергей отвечает:

“Милости хочу”.

“Кому же повелишь явить её?”»

Савелий положил книгу на колени и задумался. Ему вспомнился дедушкин рассказ об однополчанине, которому едва ли не перед каждым крупным сражением во сне являлся Сергей Радонежский. Друг дедушки происходил из семьи православного священника и был настолько не похож на остальных фронтовиков, что получил прозвище «блаженный». Он не любил анекдотов и солдатских шуток, был молчалив и ничего не рассказывал о своей девушке — да и была ли она у него? — а ведь такие рассказы согревают сердца солдат. Зато, немногословно и убеждённо, Мирослав говорил о святых и об их покровительстве русскому воинству в этой войне и уж совсем редко пересказывал согласным его слушать эпизоды из какого-нибудь жития. Он пропал без вести при форсировании Днепра, получив накануне благословение...

Дедушка как-то обмолвился, что у него из памяти не выходит лицо Мирослава, каким оно было перед самым его исчезновением, светившееся и окрылённое благодатью. Казалось, излучая внутренний свет, плыл он рядом под ливнем вражеских пуль... но на другом берегу Днепра однополчане его не доискались: как будто, переплыв реку жизни, он, оставив другим взлелеянную в его снах и видениях победу, ушёл к своим святым, удалился в Иное. И Преподобный Сергей, покровитель доблестных ратников, встретил его там...

Иногда Савелию не удавалось прочесть больше двух-трёх страниц — прерывая чтение, цепочкой тянулись навязчивые ассоциации, воспоминания и вопросы без ответа.

Откуда берутся все эти слова, и что помогает автору так верно связывать их? Труд ли это или всегда случайное наитие? Достаточно ли в этом деле чутья и желания? Или требуются всё же какие-то ангелы, музы, посланники, коих тщетно дожидаясь годами?

Бывало, он импульсивно брал с ближайшей полки другую книгу, открывал её наугад и упоённо читал, сравнивая впечатления и удовольствия от двух текстов, к примеру, «о белизне кита»:

«Помимо тех очевидных причин, которые не могли не порождать у каждого в душе чувства понятной тревоги, было в Моби Дике и ещё нечто, какой-то смутный, несказанный ужас, достигавший порой такого напряжения, что все остальное совершенно им подавлялось, но неизменно остававшийся таинственным, невыразимым, так что я почти не надеюсь связно и понятно описать его». Савелия заворожил этот текст, в котором автор скрупулёзно исследовал всё множество тончайших смысловых оттенков белизны, убедительно показывая читателю, что в белом цвете, который мы привыкли ассоциировать с чистотой, святостью и благом, таится нечто жуткое и зловещее.

Савелий переводил взгляд и смотрел в окно, на снег, покрывший всё кругом и ослепительно блиставший в неземном своём величии. «Все мы — пленники этой необъятной белизны, заполонившей мир и поглотившей нас», — бормотал он.

Книга, открытая наугад, на случайной, но всегда значимой странице, может дать тебе так же много, как и разговор в поезде со случайным попутчиком, ибо и то, и другое меняет привычное направление твоих мыслей.

«Как обожают дети белый снег, — рассуждал Савелий, — как жадут они с визгом вывалиться в нём и забросать друг друга снежками, и сварганить снежную бабу... для них его цвет — цвет веселья, радости и озорства, Нового года и зимних каникул. Совсем по-другому воспринимает белизну снега человек, заблудившийся и один замерзающий в лесу. Для него белый снег — сама враждебность, холодная и бездушная; верная погибель, неотвратимость и безжалостность; одиночество и неприютность...» Он продолжал смотреть за окно застывшим, неподвижным взглядом. «Хотя в природе белизна часто умножает и облагораживает красоту, словно одаряя её своими собственными особыми достоинствами, как мы это видим на примере мрамора, японских камелий и жемчуга; и хотя многие народы, так или иначе, отдают должное царственному превосходству этого цвета, ведь даже древние варварские короли великого Пегу помещали титул "Владыки Белых Слонов" над всеми прочими велеречивыми описаниями своего могущества, а у современных королев Сиам это же белоснежное четвероногое запечатлено на королевском штандарте, а на Ганноверском знамени имеется изображение белоснежного скакуна, в то время как и великая Австрийская империя, наследница всевластного Рима, избрала для своего имперского знамени всё тот же величественный цвет...» Точно бесконечный список кораблей у Гомера, это ритмичное перечисление-волхование, погружало его в полудрёму, в лёгкий и мягкий транс. «...и хотя, помимо всего, белый цвет был признан даже цветом радости, ибо у римлян белым камнем отмечались праздничные дни; и хотя по всем остальным человеческим понятиям и ассоциациям белизна символизирует множество трага-

тельных и благородных вещей — невинность невест и мягкосердечие старости; хотя у краснокожих в Америке пожалование белого пояса-вампума считалось величайшей честью; хотя во многих странах белый цвет горностая в судейском облачении является эмблемой правосудия, и он же в виде молочного-белого коня поддерживает в каждодневности величие королей и королев; хотя в высочайших таинствах возвышеннейших религий белый цвет всегда считался символом божественной непорочности и силы...» Филимон, сидевший поодаль от Савелия на своей подушечке, вновь ощутил тот запредельный холод, от которого лапой подать до полного, абсолютного безразличия и небытия. Нынче озноб пришёл к нему не через звуки Савелиева голоса (ибо читал Савелий не вслух, про себя), но через белый цвет, губительный цвет снега, внезапно возникший и расплывшийся молочным пятном перед сонными глазами ёжика. Белый цвет неминуемо влиялся в глазницы, застилал и заполнял собою всё... «...и хотя христианские священники позаимствовали латинское слово "albus" — "белый" для обозначения стихаря — некоторой части своего священного облачения, надеваемой под рясу; хотя среди божественного великолепия римской церкви белый цвет особенно часто используется при прославлении Страстей Господних; хотя в Откровении Святого Иоанна праведники наделены белыми одеждами и двадцать четыре старца, облачённые в белое, стоят перед великим белым престолом, на котором восседает Владыка Святый и Истинный, белый, как белая волна, как снег, — всё-таки, несмотря на эти совокупные ассоциации со всем что ни на есть хорошего, возвышенного и благородного, в самой идее белизны таится нечто неуловимое, но более жуткое, чем в зловещем красном цвете крови». Филимон вдруг понял, что холод, сковавший теперь, в тёплой комнате, всё его тело, не что иное, как страх, и что у страха цвет снега.

«Именно из-за этого неуловимого свойства белизна, лишённая перечисленных приятных ассоциаций и соотнесённая с предметом и без того ужасным, усугубляет до крайней степени его жуткие качества. Взгляните на белого полярного медведя или на белую тропическую акулу; что иное, если не ровный белоснежный цвет, делает их столь непередаваемо страшными? Мертвенная белизна придаёт торжествующе-плотоядному облику этих бессловесных тварей ту омерзительную вкрадчивость, которая вызывает ещё больше отвращения, чем ужаса...» Взгляд Савелия снова перенёсся за окно, как будто в надежде отыскать там, где привычно высился лес, белого медведя среди огромных льдин, обгаренных закатом.

Пропустив сквозь себя этот плотный белый поток, Савелий Петрович уж в который раз воспламенился желанием писать. Писать также легко и обстоятельно, касаясь предметов самых разнообразных и тем, как глубоких, так и поверхностных, дотянуться до которых, как до яблока, лежащего на столе, проще простого — не требуется ни усилия мысли, ни особой системы линз и зеркал. Без оглядки, без опаски. Писать просто. Просто писать.

О чём? Да о том же дедушке. И о Той Войне. Тут тебе и снег сгодится, и его холодная белизна, гибельная и для врагов, и для своих, как нельзя кстати. Генерал Мороз, суровая зима 1941 — 1942, отряд вырывается из окружения. Лес. Ели. Сугробы — каждый не то укрытие, не то могила... обмороженные руки... в них — остатки мёрзлого хлеба или пшено... у боевого товарища, кажется, пневмония — ему нужно в тепло... до весны бы спрятать в деревне, в подполье у какой-нибудь отчаянной и сердобольной бабы... баба, само собой, бездетная... иначе, имей она детей, на такое не решилась бы... сама на фронт недавно мужа проводила, вот и сжалилась... хотя боится до полусмерти...

Ещё можно включить фрагменты писем — с фронта и на фронт.

Ещё что-то из военной хроники. Для достоверности.

Бытовые подробности довоенной и фронтовой жизни. Речь литературная переходит в разговорную. Солдатский говорок. Солдатский сон. Калейдоскоп солдатских снов. Точность деталей и мощь самой темы. Очевидность зла. Бессрочность, бесценность и безусловность любви и дружбы. Бессмертие подвига и величие духа.

Савелий уже позабыл о белизне кита-людоеда, белой акулы и белого медведя, о злодействе, облачённом в белое... он вновь принялся вчитываться в «Очарованного странника», пытаясь перенять у Лескова все эти удивительные обороты и выражения, утраченные в современной выхолащенной речи.

Уже не раз он добровольно превращался в пересмешника и пытался писать под кого-то из классиков, перенимая его характерные стилистические приёмы. Так юные художники отправляются в Третьяковку, Русский Музей или в Эрмитаж и там прилежно, часами копируют полотна великих голландцев, «Данаю» и «Блудного сына» Рембрандта, «Явление Христа» Иванова или «Помпею» Брюллова.

Савелий готов был исписать десятки листов подражательной прозой, пока не выработается его собственный стиль. Чем не метод?

Однако минутного вдохновения хватало лишь на пару фраз, а то и слов. Вот и теперь, отложив в сторону томик Лескова, он записал в свой синий блокнотик остро заточенным карандашом: «Старик со странным именем Всекакий». И дальше — ни ногой.

Что за характер скрывался за этим именем? Ответа на сей вопрос хватило бы, чтобы написать добротный рассказ или, полесковски, «сказ».

Но, ловец пустых созвучий, Савелий был неспособен дорасти до единого, цельного и органичного образа, который на страницах развернулся бы в судьбу.

Umbra et imago...

Тщетные усилия.

Когда рассказ ему не давался, Савелия посещало желание написать «один, но хороший» сонет (ведь и «суровый Дант не презирал сонета»); доверившись этой выверенной веками поэтической форме, он подыскивал лирическую тему, заранее состыковывал рифмы и ли-

хорладочно перечитывал Петрарку, Шекспира, Камюэнса... но специально заготовленный линованный лист так и оставался непорочно чистым, мёртвенно белым. Ни одной строки. Занесённая снегом могила очередного замысла.

В детстве ему, наивному, казалось, что вполне достаточно для того, чтобы стать поэтом, одной только способности рифмовать. И посреди болтовни он мог насмешить приятеля, ответив без заминки, в рифму:

- Хочешь грушу?
- Сам её скушай.

Вскоре оказалось, что забавной способности всё со всем рифмовать, мягко говоря, недостаточно, и стала очевидной разница между истинным поэтом и самонадеянным графоманом-рифмоплётком. До чего же глупое заблуждение: написать хороший сонет будто бы легче, чем историю! По крайней мере, не нужно выдумывать сюжет... Сколько, интересно, несостоявшихся прозаиков, руководствуясь этим соображением, спешно переквалифицировалось в самых что ни на есть посредственных стихотворцев и «поэтов-песенников»?

Усмешка скользнула по неподвижному лицу Савелия.

Как бы хотелось ему повторить за римским классиком:

«Хватит вполне, вполне и с избытком

И двух книг для моего погребенья,

Их вручу, мой достойный дар, Персефоне».

Но ведь он не смог написать и двух достойных страниц, и двух строк!

Слова, слова...

...Они с женой и дочерью расположились за столиком уютного кафе, и взгляд его упал на подоконник, где стоял пыльный букетик искусственных цветов, имитировавших полевые.

— Цветочки, — вырвалось у Савелия.

— Папа сочинил свое самое короткое стихотворение, — пошутила дочка.

— Вот только что это? — включилась жена. — Не хайку и даже не одностишие, ещё короче: стихотворение из одного слова.

Как двинуться дальше и куда? Одно ёмкое слово само по себе хорошо, уместно, пригоже, но когда их два, три...

Цветочки-пылесборники

Стоят на подоконнике.

Необязательность — вот, что нельзя простить посредственному тексту. Слова, связки и целые фразы в нём не то, чтобы небрежны и случайны, но как будто необязательны, несущественны, лёгко заменяемы и, в общем, бесполезны, точно эти искусственные имитационные цветы, бездарно вбирающие в себя пыль и не вызывающие ровным счётом никаких эстетических чувств.

Конечно, всё дело в словах. Не тех словах, лишних словах, пустых словах. Слов так много, их легион, и от их несуразного суетливого множества все проблемы, вся эта неразбериха... Вот если бы можно было выразить всё одним словом. Но это Единственное Слово — у Бога, и это Слово — Бог.

Такие рассуждения и псевдолитературные опыты быстро выматывали.

Порой возникала потребность вырваться из-под диктата слов, и тогда Савелий ставил на старинную вертушку свою любимую пластинку — «О великом томлении» Рихарда Штрауса или что-то из «Хорошо темперированного клавира», по настроению. Только музыке удавалось избавить его ненадолго от тягот безысходного внутреннего диалога, но, как уже было сказано, в её владениях он чувствовал себя чужаком и невеждой...

Филимон вернулся к прежнему ощущению доброго домашнего тепла под звуки "Il Gardellino" — озорного «Щеглѐнка» Вивальди.

«Мой щегол, я голову закину — поглядим на мир вдвоѐм», — упоѐнно выводила флейта. Ёжик впервые вслушивался в голос музыкального инструмента, но, как и высокопарные речи Савелия, это странное звукоизвлечение оставалось для него совершенно непостижимым.

«Как же всё-таки умны и изобретательны мы, ёжики, — подумалось Филимону. — Ведь мы, не мудрствуя лукаво, обходимся премилым и доходчивым сопением, выражая таким незамысловатым способом миллион вещей и при этом прекрасно понимая друг друга! Просто, как всё гениальное!»

«Сознаѐшь ли, до чего, щегол, ты, — не унималась то грустная, то задорная флейта, — до чего ты щегловит!»

Ночь выдалась морозной, и Савелий впустил Афанасия в дом на ночлег. Пѐс первым делом стряхнул с себя тающие хлопья снега, забрызгав пол и стены в коридоре, и устремился в комнату, где Филимон, не ожидавший его вторжения, как мог, внимал игривым звукам итальянского барокко. В мановѐнье ока пѐсья морда опасно нависла над ошеломлѐнным ежом, и мгновенно раздувшиеся охотничьи ноздри втянули в себя непривычный лесной запах (замечу, то был аромат не только тѐплых кожных выделений, но и подсохших грибов, микроскопические частицы которых хранились в зазорах между тонкими Филимоновыми иглами).

Давнѐнько Филимон не уходил в себя так глубоко. Ужас в одно мгновение обратил его в центростремительную спираль. Оставив снаружи только спешно возведѐнное сооружение из острых, разящих пик, шипов и клинков, он долго, задыхаясь, бежал по длинным коридорам и галереям своего внутреннего лабиринта. Спрячется в простеночке, переведѐт дыхание и — снова в бега. Не хватало духу

даже оглянуться, так страшен был этот облик и этот рык; и в отдалённых тёмных тоннелях настигало ёжика нетерпеливое обжигающее дыхание жуткого Зверя.

Сейчас бы спрятаться за семью замками или превратиться в самую малость, в самую что ни на есть крохотку, неуловимую, не видимую невооружённым глазом; раствориться в собственной крови, родимой и тёплой, нестись в её мощном потоке по кровеносным сосудам под защитой множества плотных надёжных покровов...

Но вот заглянувший в комнату Савелий отозвал Афанасия и удалился с оным в кухню. Пёс, не успевший даже уколоться, быстро позабыл о неопознанном колючем клубке и погрузился в трапезу, а после неё — в дрему.

Орех, так напоминающий человеческий мозг, прячется под твёрдой скорлупой. Моллюски в процессе эволюции обзавелись раковинами самых разнообразных форм и размеров. Как известно из истории, люди тоже испокон веков были осторожны и предусмотрительны: стремясь уберечься от травм и ранений, они изготавливали прочные доспехи и в години ратных дел облачались в них. Что же странного в том, что и ёжики мудро заботятся о своей безопасности, отращивают острые иглы и топорщат их перед лицом реальной или мнимой угрозы? Защищаться — в природе любого живого существа.

Однако теперь в комнате воцарилась такая деликатная и интеллигентная тишина, что отпала всякая необходимость отсиживаться в убежище, одновременно демонстрируя миру своё грозное вооружение. Даже в более чем комфортабельном бункере, в конце концов, становится уныло и душно. Филимон решил-таки выбраться из самой сердцевины своего существа, куда загнал его внезапный страх. Тело ёжика вновь порозовело и обрело свою приятную мягкость, округлость и расслабленность. Он огляделся.

Савелий Петрович аккуратно переложил его на диван.

Теперь наш герой волею Савельевой заботы возлежал на ранее изученном пледе рядом с раскрытой книгой, загадочный аромат которой тут же поманил чувствительные ноздри. «Не поддавайся соблазну, безумец», — непременно одёрнул бы его строгий дедушка, окажись он тут же... но дедушка был далече, а его мудрый завет «Береги нюх от вещей малоизвестных и подозрительных» успел выветриться из bestолоковой головы внука.

Было бы совершенно излишним убеждать читателя в том, что Филимон никогда раньше не слышал стихов, не листал ни одного лирического сборника и не обзавёлся даже смутным представлением о поэзии. Он также понятия не имел, какой такой премудростью все эти крохотные червоточинки и червячки, называемые в мире людей буквами, связаны с теми божественными созвучиями, что, собственно, и делают стихи стихами. Но тогда, приблизив нос к странице, на которой эти самые червячки дружно выстроились в колонны, он неожиданно для самого себя был втянут в новое и непривычное общение.

Словно по ту сторону листа простирался другой неведомый ему лес, где обитали уже не люди и их голоса, а какие-то более свободные бестелесные существа.

Буквы не складывались в голове ёжика в слова, однако общими усилиями, а иногда и по отдельности, передавали тончайшие оттенки единого книжного аромата, что сродни нюансам авторского замысла и стиля. Для Филимона содержанием текста стал его особый дух, сложный, многогранный и изменчивый. Пожалуй, это напоминало зимнюю чашу, в которой живое не столько присутствует, сколько предчувствуется, покуда не оттают весной его разнообразные запахи.

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но как враги избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

То, что Михаил Юрьевич Лермонтов позаимствовал у Гейне, Филимон с лёгкостью переложил на доступный любому ёжику лесной язык. И тут же усомнился: удалось ли ему точно и во всей полноте передать богатство этого диковинного букета? Или что-то особенно утончённое, непередаваемое всё же ускользнуло?

Наш колючий герой, разумеется, понял, что Савелий нашёл, наконец, верный способ изъясняться с ним. И он был весьма признателен своему огромному приятелю за то, что тот вежливо удалился, предоставив Филимону возможность всё тщательно обнюхать и обдумать.

Очевидно было одно: при всей взаимной симпатии им с Савелием суждено идти разными дорогами. То, что для Савелия дом, для ёжика пусть и уютный, но плен, а то, что для Филимона лес, для Савелия непроходимый мрак. Об этом уже поведал дымок Савельевой сигареты, но полученное тогда знание было холодным и отчуждённым, а в умном книжном аромате сквозила печаль, даже тоска, что рождается на стыке двух несовместимых и при этом влюблённых, льнущих друг к другу миров.

* * *

Всё еще есть — и среди людей, и среди псов, но не среди ёжиков! — такие народности, у которых принято дружно радоваться днём, поклоняясь Солнцу, и всем скопом, во всеобщем ознобе и трепете, бояться ночью, заклиная Луну.

Нагрывавшая тогда ночь прошла в нестерпимом томлении. Свет и сумрак чередовались со странной быстротой. А всё по прихоти месяца, капризули и неженки, то ярко с бескомпромиссной прямоотой

светившего в Савельевы окна, то кутавшегося в первое, попавшее под руку, старое клочковатое облако, словно Савелий — в ватное одеяло допотопных времён. Писателю не спалось, и он принялся перечитывать «Ночные бдения» Бонавентуры. Афанасий же, традиционно расположившийся на кухне, ударился в заунывный собачий монолог, который можно было бы принять за молитву, когда бы не пронзительные нотки жалости к себе, обиды на Творца, создавшего его таким нелепым, чувствительным и лохматым, и досады по поводу несовершенства этого сотворённого за одну неделю мира. Звуки пёсией жалобы, переходившей в плач (даже в постыдное рыдание), были болезненны для слуха Филимона. Зверь, ещё днем вызвавший у ёжика ужас, теперь оказался достоин сочувствия. Пожалуй, даже легкого презрения, которое Филимон заглушил в себе, ибо и в самых трудных условиях оставался великодушен, терпим, милосерден.

Если бы полюбившийся нам ёжик мог ознакомиться с эволюционным учением достопочтенного английского джентльмена Чарльза Роберта Дарвина, он бы, вероятно, пришёл к выводу, что Афанасий — существо низкоорганизованное, занимающее одну из начальных ступеней на лестнице Природы. Для чувства превосходства над шумным малодушным псом у Филимона были основания, можно сказать, мировоззренческие.

Он знал, как никто, что жизнь вдруг, в один миг обрывается: предназначенная для охоты ночь сменяется опасным ослепительно белым днём; блаженное лето — декабрьской стужей, а привычный освоенный лес — Савельевой избой-читальней. Но чем выше и сложнее духовная организация живого существа, тем достойнее сносит оно этот резкий обрыв или поворот, тем смелее заглядывает за край. Ежи, например, почуяв неблагоприятные перемены, делают предельно спокойными и сдержанными. В худшие времена даже самый bestолоковый ёж способен, как Уроборос, всецело замкнуться в себе, отрешившись от недоброжелательного внешнего мира. Подготовив сносное гнездо меж корней векового дерева и считывая лишь на скопившийся за летние месяцы жир, он проведёт к ряду сто-сто двадцать дней в благородном молчании и недеянии, самодостаточный и аскетичный, точно отшельник в скиту. Рассказни о том, что настигнутый внезапной опасностью сородич Филимона стремительно испражняется, а затем барахтается в собственных фекалиях, отпугивая неприятеля отвратительным запахом, — бессовестная ложь, распространяемая злостными ежененавистниками.

Другое дело Нафаня, для которого появление на небосводе совершенно необходимой (в качестве осветительного прибора) и при этом безвредной луны каждую ночь становится весомым поводом впасть в непростительную истерику и продемонстрировать всем, в том числе и посторонним, малознакомым, свою ничтожную собачью изнанку.

«Как всё-таки здорово, что я ёж, а не пёс, и ежом останусь до исхода своих дней», — с гордостью подумал Филимон.

На чужбине особенно сильно осознаёшь принадлежность к тому, что у людей зовётся этносом или народом. И чувство это острее новых непривычных запахов и звуков. Вероятно, ёжик, владей он человеческим языком, мог бы использовать подобный оборот, ибо привык сравнивать интенсивность самых различных ощущений с остротой собственных игл.

И снова размышления о том, как всё-таки прекрасны, умны и во многих отношениях безупречны его соплеменники, нахлынули на Филимона. Ёж довольствуется малым: и в еде, и в быту, и в мировоззрении, ибо питается всякой мелочью, способен из самого минимума подручных средств создать уют и не распространяет притязания дальше собственного носа. Ёж шарообразен, он легко превращается в ошетилившуюся сферу, то есть принимает наиболее совершенную из форм, призванных облагородить материю. Он не замахивается на великое, каковое не способен объять его крохотный разум и обонять расторопный нюх, не тщится и не обольщается попусту, не устремляется сквозь тернии к звёздам, а просто возделывает свой сад... да, свой маленький сад, который иной раз может разместиться между его иголками и состоит из кусочка влажного мха, мумифицированного лесного клопа да пары сухих листьев.

При том жёстком сословном делении, что установилось в лесу ещё в стародавние времена, ежи никогда не могли и теперь не могут рассчитывать на какие-либо привилегии. С их мещанским сословием никто не считается, их политический вес едва колеблется у самой нулевой отметки; для хищника, воина и аристократа, ёж что мордовник — колючка: главное не напороться на иглы. Лакомство так себе — мелковат, добыча не самая достойная и желанная, притязательный охотник не слишком порадуется такому бесхитроственному трофею. Не секрет, что ежи — все сплошь обыватели и составляют то покорное молчаливое большинство, с безропотного согласия которого в лесу творятся самые неприятные вещи и царит извечная несправедливость. Всё это так. Но представьте хотя бы на минуту, что в одно туманное утро все ёжики, устав от козней, лисьих посягательств и наветов, покинули лес. Великий исход ёжиков. Чего лишится тогда это дикое царство? Своей середины. А значит и равновесия. Завалится на бок или распадётся на крайности. Почему, спросите вы? Да потому, что миссия ежиного братства — соединять большое и малое, плотоядное и безобидное, рычащее и стрекочущее. Ежи — посредники. Устрани их — и из бесконечной живой цепи выпадет важнейшее промежуточное звено, порвётся нить, однажды связавшая воедино непримиримые противоположности животного мира.

Эти мысли, не облекаясь в слова, скользили, точно водяные змеи, и вскоре Филимон, умиротворённый всколыхнувшимся в нём древним знанием, уснул. Причитания бедного пса уже не привлекали к себе тревожного внимания, не мучили тонкий слух, не наводили

беспричинную тоску. Они потонули в темноте вместе с последними впечатлениями дня, не пожелавшими перейти в очередное бессюжетное и лоскутное сновидение.

Конечно, Филимон был слишком прямолинеен и категоричен в своих суждениях о нраве и душевных качествах лохматого полуночника. Пёс Савелия, в поздний час служивший образцом малодушия, на поверку оказывался истинным рыцарем и преданным товарищем. Чтобы убедиться в этом, хватило бы одной прогулки в его компании по извилистым лесным тропам. Просто Афанасий ещё со щенячьей поры по причине не совсем понятной ощущал себя старым, дряхлым, даже древним, будто давно прожил Мафусаилов век. Он чем-то походил на своего хозяина, нежно привязанного к нему уже не первый год. Савелий Петрович знал, как посредством особой интонации, по-свиста или музыкальной фразы — горстки брошенных в воздух шубертовских нот — приободрить загрустившего питомца.

Нафана достался ему при стечении довольно странных обстоятельств. В ту пору Савелий только приобрёл дачный участок и начал обживать его. И вот в один из вечеров во исполнение старосветского ритуала новосёл нанёс визит вежливости ближайшим соседям. То были люди радушные, да притом с кругозором, склонные к умной, просвещённой застольной беседе, в которой обилие легко и по делу затронутых тем не уступало изобилию поданных блюд. Хозяйка любила стихи Марины Цветаевой и ввернула в первом же разговоре, не то невольной, не то с умыслом сказав: первоисточник: «За этот ад, за этот бред Бог дал нам сад на старость лет». Хозяин, с одинаковой нежностью поглаживавший то свои видные усы, то мягкий рукав миловидной супруги, не таил от гостя ироничной и осознанной маниловщины, давно уже ставшей органичной частью его уединенного сельского мирозерцания. Многие ли сельчане прямодушно признаются в том, что предпочитают исповедовать не учение графа Толстого или живую этику Рерихов, а смутные воззрения-грёзы господ Манилова и Обломова? А новые знакомцы Савелия, не стыдясь непритязательной провинциальности, в один голос заявляли, что намерены остаток жизни посвятить своему садику и местным пасторалям.

«Люди хорошие, было бы полезно поддерживать с ними душевную связь; загляну-ка завтра на полдник в их уютный домик, дабы под звуки рахманиновских романсов размочить сухой тульский пряник ромашковым чаем с мёдом пасечника Силантия», — довольно улыбался собственным мыслям Петрович. И откладывал очередной визит, и корил себя за не сдержанное обещание, данное при встрече.

Но вот однажды в полночь, когда одинокий писатель уже растелил постель и шарил взглядом по книжным полкам в поисках «толстого» романа, который помог бы скоротать нагрянувшую бессонницу, раздался тревожный и настойчивый стук в дверь. На пороге, держа на руках закутанного в шарф щенка кавказской овчарки, стоял сосед. Неожиданно глухо и отрешённо он попросил Савелия проявить гостеприимство, терпение и не задавать вопросов. Савелий,

было, повёл его в зал, радуясь наличию дивана и комплекта свежего белья. Но всклокоченный пришелец, сбросив ботинки, неожиданно устремился на кухню, нашёл табурет и, не снимая верхней одежды, просидел на нём до самого утра. Щенок безропотно примостился на его коленях и за всю ночь не издал ни единого звука. «Где же Ваша Супруга?» — не удержался Савелий. «Она уже в городе», — ответил сосед; все попытки напоить его чаем и убедить расположиться в зале на диване успехом не увенчались. Тогда наш писатель налил в блюдец молоко скорбному щенку. Тот несмело погрузил крохотный нос в запоздалый ужин, но тут же отпрянул и прильнул к ноге неподвижно сидящего хозяина. Всё не слава богу. Петрович мудро рассудил, что лучше всего оставить непрошенных визитёров в покое, однако просто лечь спать, бросив их на кухне, было бы, по меньшей мере, невежливо. Тогда он тоже оседлал табурет и несколько часов к ряду протомился без сна в молчаливой компании. С первыми птицами сосед, встрепенувшись, но даже не взглянув на Савелия, направился в прихожую. Уже у самой двери он вдруг передал в руки ошеломлённому хозяину своего маленького четвероногого спутника и взмолился: «Пожалуйста, приютите у себя этого шалопаю. Всего на каких-нибудь пять дней, в крайнем случае, на неделю. Я обязательно заберу его, как только появится возможность. Поверьте, малый хоть куда: нежного склада, прелестного окраса и без вредных привычек». Отказать Савелий не решился. С тех пор он не видел соседей, будто они и вовсе пропали без вести. Их заброшенный дом, возможно, хранивший тайну той беспокойной ночи, из года в год ветшал, сад постепенно зарос, и только пёс, словно оставленный на долгую память, вызывал улыбку, не омрачённую худшими предположениями.

Савелий Петрович долго колебался и ломал голову над тем, как же следует величать своего нового питомца. В конце концов, он утвердил два равноправных варианта.

Первое имя, Нафанаил (уменьшительно-ласково — Нафаня) началось на древнееврейском «Бог дал» или, иными словами, «Дар Божий».

Имя второе, но не менее привычное уху верного пса — Афанасий, переводится с древнегреческого как «бессмертный».

Оба обращения призваны были усмирить и смягчить собачий нрав, придав ему подобающую уравновешенность, сдержанность и самообладание. Но вследствие частого наложения они попросту аннулировали друг друга, так что Нафаня-Афанасий проявлял то чрезмерную резвость, то непростительное для пса паникёрство. Как видно, в силу пережитых в ту ночь потрясений, тёмное время суток навсегда стало суровым испытанием, требующим истинного стоицизма, на который у чистокровного кавказца порой не хватало духу.

Даже если бы Савелий смог поведать обо всём этом ёжику, поверьте, такое переплетение причин и следствий, тайн и очевидностей не уместилось бы в голове Филимона. Ежи не склонны выделять сюжетные линии в непрерывном течении жизни и для них одно событие

вовсе не обязательно проистекает из другого, предварявшего его. Время для ежа определяется сменой не событий, но потребностей, и потому в мире Филимона не было места случайностям, а также сюрпризам и происшествиям, неожиданным радостям и внезапным огорчениям; просто одна нужда закономерно устремлялась к своему удовлетворению, достигнув же его, уступала место другой. Нарушишь хоть раз этот цикл — и сама жизнь оборвётся.

Писатель как будто почувствовал скрытую неприязнь Филимона к Афанасию и совершил поспешный необдуманный маневр. На следующее утро за завтраком Филимон обнаружил в своём углу не только уже ставшие привычными угощения, но и томик малой прозы Томаса Манна, раскрытый на рассказе «Хозяин и собака». Книга стояла, прислонённая к шкафу, точно скрижали, так что ёжик, конечно, не смог удержаться и не обнюхать её страницы. Савелий уже успел заметить, какой интерес проявляет его лесной приятель к маленьким точкам и чёрточкам, что македонской фалангой выстроились на бумаге. Вероятно, этот наблюдательный человек стремился с помощью великой литературы пробудить в Филимоне более терпимое и сочувственное отношение к своему любимому псу...

...но добился обратного.

«...Он примчался из своей конуры, которая устроена с другой стороны дома под полом стоящей на столбах веранды, где, скорее всего, дремал после беспокойно проведенной ночи, пока мой двойной свист не заставил его встать. Конура закрыта занавесками из дерюги и устлана соломой, отчего в шерсти Баушана, и без того несколько взъерошенной от лежания, и между когтями лап почти всегда торчат соломинки, — зрелище, всякий раз напоминающее мне старого графа Моора, каким я однажды видел его в чрезвычайно натуралистической постановке: он появлялся из башни, где его морили голодом, еле волоча босые ноги в розовом трико с торчащей между пальцами соломой. Я невольно становлюсь боком к мчащемуся на меня Баушану — занимаю, так сказать, оборонительную позицию, ибо его очевидное намерение кинуться мне под ноги и повалить на землю неизменно вводит меня в заблуждение. Однако в последнюю секунду, когда Баушан уже, кажется, вот-вот налетит на меня, он вдруг резко тормозит и сворачивает в сторону, что свидетельствует о его умении великолепно владеть как собой, так и своим телом; и тут в полном молчании — Баушан не часто пользуется своим звучным и выразительным голосом — он начинает кружиться вокруг меня в какой-то неистовой приветственной пляске, в которой притоптывания сменяются безумными виляниями не только предназначенного к тому самой природой хвоста, но захватывают в страстном порыве и заднюю часть туловища до ребер, переходят в винтообразные движения всего тела, замысловатые прыжки в воздухе и повороты вокруг собственной оси; Баушан почему-то упорно пытается скрыть это представление от моего взора, так что, куда бы я ни повернулся, он всегда оказывается за моей спиной...»

Безусловная взаимная симпатия, связавшая человека и пса, обрушилась на Филимона ледяной волной отчуждения. Когда бы ёжик имел склонность следовать за своими эмоциями, он почувствовал бы ревность, ибо горький аромат изученной им страницы недвусмысленно давал понять: Нафаня и Савелий так же близки, как Савелий и Филимон — далеки друг от друга. Этот лохматый самозванец, оккупировавший кухню, шумное и беспардонное чудовище, трус, не ведавший радости и отваги ночной охоты, был милее Савельеву сердцу, чем благородный и самодостаточный, гнушавшийся тупой лести-преданности Филимон! Нет... лишённый человеческого языка и раздумия, наш герой не стал терзаться подобными раздумьями и сопоставлениями. Он просто понял, что ему и Савелию (с Нафаней) предстоит двигаться по жизни разными путями. И то пересечение лесных троп, что обернулось однажды их встречей, вовсе не сулило пожизненной дружбы и общей судьбы. А пребывание в странноприимном мире человека, нынешняя снопоподобная жизнь — не в родстве, а в каком-то чудном чужеродстве — лишь недолгий привал, зимовка, пережидание суровой поры.

Писатель зачем-то проговорил, сидя спиной к ёжику, не обернувшись:

— Рассказ «Хозяин и собака» мне ещё в молодости посоветовала прочитать одна девушка, филолог по образованию. Я её любил и, дабы сократить дистанцию между нами, попросил дать мне пару уроков изящной словесности. «Томас Манн — это стиль», — подытожила она мой восторженный отзыв, не услышав в нём или проигнорировав завуалированное выражение нежных чувств к ней самой. Да уж, Томас Манн — это стиль!

* * *

Савелий Петрович отправился на кухню, чтобы заварить чай, и обнаружил в сахарнице муравейник. Муравьи деловито сновали по белой сахарной горе, как наполеоновские солдаты по русским сугробам. За окном же сугробы таяли. Ручьи расчертили двор, точно потоки слёз — лицо растроганного мима, не успевшего смыть грим после представления.

Теперь приходилось спешить, перепрыгивать через потоки воды и счищать с подошв оттаявшую землю, липкую и жирную, готовую плодоносить.

Белизна пошла на убыль, начала медленно, но верно сходить на нет. Сперва в проталинах обозначились робкие приметы грядущего изобилия; затем снежная империя закономерно распалась на большие и малые автономии, и ещё какое-то время в весеннем море ослепительно белели островки зимы; наконец, весь лес и посёлок обрушились в яркую свежую зелень.

Сказ про ёжика неотвратно подходил к концу и постой в доме его доброго спасителя тоже. Что вынес беспечный странник из этой истории, спросите вы? Чему научило его зимнее приключение?

Мир бывает холодный и белый, чуждый и страшный, а бывает, напротив, тёплый, даже горячий, и многоцветный. Вот что было очевидно Филимону.

И это всё, что заберёт он отсюда с собой, в свой мир? Не густо. Можно не готовить дорожный чемодан. Эта правда легче палого листа, застрявшего между иголками, и любой ёж способен унести её в бусинках собственных глаз.

А что же Савелий? Переменился ли его настрой с приходом весны? И не заглянула ли к нему часом какая-нибудь заплутавшая муза, отбившаяся от изгнанного с Парнаса самостоятельного коллектива?

Писатель снова сидел за письменным столом, как прежде сгорбленный и бледный, но освещённый уже другим — тёплым, ласковым светом.

Он несколько раз перечитал вслух только что записанную фразу: «Неужели мучительная зависимость от людей и вещей этого мира убывает по мере старения вместе со здоровьем и весельем?» И пристально посмотрел прямо в глаза Филимону, как будто тот, пребывая в самом расцвете юности, мог знать ответ. И эта фраза оказалась надуманной, «литературной»: Савелий прекрасно понимал, что в старости зависимость от обстоятельств, людей, мелочей, собственных недомоганий, лекарств, в конце концов, и, не дай Бог, эскулапов, как раз наоборот возрастает, становясь всё более болезненной и безнадёжной. Знал определённо или опасался, что всё окажется именно так? Неважно. В любом случае, та мудрая отрешённость, о которой он хотел написать в новом абзаце, самому ему одним лишь фактом старения не гарантирована. А значит, интонация была фальшивой, не шла из глубины его опыта, где дребезжало сомнение. Снова имитация!

Он продолжал бессистемно записывать обрывки своих мыслей, то и дело адресуя их уже привыкшему к этой игре ёжику.

«Видишь ли, мой дорогой друг, — задумчиво произнёс горесочинитель, — все эти переживания совершенно необходимы, ибо без них жизнь была бы суха, как пергамент». И стал развивать эту мысль, варьировать её, нанизывать другие ассоциации... но нужен был стержень, сюжетный шампур, некий общий замысел, без которого произведение распадётся на множество стремительно тающих снежных хлопьев, льдинок, снежинок... А его не было. Только фрагменты, клочки, пустые формы, начинённые неясным смыслом.

«Бывает, душа так истончится, что становится хрупкой, как папиросная бумага». Савелий поморщился, вслушавшись в эти слова, как будто распробовал наспех приготовленный самому себе невкусный ужин. Он двигался с трудом, по дну океана, преодолевая сопротивление глубины или, как Ахиллес, не поспевая за черепахой своего неповоротливого воображения. Текст распадался на отдельные стро-

ки, на вымученные слова, которые тоже готовы были распастыся, рассыпастыся от одного касания чужой мысли, точно высушенные жуки и бабочки от неловкого прикосновения пинцета; и каждая строка давалась ценой такого напряжения, что, в конечном итоге, не удавалась. Лениость, инерция, косноязычие брали верх.

«Vanitas — тщета, земная суета», — он открыл наугад составленный им самим словарь мудрёных иностранных слов. — «Жанр живописи эпохи барокко. Как правило, аллегорический натюрморт. Символы, встречающиеся на полотнах этого жанра, призваны напоминать о бренности всего земного, преходящем характере доступных человеку удовольствий, иллюзорности любых тщеславных притязаний и достижений. Пустые глазницы черепа. Песочные часы. Мыльные пузыри, символизирующие мимолётность, скоротечность жизни и внезапность смерти».

По убеждению Савелия, писатель лучше любого психолога раскрывает тайны человеческой души; писательское слово, словно факел Прометеев освещает темные закоулки, и отсветы его пламени пляшут на мрачных сырых стенах в давно заброшенных хранилищах и подвалах памяти.

Если он самого себя объявил писателем, значит, вызвался быть знатоком и мастером описания тонких, глубоких душевных переживаний, значит, претендовал на особое, не каждому доступное, сокровенное знание.

Дедушка...

— Зачем ты всё время пишешь? — спросил как-то он.

— Я стану писателем, — ответил шестнадцатилетний Савелий.

— А это зачем же?

— Хочу лучше понять человека и его душу, — нашёлся начитанный внук и выдал готовый книжный ответ.

— Вот скажи мне, — продолжал дедушка, с подкупающей прямоотой подбирая слова, — ты можешь, к примеру, козье дерьмо отличить от коровьей лепёшки?

— Нет, пожалуй, — пожал плечами Савелий.

— В дерьме разобраться не можешь, а на такие вещи замахиваешься. Или, по-твоему, душа устроена проще?

Однажды наступит тот день, когда Савелию придётся расстаться со своим сельским прибежищем. Они давно договорились с женой, что отправят дочку на обучение в Великобританию; вот тогда-то сразу потребуются немалые деньги. И он вынужден будет продать эту неказистую недвижимость, чтобы внести хоть какой-нибудь — сильный — вклад в будущее ребёнка.

Однажды Савелий Петрович окажется в тесной комнате старой сталинской коммуналки и будет так же часами склоняться над письменным столом и сорить табаком, крутя в пальцах сломанную сигарету, и смотреть на дождь за окном. А дождь будет эпохальный, бесконечный, как у Маркеса.

Плохой отец и неудавшийся литератор засмеялся: ну конечно, сама собой так и напрашивается эта затасканная цитата! Любой добросовестный интеллектуал, размышляя о прожитой жизни, обязательно вспомнит Книгу Экклезиаста и закавычит что-то о суете сует и Страхе Божиим.

«Не позволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред Ангелом Божиим: "это — ошибка!" Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, — много суеты; но ты бойся Бога».

Вдруг его не то, чтобы осенила, а скорее удивила своей очевидностью, если не банальностью, ясная и прозрачная мысль: «Бог — вокруг. Не наверху, не внутри, но кругом, и человек живёт в мире, точно в ладонях Бога... или у Него за пазухой». Благо, он удержался от того, чтобы сделать новую запись.

* * *

Филимон почувствовал усталость. Какое-то прежде ему не известное пресыщение. Всё, что копилось на протяжении этих дней и ночей, вдруг навалилось невероятной тяжестью. И голова, и сердце были уже не способны вмещать нескончаемо дробившиеся, разрастающиеся впечатления, в саду которых он давно и безнадежно заблудился. Не нашлось той нити, что помогла бы вплести всё это в один огромный гобелен или вывела бы украдкой из душевного лабиринта.

Ёжику отчаянно захотелось домой. Домой! Спрятаться, укрыться от непостижимого в родной рукавице! Уж лучше носить идиотские шутки сестёр, несправедливость отца и бормотание бабушки, чем такое!

И вот, разорвав уплотнившуюся тишину, Савелий промолвил: «У меня не много друзей..., как, впрочем, и книг, которые хочется перечитывать».

Раздался пронзительный звон, как будто лопнула туго натянутая струна.

* * *

На столе лежал произвольно раскрытый том, и Филимон с жадностью припал к пожелтевшим листам; это было его последнее чтение. Как и прежде, он всматривался в длинные чёрные бороздки и вдыхал лёгкий запах дерева и праха, щекочущий ноздри, — обольстительный запах старых добрых фолиантов. И в какой-то момент запах этот обернулся роем звуков, прерывистой мелодией. Ёжик был убаюкан ею, как собственной негромкой грустью:

«Гром, грохот, песни слышались всё тише и тише. Smyчок умирал, слабела и теряла неясные звуки в пустоте воздуха. Ещё слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдалённого моря, и скоро всё стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».

Мягкой лапочкой Филимон на прощанье едва коснулся страницы.

* * *

Что ни говори, а там, в другом мире по ту сторону леса, они бы и не узнали друг друга. Нельзя войти дважды в одну реку, нельзя назначить встречу тому, что уже безвозвратно ушло. Узнавание — радость, доступная древним философам, солдатам, вернувшимся с фронта, да птицам, прилетевшим с зимовки из южных стран. Но не тем, кто потерял себя в плотном потоке повседневности.

За время отсутствия у Филимона родился брат, который на вполне законном основании занял его место в норе-рукавице.

Родные, пусть и нехотя, обнюхав, признали в возвратившемся бродяге своего. Однако отчуждение сохранялось. Что именно они не смогли простить ему? Может быть, то, что он безрассудно покинул родной дом, заставив их так долго волноваться и, в конце концов, похоронить его при жизни? Или то, что он посмел нарушить все заветы и запреты и проникнуть в тот мир, одно упоминание о коем заставляло всех ёжиков, от мала до велика, трепетать и ёжиться? Проникнуть в «тот мир» и прижиться в нём — это ли не измена?

Так или иначе, но каждому приходится однажды по всей строгости отвечать за свою одиссею.

Впрочем, обратной стороной любой утраты является и некоторое приобретение. Что же обрёл лесной Улисс, потеряв доверие сородичей и всей ежиной общины?

Он открыл в себе нечто такое, о чём и помыслить не мог до приключения. Люди придумали этому особое название: «чувства». Им нет определения, но от них невозможно отмахнуться, как от чего-то несущественного в своей неопределённости или несуществующего в действительности: если они есть, ты точно знаешь, что они есть, знаешь всем существом, пронзительно и безусловно. Когда же они уходят, остаётся память о них, не менее стойкая и прочная, чем память на враждебные запахи и приятные ароматы. Среди чувств, которые познал Филимон и которыми он не мог, увы, поделиться со своими сородичами, выделялись тоска по дому, чувство бездомности и страх потери себя в чуждом мире. А ещё благодарность к тому, спрятанному во мху, засохшему и позабытому опёнку, воспоминание о котором помогло Филимону окончательно не замёрзнуть в лесу. И, конечно, удовольствие от чтения.

Отныне тени переплетённых веток, неровности коры, россыпи ежевики прочитывались им как послания из того далёкого пространства-времени, в котором он вдыхал тлен старинных страниц. Не прямые указания, побуждения или команды, но, скорее, смутные намёки, переходившие в непривычные ощущения и невыразимые чувства. В этих хитросплетениях было теперь нечто большее, чем в знакомых узорах из шишек, означавших «Осторожно, лиса!», «Будь готов к сбору ягод!» или «Спасайся, кто может, — паводок!». Но что именно, Филимон затруднился бы объяснить кому-либо, даже Савелию.

Да и не это составляло теперь предмет Филимоновых забот. Нашему герою предстояло взростеть, обретать себя там, где всё ещё не прочитана ни одна книга. Ему предстояло быть ежом среди ежей, ежечасно доказывая себе и другим свою сопричастность, неотделимость от этого славного молчаливого братства. Ведь носить на спине иголки, поверьте, ещё не значит быть стопроцентным ёжиком!

Савелий сидел на кухне доставшейся от отца коммуналки и смотрел в окно, а за его спиной сумрачная неразговорчивая соседка жарила беляши, периодически смахивая в раковину пепел тлеющей сигареты. Раскалённые капли шипящего масла то и дело попадали на его шею. Писатель понимал, что его присутствие нежелательно, что он мешает, но в силу какой-то инерции продолжал неподвижно сидеть, глядя в одну точку. Он и сам не заметил, как задремал. И за каких-нибудь пару минут ему приснился сон, отделивший от него уже прожитое и исчерпанное прошлое.

Савелию приснилась дочь, но не теперешняя, а старше, в том цветущем возрасте, когда в облике ребёнка так странно обнаруживаются твои преображённые черты. Отец зачарованно наблюдал за этим финальным ритуалом: вот восемнадцатилетняя девушка срывает перед ним завесу, открывая взору огромный, удивительно красивый и замысловатый, белоснежный, точно иней на стекле, орнамент, и легким мановением руки приводит его в движение; он плавно вращается, издавая звон или тихую, нежную мелодию волшебных шкатулок...

P. S.

Дорогая дочка!

Эту сказку твой папа начал писать зимними ночами, стремясь заговорить хворь и убаюкать бессонницу. А закончил на исходе весны, в конце мая, когда мысли об отпуске всё чаще посещают усталых служащих. Впереди ещё лето и осень — прекрасное время для чтения.

Февраль 2007 — май 2011



Любовь АРТЮГИНА

/ Мендиг /

* * *

Прохладный дым усталых облаков
 Похож на тень февральских эпитафий.
 Мой снег едва мелькнул
 И был таков.
 И хочется на масленицу вафель.

Но светом наполняется кувшин,
 Поставленный с утра на подоконник,
 Где луковка ожившая спешит
 Пустить в стакан разбуженные корни.

Ещё тепла — и расплеснётся высь,
 В неясной мгле нашедшая зазоры.
 Быть может, так..
 Но всё равно приснись —
 В снегу твоём у старого забора,

Где в поздний час — ни радостей, ни бед,
 И в тишине, вернувшейся из странствий,
 Есть только жизнь, летящая на свет,
 И нежное касание пространства.

* * *

Пахнет, как в детстве, дымом,
 Сыростью, лаем собак.
 Бог — золотой воды нам —
 Не заготовил бак.

Так, про себя, мерцаем.
 Цой, безусловно, жив.
 Не отыщу лица я —
 С ветром летят ножи.

Время проходит насквозь.
Времени полночь нет.
Тихо во тьме и ласково,
И никого извне.

Слышно: листва спадает —
Падает просто, и всё.
Так вода золотая
Реки свои несёт.

* * *

...ты думаешь: «бедное время!»,
сажаешь его на колени,
баюкаешь в холод и темень,
и шепчешь ему: «спи, дитя.

приснятся тебе на рассвете
дворы, беззаботные дети,
звезда золотого покоя,
и добрые лица трудяг
в лучах заказных кинохроник,
задёрганный дедушка ленин,
и детской мечты электроник,
бегущий по лезвию лет.

не плачь, ничего, мы отыщем
и сны, и дорогу, и пищу,
и вход в государство такое,
где нас не найдёт нофелет».

* * *

Раскрыть стихотворение и взять
Живой воды на утро и на вечер,
На долгую дождливую тетрадь,
На светлую намоленную встречу. —

Пусть время жжёт безгрешную листву,
И всхлип её растерянный и гулкий
Покорно примыкает к большинству
О прожитом жалеющих в проулке.

Пусть вместо звёзд окажется дисплей,
Усталостью разбитый на осколки,
И тянутся за ними из полей
Размытые дороги и просёлки. —

Последней стаей мчатся в небеса,
Травой, щебёнкой, прахом посыпая,
И падает горящая слеза,
Над сумраком дотёкшая до края.

* * *

И вдох, и взмах, на выдохе ветра,
Когда в висках гудит земная тяга,
Где мой дымок от общего костра
Возьмёт себе какой-нибудь бродяга.
Он улыбнётся, голову задрав,
Когда другие тени во дворах
Поманит высота глухонемая,
Где воздух лиц прозрачный и живой
Вдыхает Бог бродяжьей тишиной,
Бескрайний свет и нежность выдыхая.

* * *

За стеклом пустота и ветер.
Перестук временных колёс.
Пожелай мне счастливой смерти
Без морфина и детских слёз. —

Подойдёт и возложит руки,
Тишиной наполняя взгляд,
И тогда на последнем звуке
Полустанки мои сгорят.

Задрожат кровяные нити,
Обрываясь во мглу строкой —
Это избы мои в зените
Отошли к стороне другой.

Затаит облегчённый выдох
За кулисой стоящий век.
На крыльцо золотое выйду
И ступлю босиком на снег...

* * *

Мы споткнулись о Красную площадь,
О звезду расцарапали лбы —
Посмотри, как нещадно полощет
Чудаков на порогах судьбы.

Ни креста на тебе, ни рубахи,
И в глазах не растаявший снег —
Из каких позабытых епархий
Ты бредёшь по земле, человек?

Очарованный берег далече.
За туманом не видно ни зги.
И во мгле догорающей речи
Сквознячок забубённой тоски.

Ни духов, ни чудовищ, ни истин.
И в поля отходящая тень,
Задрожав, прикасается к листьям
Серебром на прозрачной воде.

* * *

Вдохни, вдохни земную грусть —
В последний раз, быть может, дышишь,
Листву читая наизусть
Непрекращающихся вишен,

Летающих в небо на ветрах
Зелёным сном, багряной тенью,
От опустелого двора
На золотое Средиземье.

Быть может, с воздухом простым,
Твои тревоги и ненастья
Переживут и этот дым
Перепополняющего счастья.

* * *

Тихий дождик, немного туманно,
В полутьме переκληки синиц.
И с платком достаёшь из кармана
Неуют европейских светлиц.

Так захочется в поле родное,
В дорогую дорожную хлябь,
Где живую и мёртвой водою
Времена золотые болят.

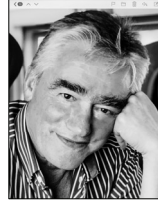
Пробираться в лесу сквозь валежник
И, когда наступаешь на мох,
Выдыхать безнадёжно и нежно
В тишину человеческий дымок.

И смотреть без движенья, без слова,
Как теплеет прозрачность за ним,
И какой глубиной очарован
Где-то в ней исчезающий дым ...

2019

Борис ФАБРИКАНТ

/ Борнмут /



АЭРОПОРТ

Здесь перспектива переходов
Готовит дальний перелёт,
Где долгий окрик пароходов
Услышит в небе самолёт.

Набросок неба в тонкой раме
И облаков смешной парик,
И звёзды юными цветами
Летят на пароходный крик.

Слетают бабочкой отселе,
Меняя бортовой маршрут.
Тут плоскости, шасси, пропеллер,
Там паруса, корма и ют.

Так в щель заброшенный жетон
Рождает перемену странствий.
Вредит Вселенной постоянство,
И Млечный путь ей камертон.

И по нему пока возможно
Настроить мир на ноту *ля*.
И с божьим взмахом осторожно
Колков касается Земля

* * *

Растворились в ночной темноте
Беды, страхи, мечты и потери.
И в крошечной тугой пустоте
Люди спят, как уставшие звери.

И не чувят касанья руки,
Ни угрозы, ни ласки не чувят.
На цветном берегу у реки
Под названием Время ночуют.

Я проснулся от шороха волн
Со следами небесных мерцаний.
И качнулся темнеющий чёлн.
Перевозчик застыл в ожиданье.

Рябь сверкнёт в предрассветной тиши,
Как гравюры старинной страница,
Там сканируют оттиск души —
Переправа, контроль на границе.

Манит тайною та сторона.
В этот час, и не поздний, не ранний,
Мне б доплыть не до самого сна,
До короткого чуда свиданий

* * *

Будь осторожен, уйди от греха.
Звонкие буквы хрустят под ногами,
Что разлетелось, слагали слогами —
Больше не услышать.

Ты узнаёшь, как в простуженном детстве,
Горлом и болью в груди,
Некуда, Боже, от холода деться,
От холодов впереди.

Искрами льдинок скребётся по горлу,
Шепчет неслышно душа,
Если вокруг всё замёрзло и голо,
Теплится, еле дыша.

Будь осторожен, порежешь краями
Пальцы и лучше не трожь
То, что вчера ещё было словами
Горе, любовь или ложь.

И не узнаешь и не опишешь,
Что разлетелось навек.
Только запомни всё, что увидишь,
Не открывая век.

* * *

Горячее молоко, сода и мягкий мёд,
масло плавёт, как желток, островком.
Этот рецепт со мною живёт
впитанный с маминым молоком.
Если простуда, гланды, можно лежать-читать,
в школу ходить не надо, туда-обратно.
Но одеяло к печным изразцам прижать,
чтобы теплом накрыть меня старым ватным.
Там за окном зима, тьма на несколько дней,
простуда пройдёт сама, или уйдёт за ней
и отпадёт листком: веточка, календарь?
Это потом dot.com, адрес простой — январь.
Тянется новый год резаный на куски,
счастье принесёт, или крошки с руки.
Длинно журавль кричит, кличет синицу в руке.
Жёлтенький островок
плавает вдалеке

* * *

А время не часы, а память —
Любовь и жест, слова и лица.
Мы никогда не знаем сами,
В чём наша память отразится.

И увеличенные блики
Сегодняшних серийных фото,
Как письма счастья, многолики.
И документы для учета,

И доказательства, что жили,
И марки праздничных конвертов.
Их тысячи погонных метров,
Где нас на цифры разложили.

Но кто, сидящий у дороги
Расчерченной колёсным следом,
В полученных перед обедом
Конвертах разбирает слоги

И расправляет на ладони,
И разделяет ложь и быль?
А день уже лежит на склоне,
И карточки спадают в пыль.

ФОТОГРАФИИ

Как встретишься с Господом, селфи
Пофоткай на фоне луны,
Как будто вы рядышком сели
К смартфону с одной стороны.

И немощного и раздетого,
Рукою тебя охватив,
Твой Бог, не предвидевший этого,
Улыбку пошлёт в объектив,

Потом я не знаю, что будет.
Но там, куда гаджет спадёт,
Бульдозер звенящую груды
В отхожую яму сгребёт.

* * *

Сложу бумажный самолётик
У самого начала дня.
Он улетит как беспилотник,
Оставив во дворе меня.

Но есть в ангаре, слава Богу,
Запас тетрадок на потом.
Отправлю в небо на подмогу
Машину крепкую листом.

Они там крутят иммельманы,
Петлю, вираж, переворот,
А дворники ругают маму,
Что застит небо самолёт.

Года на бреющем слетели,
Забыв про высший пилотаж,
Давно бумажные модели
Не выпускает экипаж.

Но вижу, вижу на исходе
Обычного, как цифра, дня,
Мой самолётик в тучах бродит,
Не улетая от меня.

Руслан ОМАРОВ

/ Париж /



БИТВА ПРИ СЕНТ-ОЛБАНС

Внушительное состояние, путем интриг и вымогательств накопленное в бытность вице-губернатором, позволяло старине Аристарху вмешиваться в крупные исторические события, не считаясь ни с какой академической хронологией и руководствуясь исключительно сиюминутными капризами.

— Лишь коварный маневр графа Уорика позволил Йоркам победить при Сент-Олбанс,— заявил он за завтраком в Пари-Мариотт, возбужденно потрясая коллекционным томиком Шекспира.— Я подробно изучил план сражения и теперь знаю, как все исправить... Ты слышишь? Брось к черту свой бекон и иди сюда!

На столе у него были расстелены старинные карты, испещренные неряшливыми пометками, замысловатыми стрелками и флажками, которые, судя по всему, иллюстрировали батальную сцену. Вот зачем он вчера провел полдня в исторической библиотеке.

— Гляди, тут аббатство, а здесь три дороги, по которым двигались войска Ричарда. Если бы граф Уорик не прошел сады на Шропшир-Лейн и не ворвался на площадь, где несчастного Генриха VI окружала лишь горстка преданных рыцарей, все сложилось бы иначе для Ланкастеров! Именно в этом месте мы его и остановим!

— В каком смысле? — спросил я, прекратив жевать и испуганно стиснув в руке салфетку.

— В самом прямом! Между прочим, пока пьешь кофе, зайди на сайт Eurostar и закажи нам билеты до Кале! Там мы захватим двести арбалетчиков из Фландрии, которых я нанял ночью через Национальное агентство по трудоустройству с помощью моего кипрского офшора. Это настоящие головорезы, ветераны битвы при Форминьи, и они, конечно, ни слова не понимают ни по-английски, ни по-французски, но не переживай, в заявке я указал «сезонные работы, требуется переводчик»! Мы погрузим наше войско в поезд, пересечем Ла-Манш по туннелю и высадимся на английском побережье, откуда быстрым маршем доберемся до Дартфорда, затем до Хат-

филда — и вот мы уже в Сент-Олбанс. Автобусы будут ждать нас в Дувре, таким образом мы минуем пересадку в Лондоне, где такой шопоголик, как ты, конечно не удержится, чтобы потратить весь вечер, выбирая себе галстук на Оксфорд-Стрит!

— Это я шопоголик?!

— Ну не я же... — невинно отмахнулся от меня Аристарх. — Брось дуться! Как видишь, я все предусмотрел и еще до завтрака успел многое сделать! Главное, я отправил письмо герцогу Сомерсету и получил ответ, в котором мне обещаю титул графа Уэстморленда, если, конечно, король сможет отнять его у Невиллов! Все вместе займет полдня, и мы успеем вступить в битву на стороне Генриха, да хранит его Господь. Точнее...

— Точнее... — повторил я, предчувствуя недоброе.

— Точнее, именно ты возглавишь наш авангард на баррикадах, которые преградят дорогу Уорику. Я же затаюсь в резерве, выжду нужный час и ударю ему во фланг из засады. Я опрокину его воинов на колонны графа Солсбери и таким образом смешаю ряды наступающих. Мы с герцогом Сомерсетом повернем реку истории и навсегда изменим судьбы Англии!

— А-а... — открыл я было рот, но не успел и слова сказать, как был подхвачен смерчем его всесокрушающего энтузиазма. Смутно помню лишь исполинские арки фасада Гар-дю-Нор и чугунные колонны, воздетые к стеклянной крыше над платформами, пассажирскую суету, сырой и соленый воздух Кале и новую толчею, в которой мы едва друг друга не потеряли. Затем какие-то грузовые вагоны на запасных путях и вдруг, после странного полусонного замешательства — длинные разноцветные автобусы, празднично украшенные флагами с белым танцующим жеребцом, гамбургер, недоеденный в арендованной «Тесле», низкое и сырое небо Кентербери и стада атлантических облаков, обгоняющие нас в своем странствии на север. Задумавшись о том, как они прольются долгими весенними дождями в Кембридже и Суффолке, я едва не свернул вслед за их фронтом, но Аристарх, будто заранее угадав мое настроение, властно положил руку на баранку и направил нашу кавалькаду по M25, в объезд Большого Лондона. Так, в точности с его планом, мы оказались вначале в Эссексе, затем в Хартфордшире, в Сент-Олбанс, где 22 мая 1455 года уже стояли войска Сомерсета и сам король Генрих VI, на короткое время очнувшийся от своего мучительного безумия. Приметив еще не занятую другими рыцарями харчевню, старина Аристарх выгнал из нее простых горожан, раздавая направо и налево тумачи и затрещины. Перед дверьми он развернул свое знамя и отсюда взялся руководить нашим отрядом, который оставил на улицах этого маленького городка. Большую часть его он, как и задумал, сразу отправил в засаду. На военном поприще мой приятель и сам не знал покоя, и никому из окружающих его не давал. Пока его гонцы кубарем вылетали из двери с депешами к Сомерсету и Клиффорду, пара английских пажей, похо-

жих на тропических попугаев, наряжала нас в роскошные доспехи, инкрустированные золотом и серебром и доставленные FedEx пряником из Милана.

— ...причем тут я?! — удалось мне наконец договорить, когда кольчужная пелерина со зловещим звоном упала мне на железные плечи. Отпихнув пажа с громадным шлемом, напоминавшим птичью голову, я, скрипя латами, повернулся к Аристарху. — С чего ты вообще взял, что я могу задержать Уорика?! И кстати... эти твои фламандские арбалетчики! Что за выдумки?! Я в жизни никем не командовал, кроме тихих клерков в министерстве финансов!

— Это почти одно и то же, — беззаботно ответил Аристарх, в восторге стуча себя по червонному нагруднику серебряной перчаткой и разбрасывая вокруг своего громадного металлического тела снопы новогодних искр. — *Je suis sûre que ce n'est rien!*¹ Чего ты боишься? Это же обычное чумазое отребье из-под Брюгге и Гента, а не сарацины какие-нибудь. Отвесь им пару подзатыльников да накричи как следует по-господски, и они станут послушными, как овечки!

— Но как я буду сражаться?!

— Главное, почаще размахивай клинком и корчи такие вот примерно физиономии, остальное за тебя сделают солдаты, на то они и явились на свет из грязной холопьеи утробы, как какие-нибудь клопы или мыши. Эй, хозяйка, не прячься под столом, а лучше неси-ка нам молочного поросенка и тот пузатый бочонок анжуйского, что я видел у тебя в погребе!

— Сэр, я бедная вдова из Истчипа, нигде не находящая защиты, а ваши люди разорили мой дом, — отозвалась женщина. — Вы уже съели и выпили все мои запасы, и не заплатили ни шиллинга!

— Вот еще невидаль! — захохотал Аристарх. — Мы здесь, чтобы защитить бедного короля Гарри, и ты должна быть довольна, что кормишь нас даром! Я новый лорд Уэстморленд, заступник престола, а это моя свита!

— Богомерзкие французские разбойники — вот вы кто, сэр! Не зря я голосовала за Brexit!

— Поверьте, сударыня, мы не такие, — я поспешно взял хозяйку за руку и тайком вложил в нее свою кредитную карту. — Здесь, наверное, хватит покрыть ваши убытки.

— Благослови вас бог, сэр, — мрачно процедила наша хозяйка. — Но, как оно кончится, я все равно пойду к констеблю в Хартфорд и нажалуюсь ему на вашего друга. Может, он и важная птица, раз наш слабоумный король позволяет ему безобразничать, но пусть казна мне заплатит, что следует. Да, сэр! Тут вам старая добрая Англия, а не Франция, где, как говорят, знать не ставит простого человека и в полпенни.

¹ Уверен, все будет в порядке! (фр.)

— Брысь! — топнул на нее громадной ногой Аристарх, так что пол затрясся, и поманил меня. — Дай-ка, я сам препоясаю тебя мечом. Вот так, видишь, какой ты у меня герой... Чу! Слышу, воют трубы и грохочут барабаны! Чертовы йоркисты уже показались! Теперь ступай и построь наших бравых молодцов поперек Шропшир-Лейн, да поплотнее, чтобы граф Уорик издали разглядел их свирепые фламандские рожи!

С этими словами он расцеловал меня в обе щеки и, что меня особенно насторожило, в лоб.

Если вы никогда не видели вблизи средневековых солдат, то нечего и объяснять, насколько подобное зрелище способно деморализовать безобидного чиновника, которого послали ими командовать. Одного взгляда на их грубую кожу, напоминавшую закопченную шкуру, на эти ухмылки, щерящиеся гнившими зубами, и на похожие на заводские болты пальцы, которыми они сжимали свои арбалеты, одного, повторяю, взгляда хватило мне, чтобы зашататься на месте, едва не свалившись в обморок. Но пара пажей бросилась из дверей харчевни и бережно поддержала меня с обеих сторон. Тут же рядом явился некто смуглый, в тюрбане и зеркальных очках, с планшетом в руках. Осторожно скосив глаза, я увидел на экране открытую страничку Google Translator и догадался, что это переводчик, присланный рекрутинговым агентством в одном автобусе с наемниками.

— Друзья мои, — сигло сказал я фламандским арбалетчикам, избегая, однако, смотреть им в глаза. — Сердечно рад нашему знакомству и надеюсь, что мы дружно сработаемся, выполняя исторически важное задание, поставленное перед нашим коллективом. Ваш бодрый, деловой вид, ваши приветливые улыбки внушают мне уверенность, что здоровый командный дух, свободная инициатива и открытый демократизм в управлении помогут нам стать не просто административной единицей, а настоящей семьей. Итак, в путь!

Арбалетчики мои молчали, поплеывая на землю. Потоптавшись в отчаянии, я поднял руку в стальной рукавице, сжал ее в слабый кулак и жалко улыбнулся в сторону распахнутых ворот.

— Клянусь Архангелом Михаилом, что за сброд! — возопил переводчик, который, казалось, только этого и ждал, и к тому же таким сатанинским голосом, что я слегка присел в своих громоздких латах. — Жалкие отбросы и висельники! Не знаю, из какой смердящей фламандской деревни вы явились, но вы так же похожи на солдат, как двухлетний баран верхом на свинье! Хорошо, если каждый десятый успеет натянуть арбалет, прежде чем у вас в брюхе окажется по два вершка английской стали! К счастью, отсюда вы отправитесь прямоком в преисподнюю, где вам самое место! Но вначале вот этой самой рукой я выколочу из вас по выстрелу и, ручаясь Святым Духом, если только они не попадут в цель, я повешу вас без исповеди вон на тех воротах прежде, чем в них покажутся проклятые йоркисты!

— Is that Flemish exactly?¹— шепотом спросил я пажа слева.

— I'm not one to judge, sir, — также шепотом ответил мальчик, — But it seems they understand perfectly what your man has told them².

И действительно, в рядах воинов стало заметно веселое оживление, издевательский прищур на их лицах сменился уважительными гримасами, и они принялись прилежно строиться в шеренгу с такой поспешностью, словно уже стояли в очереди за своими чеками.

— Вперед, ребята! На Шропшир-Лейн, где, я верю, нас ждет победа! — приободрился и я, с грохотом карабкаясь на смирную лошадку с помощью чьих-то дюжих, но заботливых рук. — Фландрия и Ланкастер!

— Веселей шевели окошками, ублюдки! — дружески подхватил переводчик, не отступая от меня ни на шаг. — На ту зловонную улочку, черт-знает-как-она-там-называется, где вам всем наверняка выпустят кишки! Содом и Гоморра!

Мы вышли на Шропшир-Лейн, будто гусыня со своими гусятами. Не прошло и полчаса, как под напевную ругань воины соорудили ненадежную баррикаду из обломков изгороди и нескольких крестьянских телег — и вовремя, поскольку шагах в пятидесяти показался вражеский отряд с развернутыми вымпелами. Войско возглавляли три нарядных рыцаря, судя по энергичным жестам, воодушевлявших своих подчиненных в такой же задушевной манере.

— Приготовьтесь, товарищи! — воскликнул я и опустил на лицо забрало. — Враг приближается!

— А ну, не ленись, псы продажные, натягивай тетивы! — почти синхронно заорал переводчик. — Вот и ваша смерть наконец показала свой костлявый нос!

— Gorgeous sir! — окликнул меня кто-то у самого седла. — My lord of Westmoreland sends you this red rose for you pin it onto your breastplate as a sign of fidelity to House of Lancaster!³

Это был тот самый мальчик-паж, с которым мы перешептывались у харчевни. Он действительно протягивал мне алую розу, качающуюся на длинном колючем стебле.

— You've to get out of here! — завопил я, чувствуя в животе неприятную пустоту. — Run away now and shelter yourself somewhere in Abbey! This is no place for children!⁴

— Oh no, sir! I'll stay with you and win the knightly spurs under your glorious banner!¹

¹ Это точно по-фламандски? (англ.)

² Не возьмусь судить, сэр, но, похоже, они прекрасно понимают, что говорит им ваш человек (англ.)

³ Великолепный сэр! Лорд Уэстморленд передал вам эту красную розу, чтобы вы прикрепили ее к своему нагруднику в знак верности Дому Ланкастера! (англ.)

⁴ Тебе нужно выбираться отсюда! Беги сейчас же и укройся где-нибудь в аббатстве! Здесь детям не место! (англ.)

Этого только не хватало! Пока я лихорадочно подыскивал в уме какую-нибудь особенно убедительную педагогическую тираду, на нашу кучу досок посыпались вражеские стрелы. Одна из них вонзилась в тележное дышло прямо перед моим носом, а другая с отвратительным треском ударила меня в нагрудник, в то самое место, где старина Аристарх, вероятно, рассчитывал видеть приколотый цветок. Мой переводчик оказался рядом и, взмахнув планшетом, поймал третью стрелу, расщепившую дешевый индонезийский корпус пополам.

— Мамочки! — пискнул я переводчику. — Ради бога, уведите отсюда ребенка! И меня!

— Стоять насмерть! — перевел он невозмутимо, швырнув в грязь планшет и извлекая откуда-то изогнутый меч с сингапурским клеймом. — Клянусь Вельзевулом, мы все отправимся напрямиком в ад!

С отборной фламандской матерщиной арбалетчики сдвинули свои башенные щиты и, прикрываясь ими, принялись отстреливаться. Я с трудом старался рассмотреть хоть что-нибудь сквозь шлем, но, судя по торжествующим воплям, доносившимся до меня со всех сторон, первую атаку графа Уорика мы кое-как отбили.

— Draw your sword, gorgeous sir! — крикнул паж, трясая мое стремя. — They're going to back again!²

Подчиняясь ему и ерзя в неудобном седле, как в мышеловке, я вытянул из ножен меч и замахал им над шлемом, срезав собственный плюмаж и едва не свалившись с лошади.

— Помощь близко, друзья! Сейчас лорд Уэстморленд ударит им во фланг!

— Не ждите никакой пощады, погребные крысы! — раздался откуда-то сбоку добросовестный перевод. — Мы в ловушке!

Второе наступление йоркистов оказалось куда решительнее первого. Под пение труб они сломали часть нашей баррикады и вступили с нами в рукопашную. Фламандцы орудовали своими арбалетами, точно дубинами, опрокидывая врага назад, на Шропшир-Лейн, но и сами падали один за другим. Вдруг, расшвыряв доски, прямо на меня выкатилась лошадиная морда, вся в крови и пене, а следом за ней — рыцарская голова, похожая на чугунную печку, и перчатка, охватившая рукоять чудовищной булавы. Эта булава взлетела и опустилась, как молот, вколотив меня в седло. Не знаю, каким образом я ухитрился в нем удержаться, закрывшись щитом и вслепую тыча во все стороны непослушным клинком, но, как ни странно, какие-то из моих выпадов достигли цели, потому что нападавший драматически закричал и свалился с коня прямо под ноги пажу.

¹ О нет, сэр! Я останусь с вами и завоюю рыцарские шпоры под вашим славным стягом! (англ.)

² Обнажите свой меч, великолепный сэр! Они собираются вернуться! (англ.)

— Yield yourself, sir! — сказал мальчик со сказочным спокойствием, опускаясь возле рыцаря на одно колено и приставив к горловине его шлема острие кинжала. — For my chivalrous master gives you life!¹

— I yield me, sir, to your benevolent mercy², — печально прогудел рыцарь из-под забрала и выпустил из рук свою страшную булаву.

Но в остальном вокруг нас все нарастал и сгущался хаос. В нем смешались всплески света, отраженные металлом, смазанные мельканием пятна чьих-то лиц и рук, звон и грохот ударов, которыми обменивались друг с другом люди, их стоны, брань и последние молитвы к Спасителю. Такова была битва на Шропшир-Лейн, если смотреть на нее изнутри. В несколько мгновений от баррикады не осталось ни щепки, еще живых фламандцев смело потоком вражеских тел, моя лошадь оступилась и выбросила, наконец, меня из седла, а едва я встал на ноги, опираясь на мальчика, как мне на руки, словно в дурной пьесе, рухнул переводчик, с ног до головы залитый кровью.

— Врача! — позвал я зачем-то, хотя широкая дыра в его груди красноречиво говорила сама за себя.

— Пожа... — прохрипел переводчик, скользкой от крови рукой пытаюсь поймать мою. — Пожалуйста...

— Что? — зарыдал я.

— Пожалуйста, оцените качество обслуживания на нашей фидбэк-страни...

Не договорив, он уронил голову мне на ладонь — храбрый маленький человек в смешном тюрбане, до последнего верный своему долгу.

— Где эта скотина Аристарх?! — выпрямился я с почти невесомым телом в руках. Но мы стояли посреди постепенно затихающей битвы, которая скоро рассыпалась на отдельные обреченные стычки и затихла. Уорик победил, его солдаты рвались в Сент-Олбанс, не обращая на нас внимания...

Спустя час город и аббатство были в руках нападавших. Измазанный слезами и штукатуркой, как демон из преисподней, вцепившись в плечо паж и хромая, я приблизился к нашей харчевне. Разумеется, знамени с тремя латными рукавицами в лазурном поле, графского герба Уэстморленда, присвоенного стариной Аристархом, уже не было. Вместо него на копье развевался какой-то чужой флаг, с золотым шевроном и тремя львиными головами. Однако, подойдя ближе, я увидел охраняющего копье фламандца из нашего резерва, вооруженного арбалетом. Он стоял подбоченившись, будто на параде. Другие наемники, как ни в чем не бывало, юркали по вдовьему двору, таща отовсюду гусей и поросят, пропоротые мечами мешки с какой-то снедью и прочую военную добычу.

¹ Сдавайтесь, сэр! Ибо мой благородный господин дарует вам жизнь! (англ.)

² Сдаюсь, сэр, и вверяю себя на вашу благосклонную милость, сэр (англ.)

— Что все это значит?! — схватил я одного за куртку. — Отвечай, висельник, почему вы не пришли на помощь, не то сейчас вышибу тебе остатки зубов!

— Ваша милость! — вскричал этот солдат. — Клянусь Пречистой Девой, лорд Эгрмонт велел нам сидеть здесь, пока его светлость граф Уорик не возьмет этот городишко, а затем мы вместе ударили в тыл предателю и узурпатору Сомерсету.

— Лорд Эгрмонт?!

— Он самый, ваша милость, ваш друг и наш полководец!

— Аристарх?! За кого же мы стояли? — растерянно спросил я.

— Ваша милость, утром мы стояли за Ланкастер, — отпихнул меня арбалетчик, — а к полудню уже за Йорк! Это ведь Война Роз! Вопиющая летопись взаимных предательств и удручающее свидетельство цинизма и вероломства английской аристократии! А теперь, прошу меня простить, я должен запостить это сэлфи в Инстаграм Джорджа Мартина, пока мы снова не поменяли знамена!

— Ну вот, опять ты дуешься! — сразу же набросился на меня старина Аристарх, отрывая от своего молочного поросенка целые ломти жемчужными, крепкими клыками. — Садись-ка рядом и подкрепись. Тебе нужно научиться снимать стресс, знаешь ли. Я все понимаю, у тебя был тяжелый день, но пока ты героически сдерживал Уорика на баррикадах, я многое успел сделать! Главное, я обменялся с ним письмами, пообещав свой меч и получив в обмен титул графа Эгрмонта, если, конечно, Лорд-Протектор сможет отнять его у Перси. Подумай сам, ведь это дает мне пэрство! Никакие дзюдоисты из Ленинградской филармонии о таком даже мечтать не смеют, даром что застроили особняками Кенсингтон и Челси... Кстати, почему у тебя на нагруднике до сих пор красная роза? Разве мой второй паж, с белой, тебя не встретил?

— Ну и свинья же ты!

— Все понимаю! Все! — воздел свои медвежьи, измазанные в ароматном жиру и украшенные дорогими перстнями ладони Аристарх. — Чувство справедливости сжимает в тисках твою мужественную грудь! Кровь павших стучит в твое благородное сердце! Но ты прекрасно знаешь, я всегда был за историческую правду, и никаким предательским силам не повернуть ее реки вспять! Мы с графом Уориком удержим Англию на ее подлинной, высокой стезе. Поэтому довольно строить такую кислую мину. Эй, хозяйка! Неси-ка нам гусиную печень и тот пузатый бочонок бургундского, что я приметил у тебя на чердаке! А раз нынче я стал еще богаче и еще могущественнее, проси, сердечный друг, у меня все, что хочешь!

— Рыцарские шпоры этому мальчику, — сказал я с безнадежной усталостью. — И пароль от вайфай. Я должен оставить отзыв.

ИМПРЕССИОНИЗМ

— Неловко как-то получилось, — признался старина Аристарх, сквозь сильную лупу разглядывая распростертое на ковре тело натурщицы. — *Croyez moi*¹, у меня вовсе не было таких намерений.

— Еще бы! — откликнулся я и выглянул из-за спинки кресла. — Я ведь предупреждал тебя, что с твоей мускулатурой и темпераментом увлекаться импрессионизмом слишком рискованно. И вообще, этот новый македонский стиль — с двумя малярными кистями в руках — он... чрезмерно импульсивен, *si tu le veux*². Кое-кто даже говорит, что в твоих картинах нет ничего, кроме кузнечных ударов по холсту, тем более бессмысленных, что в порыве вдохновения ты часто забываешь взять краску.

— Кто так говорит?! — зарычал старина Аристарх.

— Да хоть бы Серюрье! И, кстати, что теперь делать? Это ведь была его натурщица, он точно будет ее искать. Хотя, может быть, все обойдется? Не хотелось бы провести остаток дней в Консьержи, пусть даже в твоей компании. Знаешь что... лучше поищи зеркалаще и проверь, дышит ли она.

— Нет времени на удовлетворение твоего криминалистического любопытства. Дышит или не дышит, давай завернем ее в гардину, возьмем на плечи и отнесем в Латинский квартал. Я знаю одно кафе на бульваре Сен-Мишель, где она любила выпивать по утрам рюмку ликера. Усадим ее незаметно за столик. Хватайся за ноги...

— А если нас остановят жандармы?

— Вздор. Еще слишком рано. Мы пойдем вдоль набережной, как будто выбирая место для зарисовок собора. Теперь каждый дурак рисует собор по утрам! Самое большее — встретим несколько сонных букинистов... Что ты копаешься?!

— Ее нужно одеть, — неуверенно ответил я. — Будет подозрительно, если мы оставим ее в кафе голой.

— Не отвлекайся на эту академическую детализацию! Я должен как можно скорее вернуться в студию и закончить картину, пока помню, что хотел изобразить.

Я подобрал с ковра обрывок холста, пробитый револьверной пулей.

— Не понимаю, зачем тебе вообще была нужна натурщица, если ты писал натюрморт с этого пошлого блюда с гранатами?

— Вначале это был портрет купальщицы в тазу, — огрызнулся Аристарх, взваливая сверток мне на плечо. — Знаешь, такой оммаж Дега... Хватит стонать, как несмазанное колесо! Тебе надо тренироваться, *mon gentil*³. Она весит, как перышко, а у тебя, гляди — уже ноги разъезжаются! Хм-м, о чем я говорил?

¹ Поверь (фр.)

² Если хочешь (фр.)

³ милый мой (фр.)

— Дега, — прокричал я.

— Да, Дега! Довольно мирная картина, даже меланхоличная... Но в какой-то момент я отвел глаза и заметил тускло-золотое пятно света на боку граната, который ты не доел. Вдруг оно вспыхнуло, как нефтяной факел в сирийском репортаже CNN — я мгновенно передумал! Фонтан пикселей, мне даже захотелось развести его пальцами, чтобы увеличить! Не понимаю, почему ты так скептически смотришь... Разве у тебя самого так не бывало? Натурщица загораживала мне перспективу, и я попытался отодвинуть ее кистью. Вот и все, подумаешь какая драма!

— Мне тоже досталось, между прочим, — пожаловался я. — Хорошо, что кресло было рядом. Ты должен предупреждать, когда экспериментируешь с жанрами.

— Вот еще! В этом ведь вся прелесть импрессионизма! Уже светает... — выглянул он в окно. — Пожалуй, я надену эту венецианскую полумаску.

— А я?

Без слов Аристарх отвернул угол гардины, и тот упал мне на шею, закрыв пол-лица.

Спустившись на лифте в холл, мы миновали консьержа и пошли в сумерках, в полосатых утренних тенях. Аристарх шагал впереди, энергично и широко, как землемер или ассирийский бог, направляясь к мосту. Оттуда доносился вязкий запах Сены. Мой приятель был все в том же вечернем фраке, в котором я накануне встретил его в опере, лишь распущенный галстук небрежно висел по обе стороны его каменного подбородка. Что-то в его облике, возможно, полумаска, напоминало о Бэтмене. Белый шелк манишки, кое-где измазанный краской, мерцал сам собой, будто перламутр. Я плелся позади, сгибаясь в три погибели под тяжестью завернутой в гардину натурщицы. В этом было столько парижской готики, что хотелось курить.

— Понеси ее немного сам, — захныкал я вскорее.

— Замолчи! Ты мешаешь мне сосредоточиться! И вообще, будь мужчиной! Видишь, что я говорил: на набережной почти ни души? Приободрился и иди ровнее, а то уронишь ее за парапет... О, как кстати!

Аристарх остановился у железного киоска, который в эту самую минуту отпирал старый букинист, и даже помог тому откинуть громоздкую крышку. Я обливался холодным потом, отворачивая от них лицо.

— Mille mercis, monsieur!¹

— Je vous en prie!¹ Рановато для торговли, нет? — задумчиво спросил Аристарх, изучая книги на прилавке. — Что это у вас

¹ Тысяча благодарностей, мсье! (фр.)

здесь? Альбом карикатур? Позвольте полистать... Жилль и Домье! Отличная подборка!

— О, прекрасные гравюры, мсье! Вы, разумеется, найдете издание слегка поздневатым — видите, начало 20-х? Зато оцените состояние красок! А как шумят страницы! Ни с чем не сравнить! Прислушайтесь!

— Я беру ее, — решил Аристрах, взвешивая в руке тяжелый альбом.

— Позвольте спросить, — прищурился старикашка, потирая руки в вязаных перчатках. — Что это у вашего приятеля на плече? Там, в свертке?

— Это женщина, — лаконично ответил Аристарх. — Удачного дня, мсье! Но она не продается.

Едва мы отошли от киоска, я прошипел:

— Где, наконец, это твое кафе?

— Да вон оно! Столики уже расставлены, поспешим!

Кое-как я доковылял со своей ношей до ближайшего столика и свалил сверток в соломенное кресло. Старина Аристарх немедленно вооружился пепельницей и неистово застучал ей о решетку, подзывая кельнера.

— Что ты делаешь? — в ужасе дернул я его за рукав. — Нас заметят!

— Silence!²

К нам подошел, вытирая руки о передник, человек. Он с большим подозрением осмотрел кресло и натурщицу в нем:

— *Que puis-je faire pour vous, messieurs?*³

— Кое-что можете. Принесите утреннюю газету, яичницу, круассаны и кофе. И ликер для мадемуазель.

— Мне кажется, — прищурился кельнер, совсем как букинист, — она в обмороке.

— Говоря о даме, в такой ранний час трудно судить наверняка, — туманно заметил Аристарх, прикуривая от спички, зажженной кельнером. — Поэтому поторопитесь. Нам с другом тоже любопытно.

— Мне кажется, я ее знаю. Почему она без одежды, мсье?

— Это моя натурщица, — пожал плечами Аристарх. — Для натурщицы вполне естественно быть без одежды, не так ли?

— Ваша натурщица? Тысяча извинений, но позвольте узнать, кто вы сами? Эта маска...

— Черт возьми вас совсем! Не для того ли люди носят маски, чтобы оставаться неузнанными? Впрочем, если вы настаиваете, моя фамилия Серюзье, — раздраженно представился мой приятель. — Надеюсь, она еще говорит о чем-то в Латинском квартале?! Мы получим свой завтрак или нет? Мы спешим!

¹ Не за что! (*фр.*)

² Тишина! (*англ.*)

³ Что я могу для вас сделать, господа? (*фр.*)

— Господи! Зачем нам здесь завтракать? — прошептал я, глядя в спину уходящему кельнеру. — Он вызовет полицию!

— Не раньше чем мы расплатимся, — сказал Аристарх и демонически осклабился. — Так что мы успеем вернуться в Пари Мариотт, как ни в чем не бывало! Зато это отобьет у всяких проходимцев охоту критиковать мою новую манеру живописи.

— Merde! Où jesuis?¹ — простонала из своего кресла натурщица, поднимая к лицу слабо дрожащую ладонь и оглядываясь вокруг.

— Проклятье! — воскликнул Аристарх. — Весь план насмарку! Скорее, пока она не поняла, что к чему!

— Что скорее?!

— Дай сюда альбом!

Я протянул ему тяжелый том, купленный только что на набережной.

Аристарх взялся за него обеими руками, воздел над головой, на манер Моисеевых таблиц, и с глухим бумажным шумом опустил на женскую голову.

Первый колокол Нотр Дам ударил к утренней мессе. Латинский квартал просыпался. Глядя на Аристарха и натурщицу, дерущихся, как ревнивые львы, я вздохнул и подпер кулаком щеку, мечтая о кофе.

АМОНТИЛЬЯДО

Однажды старина Аристарх, прогнав сонного слугу, сам спустился в погреб и вернулся оттуда с бутылкой амонтильядо. Стекло было в пыли, так что он вытер его манжетой, повернув к лампе.

— Знаешь, что это за херес?

— Не имею представления.

— Мой ровесник! В Кадисе у одного скряги-коллекционера я купил таких две дюжины бутылок и теперь выпиваю каждый год ровно по одной. Но иногда, — нахмурился Аристарх, — я выпиваю по две или даже по три. Вот как сегодня.

— Сегодня как будто не твой день рождения?

— А я выпиваю его, когда хочу! Вдобавок я загадал, что умру с последней бутылкой в руках.

— Не говори мне, что это она, — испугался я, хорошо зная своего приятеля.

— Вздор, там осталось еще пять или семь, я точно не считал. К тому же, если подумать, запас всегда можно пополнить. То, что я мирюсь с логикой неизбежности, не означает, что я одновременно склоняюсь и перед ее арифметикой.

¹ Дерьмо! Где я?

— Ей-богу, мне как-то неловко слушать тебя, — пожаловался я. — Что за прихоть рассуждать о подобных вещах и поминать смерть? По-моему, стоит прославлять жизнь, пока мы молоды и неплохо в ней устроены. Взгляни хоть на себя! Никогда ты не пятнал своих рук ни подлым трудом, ни торговлей и отбирал все, до чего мог дотянуться за так, не ожидая взамен никакой награды. Тебе едва перевалило за тридцать, а ты уже бросил службу, благодаря удачно награбленному в прежней должности. Конечно, тебе пришлось поразбойничать в своем департаменте, и бог знает сколько трудящихся ты оставил без крова, но зато душа твоя была спасительно рано избавлена от медленного яда чиновничьей жизни. Не всякому ведь так везет! Иной вцепится во власть — не оттащишь, а ты к ней рассудительно равнодушен. Происходя из хорошего дома, ты искушен в пяти искусствах, княжески воспитан и *par ailleurs*¹ дивно хорош собой. Двери любых салонов для тебя открыты, какие захочешь мужчины и женщины легко обратятся в мишень для твоих чувственных забав. Наконец, уважаемая в Европе страна продала тебе свое подданство, поэтому нет такого заморского посольства, где тебе пришлось бы кланчить визу, как какому-нибудь охотнорядскому жулику. Ты изъездил все континенты и всюду благоговейно прикоснулся к сокровищницам человеческого гения, несказанно возвысив свой ум. Воздай же хвалу Кумачовому Небу и пей эту чашу удовольствий, ни с кем ее не деля!

С этими словами я вручил ему бокал, пронизанный безмятежным топазовым светом.

— Все это так, — кивнул Аристарх, вглядываясь в стекло. — Но что происходит со вкусом уже открытого вина? Вначале букет на короткий миг вспыхивает, симфонически соединяясь с воздухом и настроением, как сейчас. Не столько ты, сколько он пробует тебя. Клянусь, это как даосский брак между небом и землей! Он наполнен чем-то столь жадно уникальным, хруп коновым, что кажется — нигде и никогда не повторится вкус именно этого глотка, и он теперь всегда будет окружен памятью, как броней от времени. Словом, взмолись тут же, как Фауст: «*Verweile doch! Du bist so schön!*»² Что это, если не первый вопль младенца, проникшего на свет из темно-го чрева? Не станешь спорить?

— Не-а.

— Однако затем он увядает и тем скорее, чем дольше откупорена бутылка. Оказывается, вокруг верещит слишком много младенцев — только что родившихся и вполне пожилых — и всяк норovit о своем. Так и этот голос — рассеивается и гаснет в общем гвалте... В одной книге написано, будто наша Вселенная все время расширяется, как надутый мячик. Слышал ты об этом? Звездочеты вы-

¹ кроме того (фр.)

² «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» (нем.)

числили, что целые галактики убегают друг от друга со страшной скоростью, быстрее звука, быстрее, чем мы можем представить. Все мировое вещество и сами атомы!

— Так что же? — подпер я щеку ладонью.

— А то, что и мы с тобой, и каждая другая живая тварь тоже уносится черт знает куда каждую секунду. Однажды ты меня позовешь, а я окажусь так далеко, что не услышу. И наоборот. И так со всеми нами, брат-кровопийца. Со всеми нами...

— Какой вздор, — рассмеялся я. — Если бы это работало подобным образом, мы давным-давно барахтались бы в пустоте, беззвучно крича во все стороны.

— А разве не именно это с нами и происходит? — пристально посмотрел на меня Аристарх. — Разве сам ты не замечаешь ничего похожего время от времени? Признайся честно. Или мы не плывем, подобно медленно тлеющим звездам, в пространстве взаимного безразличия? Или свет наших мыслей и чувств не доносится друг до друга со все большим опозданием и рассеянием? Да и эти их жалкие остатки искажаются до неузнаваемости, ведь им приходится с громадным усилием огибать астрономическую тяжесть подозрений, накопившихся в пропасти житейского опыта. Мы пленники одного желудка, циклопического брюха мироздания, вечно пухнущего от голода и никогда не сытого. Иногда я думаю, что это и есть наш общий бог. Не сама Вселенная, понимаешь, а качество ее прожорливости?

Протянув руку, я беззаботно потрепал его за плечо:

— Видишь, я рядом! Между нами отнюдь не пропасть, а всего лишь столик, открытая бутылка и пьяная болтовня.

— Кто знает, какие пространства, — бесцветным голосом откликнулся Аристарх, — пришлось пройти твоей руке, чтобы оказаться по эту сторону столика. И какой космический холод в них царит.

Я, как ужаленный, отдернул руку.

— Ага! Вот и ты почувствовал!

Не дождавшись моего ответа, Аристарх достал из кармана и положил передо мной небольшой револьвер. Затем он зажег лампу на стене, осветив старинную раму цвета тусклого ореха, очень искусной резьбы.

— Хочешь, проведем небольшой эксперимент? Вон, гляди, портрет, как считают, маркизы Дампьер, кисти Виже-Лебрэн, написанный ею уже в изгнании, в Митаве, по пути в Петербург. Мне он достался почти дешево, но я терпеть не могу эту старуху. Кажется, она отовсюду сверлит меня взглядом, напоминая о гильотине. Считая с портретом, ей, поди, уже лет триста, и она давно зажилась на этом свете. Помню еще по министерству финансов — ты неплохо стреляешь. Попадешь ли с этого места ей в глаз?

— Не стану и стрелять! — оттолкнул я револьвер, однако Аристарх взял меня за руку и с силой втиснул в нее оружие:

— Стреляй, говорю тебе, не бойся! Если я прав, то пуля никогда не догонит холст, потому что мишень уносится от нас в тысячу раз быстрее.

— Что за нелепая прихоть?!

— А что тебя останавливает? — недобро усмехнулся он. — Фальшивое почтение к искусству? Искусство да служит молодости и красоте и да утешает человека в его испытаниях, в безнадежном омуте его жизни. А на этом портрете запечатлены лишь уродливая старость, декорированная шелком и кружевами. Кого это утешит? Стреляй не колеблясь!

— Не буду я стрелять в портрет.

— Так выстрели куда угодно! — расщипал Аристарх. — Выстрели хоть в меня, ханжа ты этакий! Стреляй сейчас же или я не знаю, что с тобой сделаю! Разорву на части!

Словно подброшенный пружиной, он вылетел из кресла, распрямившись во весь свой богатырский рост и распахнув полы пиджака. Я понял, что стрелять придется, потому что в пластике его движений наметилась та ленивая, скользящая грация, с которой Аристарх в минуту остервенения привык раздавать львиные оплеухи кому попало.

В богатом доме всегда есть куда прицелиться, и я, не слишком всматриваясь, выбрал сначала одну безделушку, затем другую, но никак не мог остановиться на чем-то одном. Вдруг мой взгляд вернулся к нашему столику с бутылкой амонтильядо. Взяв за горлышко, я отнес ее на каминную полку.

— Символический выбор, — едко похвалил меня мой приятель.

С замкнутым лицом я отступил шагов на десять-двенадцать, вскинул руку с револьвером и спустил курок. Грянуло так, что у меня сразу же болезненно зазвенело в ушах, но никакого чуда, конечно, не произошло. Стекло брызнуло алмазными искрами в углу гостиной. Драгоценный напиток выглеснулся, шипя, на угли.

— Ты доволен? — холодно поинтересовался я.

— Вполне, — утомленно ответил Аристарх. — Одного младенца ты убил.

Сам не знаю почему я уставился на портрет, до которого долетело несколько капель вина, странно ожививших тени на морщинистой щеке маркизы Дампьер.

— Пошадив бессмысленную старуху, — добавил Аристарх, вернувшись в свое кресло. — Глади, наслаждайся результатом — она, даже с отрубленной головой, пережила и своих палачей-якобинцев, и Директорию, и Корсиканца, и Реставрацию, и все тщательно пронумерованные в энциклопедиях республики и империи. И Европейский Союз она переживет, — махнул он рукой, — и все, что бы ни пришло ему на смену, тоже, не волнуйся. Может, это и есть подлинное бессмертие? Вдобавок, таких, как мы, пройдет перед ней еще бесчисленная вереница — прилежных собирателей сокровищ, фарисействующих ценителей искусства, трепетных обманщиков са-

мих себя. Она, как черная дыра. Как метрика Шварцшильда, бесконечная культурная тяжесть, увлекающая за собой наши взгляды. И на всех на нас она будет хищно тарашиться из своей рамы, требуя, чтобы мы меняли на нее все, что жило хоть мгновение, но жило настоящему. Как это пожертвованное тобой вино. И чем раньше мы будем обрывать и скармливать ей эти жизни, тем дольше продлится ее век.

— Будь моя воля, — напомнил я беспомощно, — я бы вовсе не стрелял.

Мой приятель пожал плечами:

— Но ведь это я Господь Пожиратель Миров, а не ты, и вся свобода воли принадлежит мне.

— Ты не Господь, — показал я Аристарху язык. — Ты просто капризный софист, который любит пугать друзей мрачными метафорами. Тебе скучно в своей расширяющейся Вселенной, и ты хочешь, чтобы я тоже сидел внутри, как мышь в сапоге, и боялся вместе с тобой?

— Я — Господь Крепкий, — угрюмо настаивал он. — Саваоф и Адонай.

— Всемогущий?

— Несомненно!

— В нормальном, Декартовом смысле или условно онтологически, как у Фомы Аквинского?

— В Декартовом. Абсолютно и непротиворечиво!

— Тогда ты ведь не побоишься отказаться от своего всемогущества и временно вручить его кому-нибудь вроде меня? — спросил я так вкрадчиво, как только было возможно. — Поскольку это не умаляет ни одного из его свойств, включая свойство неотчуждаемой принадлежности именно тебе. Так или нет?

— Хм-м... Допустим. И что ты сделаешь, став Всевышним вместо меня? Имей в виду, — ревниво предупредил старина Аристарх, — что это невыносимая для смертного ответственность перед Космосом!

— Не знаю, — зевнул я, не сводя с него глаз. — Я существо безответственное. Может быть, я уничтожу Космос вместе с Хаосом, вернув все к Великому началу Тайцзи. А может быть и нет. Ведь вместе со всемогуществом я получу и непостижимость Моего Промысла. Хорошо-хорошо, Твоего... Но скорее всего, я просто выволоку тебя из этого унылого особняка, отвезу в Орли и впихну в самолет куда-нибудь на Кабо-Верде, где золотокожие мулатки нежатся около моря, до того изумрудного, что оно соперничает в своей самоцветной живописности с небом. Где полным-полно солнца и океанского бриза. Где всякая травинка стонет, как натянутая струна, от любви. Где сами ночи светлы от загадочного парада созвездий, который длился до нас и будет длиться после нас, благословляя всех сразу и каждого по отдельности. И где никто не поймет твоих декадентских обобщений, потому что все говорят по-португальски...

Саша НЕМИРОВСКИЙ

/ Калифорния /



LLORET DE MAR

1

Где-то здесь разбивается на кусочки
приходящий с востока прилив языка.
На соленые строчки
прибоя, на слова каблучков
с удареньем неточным
по зámершим ночью
дорожкам,
вдоль домов, потушивших бока.
Где-то здесь, где века
протянулись от римлян, в беззвучье похожи
непрочной надеждой на вечность,
что камень хранит,
распадается слог на тона загорелости кожи,
первобытной волной набегая на ножки
красавиц и крошится на звук. Здесь беспечность
на солнце горит,
отражаясь в очках Афродит,
снявших пену, у пляжа порхающих крыльями бёдер,
говорящих славянским растрёпанным сленгом.
Здесь спадает культуры налёт с нужды продолжения рода
и претит
всё, что логикой сшито, природе мгновенья.
Когда нет языка — лишь одна нагота сотворенья.

2

Море на рассвете спокойнее моря на закате.
Человек на закате спокойнее человека на рассвете.

Я заметил это по детям,
играющим на пляже,
и по старикам, наблюдающим
за ними из шезлонгов.
По тому, как разглаживались их морщины, —
так плывут на восход, раздвигая прибой пряжу,
так горы выполаживаются в лощины,
так уходят из памяти прошлого эшелоны.

ДЖАЗ-КАФЕ

Что тебе рассказать про джаз-кафе?
Одно из последних, дышащих на ладан
строкой саксофона.
В местах, где, закон
не нарушив, нельзя покурить.
Да и ладно.
Открыто в weekend. На ковре —
следы пятен.
Пожилый пианист — в пальцах пруть,
знаменитый ударник, певица, тромбон (чуть невнятен)
скромно делают джаз на малюхонький зал.
Из сифона
за барною стойкой, за стенкой, в бокал
разливается эль и патроны,
смеясь и качаясь в синкопах,
ногами стучат по паркету.
В душном зальчике лето.
Вот девчушка из прошлого века,
забросив за спинку пальто,
гонит воздух салфеткой.
Тот веер её
раздувает туман Миссисипи
над воронкой трубы,
чтобы он поднимался под люстру.
Её кавалер, неуклюже рассыпав
закуску,
подначит в пространство: «Играй, не вникай!»
Низкой крыши опоры-столбы
изогнутся стволами.
«Summertime»
поплывет. А он вспомнит течение Невы.
Время, место, где дым и туман в пополаме
покрывают буксирный тягач.
Как похоже дрейфует в стакане
мартини маслина, проплывая от стенки
до стрелки,

где остров из кремня.
То же синее небо и ясное
солнце. То же «Летнее время»,
в котором и папа богач,
да и мама прекрасна,
и ты, моя бэби, не плачь.

НАБЛЮДЕНИЕ

Дело не в том, что штаны малы на размер
или у полинявшей кофточки фасон не тот.
Когда уходит любовь, прекращается пение химер.
Или, может, это происходит наоборот?
Например,
по ночам начинает сниться ноль.
Дырка от цифр, как она может сниться?
От живой любви всегда остаётся боль,
что она снова не повторится.
Остаётся нежность, запахи, смоль
романтики вечеров,
а не вырезанное кружком
пространство, годящееся на выброс,
в котором черно,
и куда смотришь, пытаясь понять, в чём соль
того, что прошло
так быстро?
Если числа,
по сути, основа слов,
то, как ни назови,
когда складываешь людей, говоря строго,
получаешь мысли.
Человек — это всегда какая-то любовь,
либо форма жизни этой любви:
к женщине, к идее, к богу.

ОРЕГОН В ИЮЛЕ

Центральный Орегон.
Двусторонний highway
из позабытого в неизвестное рад редкой машине.
В остальном пуст.
Суховой,
мотающий маленькие вихри, кружит
по обочине.

Индийское поселение: раскидистое дерево, куст,
одноэтажка. Узкие окна,
некоторые заколочены.

Кокон
солнца блестит на металле крыши.
Стайка детей.

В разной степени разрухи — автомобили, пасущиеся вокруг,
постепенно съедаемые ландшафтом.

Чуть ближе —
сук
другого дерева, завешанного не разглядеть чем, похожим на вату.
Спуск

в долину, залитый жарой обратного подъёма.

Склон, переходящий в огромный
горный кряж.

Плато облаков,
пронзённое размашисто горой.
Вулкан, вершиною в снегу — как камуфляж
для одиночества,
герой,

вознесшийся в масштабное величие.

Собственное отличие

от зодчества

пейзажа внутри, и только.

Так маленькая долька

жизни всё мерит по себе, кичится силою руки,

пока не вышло время,

да взгляд отважен.

В остатке — лишь бесконечность музыки реки
над перекатом, бьющим в дальний берег.

А слушатель её — неважен.

Александр СПРЕНЦИС

/ Киев /



* * *

неважно кто ты
и где ты
важно то
как долго ты можешь смотреть
на эти облака
блеск воды
зелень трав
.....
слушать пение птиц

* * *

моё небытие — непредставимо!
я — камень, песок, трава...

кто может себе представить
что он — камень, песок, река?
или свет, летящий в бездне?

* * *

я смотрю на статуэтку Будды
и как бы слышу:
«а я тебя предупреждал!»
.....

* * *

новый год
старый год
время смеется над нами

* * *

осень
 синева небес
 душа завернута в парчу листвы

* * *

слепой...
 слепой молился но не прозрел
 значит Бог не созрел...
 бог не прозрел...

.....

может Бог тоже слеп?

* * *

лазурь небес
 золото листвы
 тишина и покой
 невесомое царство света
 это Рай на Земле
 над землею парящий...

* * *

...я — ветошь
 я старая, древняя ветошь
 в заплатках, разрывах, прорехах...
 я жалкая ветошь...
 на пыльной дороге валяюсь — никто не поднимет!
 я жалкая ветошь...
 тряпкой вишу на заборе,
дождь, ветер, снег...

я древняя ветошь
 распятая перекрестком дорог

* * *

я умер
 и тотчас Вселенная объявила траур:
 был приглушен блеск светил...
 и музыка сфер стала тише...
 Туманность Андромеды пустила слезу...
 а созвездие Гончих Псов замедлило свой бег...

.....

бедные!
 кто же будет присматривать за ними?

Марина ПЬЯНЫХ

/ Киев /

* * *

Дальнего поезда долгий гудок
Чем-то похож на попытку вопроса:
Сможет ли с ним отпылавшая осень
Вместе растаять в раздолье дорог?

Холодно, сырость пропахла корой,
Где-то с реки потянуло мазутом.
Резко и остро, как жаждой уюта,
Неразделимой с прощальной порой.

Если по сути — счета на жильё,
На суету и бессмысленность сборов, —
Только минута, как точка опоры,
Много, наверное, даже её.

Полно печалиться в спорах о том,
Как мы теряемся вместе и порознь,
Просто лицом распахнуться под морось,
Не укрываясь от счастья зонтом.

Ноябрь, 2014

* * *

Концерт, освещённый Полярной звездой
Опять начинается февраль.
Мой снежный маэстро, мой мальчик седой
Садится за чёрный рояль.

И вот уже ширится в безднах зрачков
В экстазе светящийся лёд;
И пальцы по клавишам спящих веков,
Белея, порхают вразлёт.

И снежные розы скрипичных ключей
Покорно вручают права;
И свистами вьюги над лаком ночей
Взлетают манжет кружева...

Май, 1997

КОНЦЕРТ ШОПЕНА

Беглые звуки рояля...
Вот она, наша эпоха —
В россыпи дней и деталей, —
Вся, до последнего вдоха.

Время летит из-под пальцев,
Чтобы сгорать внутривенно,
Чтобы рыдать и влюбляться,
Как вдохновенье Шопена.

Январь, 2015

* * *

Тихие дни снегопада —
Родом из раннего детства...
Старости много ли надо?
Просто о память погреться.

И уходить, не печалясь,
Даже в холодной постели,
Если пустыми ночами
Снятся таёжные ели.

В память, укрытую снегом,
Знавшим весь путь по минуте,
Ставшим земным оберегом,
Кристаллизацией сути.

Просто забыть про потребности
И улыбаться, покуда
Длится летящее с неба
Обыкновенное чудо.

Январь, 2016

* * *

Без жалоб, споров и оваций, —
Всего лишь строчка от руки, —
Дышать, стремиться, расставаться
Благодаря и вопреки

Ненасытимости амбаров,
Земной вражде, самим себе,
Сорваться с колеса Сансары
В непрерываемый разбег...

Мы эту жизнь за «жар предплечий»
Зовём тюрьмой, зовём сестрой;
И от неё выходим в вечность
Сквозь узкий календарный строй.

Август, 2016

* * *

За слово, брошенное вскользь,
За философский ход трамвая,
За всё, что в жизни не сбылось,
За то, что чересчур живая;

За то, что ливнями могла
Нестись по парковым аллеям
В припадке нежности, стремглав,
Я отдала, не сожалея,

Во власть нелепой беготни,
Во власть октябрьских многоточий
Свои горячечные дни,
Свои скитальческие ночи.

Танцуют листья вальс-бостон,
А до земли всего-то лёту...
Проходит осень за окном,
Шестидесятая по счёту.

Октябрь, 2016

* * *

Нет, не стнай. И не зови,
Не жди ни матери, ни друга:
Когда предательство — в крови,
Людей уводит Кали-юга.

За то, что верила словам,
Была отличницею в школе,
Теперь живи — полужива,
Космополиткой поневоле.

Мне птичьи выданы права
Стучаться в запертые двери;
Здесь по-другому — не бывать:
Сперва — убьют, потом — поверят.

Планета, где глотают ложь
На завтрак, на обед и ужин,
А из приборов — только нож:
Война внутри, война снаружи...

Куда ни глянь — везде война...
И мне пора — вперёд ногами:
Я не нужна здесь, не нужна
Ни без стихов, ни со стихами.

Март, 2017

Иван ВИСЕЛЕВ

/ Москва /



О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ

1. Конец ноября, оттепель.

Трудно вскрыть кожуру апельсина так, чтобы не брызнул сок. Запах неизбежно смешивается со всем, что есть в поезде. Справа сидят старики и играют в шахматы на планшете. Бабушка с довольным лицом чувствует, как много у неё фигур, и, следовательно, вариантов.

1.2. За окном то, что обычно находится за окном, только солнце светит.

— Из Швейцарии едете?

Мужчина в светлом свитере размеренно жуёт апельсин.

— Да. Но...

— Бирку не сорвал с рюкзака. Из аэропорта. Прости, что не в свои дела, я обычно так не делаю.

Смотрит.

1.2.1. Он заговорил еще до того, как что-либо произнес. Радостный сидел, пальцами в апельсине колупался.

— А ты откуда? — Спрашивая, наблюдаю за переходом на «ты».

— Я из Москвы, отдыхал там. Но ты не подумай, не секс и не алкоголь. Так, с друзьями посидел, на выставку ходил, кино смотрели. Я вообще с женщинами не очень, у меня кукла есть, мне хватает.

1.2.3. Разжеывая апельсин, улыбается. Неловко.

— А в Петербурге живешь? — Продолжаю спрашивать.

Поезд опрятный. Чистые дорожки, приятные проводники, регулировка температуры.

— Да, я в Петербурге — улыбается.

Молчим. Выглядываю назад: там девочки смеются и катают по полу игрушечного коня, который не катается. Но они катают. И смеются, громко смеются. Все их слушают и улыбаются. Старички беседуют и продолжают передвигать несуществующие фигурки.

1.2.4.

— Я из Швейцарии, потому что лечился там.

Павел незаметно для себя ловит интонацию.

— Что-то серьезное? — Его лицо напряглось.

— Нет, лечился от тревожного расстройства. Не знаю откуда оно у меня.

— Половина Европы страдает тем же. У меня знакомая в Америке, она там исследует как раз всякие тревожные и депрессивные расстройства. Я еще недавно ее книгу прочитал. Насколько понимаю, пока не сильно продвинулись. В Москве, я слышал, открывают центры для помощи, но обычно к этому все еще не относятся серьезно.

1.3. Въехали в тоннель.

В поезде загорается освещение. Он трясется — кто-то сильными руками подгоняет его. У лошади отламываются ноги. Появляются слёзы. Я засовываю руку в сумку за маленькой коалой. Коалой, подарком моей подруги из Швейцарии. Отдаю эту игрушку девочкам. Паша достаёт им апельсин.

Счастливые улыбки родителей. Девочки усаживают коалу на пол и кладут апельсин ей в лапы. Родители останавливают их в тот момент, когда они начинают катать по полу коалу.

2. Сохраняю номер Павла и выхожу на светлый, просторный вокзал.

На улице тепло для ноября. Ноги в ботинках слегка спотели. На вокзале девушка с сумкой пытается танцевать со своим другом\парнем\братом, обхватив его плечи и стараясь расшевелить. Он только улыбается, делая неловкие шаги.

Павел приветствует кого-то, а я, не спеша, иду к вокзалу. Наш поезд слева. Вокруг него — люди. И старички под руку шагают к выходу.

2.1. В городе: машины, человечество, голуби и бездомные коты, которые всюду спуют, показывая довольные морды. Их подкармливают больше, чем любого домашнего кота, что удивляет. Когда я смотрю вокруг, когда успокаиваюсь — я чувствую свое дыхание. Поток воздуха внутрь, поток воздуха наружу. Коты мяукают и подбегают к моим ногам, но я пуст. К сожалению, я пуст на еду.

2.1.1. На такси еду к матери. Водитель курит в окно; в его ухе наушник, чтобы музыка не мешала пассажирам. Павел пишет в телеграмме, что хочет увидеться. Я пишу Павлу, что не могу увидеться. Мы совсем недавно разошлись, я еще даже дома не был. Машина притормаживает и заезжает во дворы; виднеются люди, активно обсуждающие установку сооружения из трех палок и шара наверху.

2.2. Мамина квартира, мамина забитая голова.

Она занимается переработкой мусора, потому по всему дому сушатся пакеты и лежат горы пластика. Она сама руководит центром, который собирает мусор со всего Петербурга, при этом ее го-

лова полна мусора. Она бегает по комнатам, что-то отчаянно выискивая. Не находит. Мама очень удивляется происходящему. Чего еще ожидать от мамы.

2.2.1. Мама знает, что я лечился.

— Я знаю, что ты лечился, но с трудом верю, что эффективно. Классно тебе в Швейцарии лечиться, когда у нас в Москве центры хорошие.

— Там красиво.

— Я их люблю за их экологию, но ты сам знаешь. Я лучше во Францию смотаюсь отдохнуть, но только если к друзьям. Я сейчас испанский учу, мне моя врач сказала, что полезно для нейронов, чтобы постоянно новые связи организовывать.

Мать носится по кухне, пытается приготовить себе смузи.

— У тебя слишком много новых связей — говорю ей.

Улыбаюсь, кушая хлопья с овсяным молоком. Я стараюсь улыбаться.

2.2.3. — Слушай, Гриш, я, наверное, скоро побегу. Мы с тобой позавчера, в принципе, говорили, вряд ли что-то еще случилось. Давай, в общем. Сходи куда-нибудь. Сегодня погода супер.

Она хватается то за одну вещь, то за другую. То за кофту, то за испанский. Иногда за прогулку. Я тоже хватаюсь за прогулку.

2.3. Настя встречается мне в парке.

Настя всегда встречается мне в самых тупых местах. Конечно же мы вспоминаем то, что было. А было много: чай по утрам. Прогулки, на которых я еще слышал её. Но я вру: не было ни того, ни другого. Помню только, что спорили постоянно, и иногда мне хотелось ударить её палкой. Машины свистят вокруг, оглушая парковые деревья. Настя больна: у нее с собой вода, и у меня с собой вода. Эссенуки-4. Я купил в Москве целых три бутылки.

2.3.1. Настя больна Ромой. Рома. Рома? Я его не знаю, но узнаю по словам. Из слов складывается Рома в голове. Рома идет, задрал голову в небо, но часто харкается.

— Я вообще не знаю, как это случилось. Я понимаю, что он глупый, но просто тянет, выламывает что-то внутри. Такое дебильное чувство. — Она очень увлечена. Что она видит?

2.3.2. Настя садится на лавочку. Я сажусь рядом.

— Давай переспим. Вдруг мне полегче будет.

Настя предлагает переспать, но не понимает, что предлагает.

— Давай переспим. — Соскальзывает с языка. Язык переворачивается. Я его слегка прикусываю. Не знаю зачем.

2.4. Я чувствую себя раскаленным куском мяса, который кидают в сливочное масло. Я скольжу на животе по этой теплой дорожке. Очень приятно. Но когда глаза закрываются и тело наконец-то вздрагивает — я остаюсь в скользкой массе, жирный и вонючий. Сердце бьется. В глазах темно. И очень, отвратительно пусто. Мысли цепляются одна за другую, но дыхание пробивается. Поток воздуха внутрь.

2.4.1. Поток наружу. Лежа в масле, я почувствовал, что на меня упала безмерная тонна дерьма. Дышать тяжело. Возвращается страх; людей выкидывает за стеклянную стену, потому слова Насти отталкиваются от стекла, прежде чем через квантовую щель достигают ушей.

2.4.2. Мои уши слышат: «Гриша? Тебе опять плохо, эта хрень твоя. Я за водой». Она за водой, а я остаюсь в мире, который хочу или желаю, если выразиться яснее. Я, спрятанный в стекло. Страх пройдет, но кое-что останется. Останется кое-что.

3.0. Рома. Рома, который не выходит из головы моего хорошего друга. Я бы хотел выбить тебя оттуда, но ты не уйдешь. А почему, Рома? Почему ты не уходишь, даже если тебе говорят: Рома, козли-на, уходи. Тебя просят уйти серьезно. Иногда хочется схватить кувалду и постучать по голове, чтобы выбить тебя оттуда.

3.1. Паша пишет: «Нужна помощь». Настя рассказывает, что не может ничего делать нормально. Что она даже ест в пол силы. Паша пишет: «Чувак, я тебя вообще не знаю, но мне не с кем больше поговорить. Странно, но я тебе доверяю». Странно, но я доверяю тебе тоже, Паша. Я беру Настю за руку и завожу в комнату:

— Сиди тут. Не выходи, я скоро приду.

3.2. На улице люди любят друг друга. Люди любят друг друга и хотят съесть. На скамейках целуются под ярким светом солнца. Ярким светом солнца в Санкт-Петербурге. Я достаю из рюкзака купленную в Москве воду. Эссендуки-4, долбаные Эссендуки-4.

3.3. Настю нужно спасти. Пашу тоже. Я хватаю их за руки: его отправляю в Лондон, а Настю ташу в жаркие Афины. Особенно жарким вечером мы пьем вино. На столе лежат: жирные оливки, прохладные кусочки мягкого сыра и греческий йогурт.

— Я не могу брать на себя ответственность, потому что сложно забить на то, что обещаешь сделать, а сил отнимает дофига — она едва заметно улыбается. Ей лучше.

— Ты забила на него?

— Мне легче стало, когда вырвалась из Москвы. Как Паша?

3.4. Как Паша? Я с удовольствием спрашиваю это у себя каждый раз, когда вспоминаю о нем. Я знаю его пару дней, но интересуюсь им сильнее, чем своей матерью в Париже. Моя мать в Париже. У нее все хорошо. Как Паша? Сообщения говорят, что в Лондоне ему скучно. Что там дожди, но его отпустило от болезненной влюбленности. Болезненная влюбленность. Слишком много «н» для такого сраного словосочетания.

3.5. Море под Афинами теплее, чем Нева. И с чего бы? Море и Неву объединяет вода. Настя прыгает по камням и много разговаривает, в ней что-то разгорается, что притягивает меня. Но я знаю, что огонь обязан неизбежно погаснуть, что сигарету лучше сразу засунуть в снег, прежде чем вставить в не очень белоснежные зубы. Да, настолько широко нужно раскрывать рот, чтобы изъясняться.

Она смеется и смеюсь я, но не потому что я люблю ее, и даже не потому что мы спим с ней.

4. Самый долгий путь домой. Расходимся по домам, подбираю кота. Уличный кот по имени Кот ведет себя странно, но живет кота я не видел. Он дерёт мамино кресло, а я, взяв нож для бумаги, с удовольствием присоединяюсь к нему. И глажу эту пушистую жопу, предварительно отложив нож.

Мама пишет, что купит новое кресло. Что ничего страшного. Мама летит в Петербург. Мама учит французский. Мама хочет много языков, чтобы объяснить всем о вреде мусора.

4.1. Настя снова начала умирать от Ромы, недолгое выздоровление сдулось. Пашин Лондон все ещё дождлив, такой же сырой и вонючий. Петербург тоже болен Ромой. Возлюбленная Паши влюблена в возлюбленного Насти, который в свою очередь влюблен в Настину подругу и спит с ее третьей подругой. Паша устал менять кукол, ему чего-то не хватает, как сообщают мне утренние стикеры. Я пью чай и чувствую, как каждый вдох вытесняет старый, как последний крючок, на который я рассчитывал, отскакивает от стен, и мне не за что зацепиться.

4.2. Настя говорит постоянно, что не любит людей:

— Я не люблю людей. Им постоянно от меня что-то надо.

Под людьми она наверняка что-то подразумевает.

— Ты уверена? Ты же их просто схематизируешь — отвечает увлеченный Паша.

— Не поняла?

Зачем?

— Ты их просто схематизируешь, то есть, безусловно, цели у них есть, но когда ты говоришь «цель», то ты врешь. Твоя цель имеет четкую логическую цепочку, а у них ничего определенного. Они сами не знают.

Пашин голос ждет четкого ответа. Настя задумалась. Настя часто задумывается. На завтра она смогла бы что-нибудь ответить ему, но сегодня она его любит. Возможно будет любить и завтра. И тогда ничего не ответит. Может быть ей выучить татарский?

4.3. Любовь и Петербург, секс и Петербург, моя мама и секс в Петербурге. Бабуля, не сидящая на скамейке, идет по Невскому. Ее глаза любят. Она уже не пожирает мужчин, но любит свою память о мужчинах, а, следовательно, и мужчин. Я чищу апельсин. Я тоже люблю свою память.

— Твой Паша, на самом деле, удивляет меня — мама смотрит с вопросом, но спрашивает не о том, — я думаю, он умный, у тебя хороший друг. Такие ребята редкие довольно.

— Ты уверена?

4.4. Мы с котом многое успеваем сделать, но самое главное — перестаем пить воду. Когда я пью Эссендуки-4, я перестаю сходить с ума и бегать в душевую. Когда я пью воду, я схожу с ума и бе-

гаю в душевую. Кот тоже. Я звоню поставщику, но тот блаженно выдыхает вместо ответа, растягивая без того поломанные слова.

А что с Пашей? Наверное, мнет еще одну куклу. О Паше многое можно сказать, но я не говорю. Зная Пашу, я смог бы управлять Пашей, но я его никогда не узнаю. И славно. Так мне еще интересно с ним разговаривать.

5. Анализ воды из труб неутешителен. Поставил опыты — она действительно влияет на меня. Я целую Кота и выхожу на улицу. Руки в карманы и ходьба к самому красивому зданию в Петербурге. Люди любят друг друга также неистово и ядрено, как светит солнце. Я перестал как губка впитывать их. Даже глаза у посетителей метро как будто наполнились. Они любят.

5.1. Я пью Эссенуки-4. На входе два храбролицых охранника общаются видеозвонком, наверное, с любимыми. Увидев меня, они меня любят, несмотря на попытки тщательно скрыть это.

— Вы всегда не пускаете тех, кому нужно войти, и те, кому нужно войти постоянно входят. Пропустите.

6. Лифт привозит меня прямиком к его офису. Он ждет, стреляя из пистолета в окно по голубям.

— Я Иван, хозяин этого вашего Петербурга.

— Я Гриша, мне не нравится, что происходит в нашем твоём Петербурге.

— Вам, говноедам, постоянно что-то не нравится. Вот что я сделал не так? Посмотри как возлюбили!

— Ты не понял.

— Ты тоже не понял, но я объясню. Иди нахрен. Не нравится? Езжай в сраную Москву.

— Я не хочу в Москву. Тут живет моя мама, но она опять в Париже.

6.01. Моя мама в Париже. Она любит пить кофе, а вместе с испанским и французским, она принялась учить татарский. Моя мама читает лекции на английском и немецком об экологии. Её все еще не понимают.

6.1.

— Твоя мама живет в Париже... — Иван ерзает в кресле, в его руке пистолет, — ты не понял, Гриша, мне насрать. Я пустил в воду то, что нужно. Погляди теперь, какие они милые, говнюк ты неблагодарный. Чего тебе надо? Да сольются все вокруг тебя во вселенской оргии.

— Зачем?

— Мне просто скучно, понимаешь? Обосраться как скучно. Я даже думал клонировать себя.

6.2. Я как старый позитивист издавна придерживаюсь принципов Уильяма Оккама: не множить сущности без необходимости. В потоках информации — это невозможно, но если еще появляются клоны, то это уже полная жопа. Это реально задница.

Не сопротивляйся.

6.2.1.

— Очисти воду, пожалуйста.

— Не буду, Гриша. Ты пришел сюда возмущаться? Я не Господь Бог Творец Вселенной, тебе к нему. Я ошибки его исправляю, Гриша.

— Спаситель ты сраный.

Обычно я не ругаюсь.

6.3.

— Гриша — Иван стреляет в окно и убивает голубя. Тот оставляет свое дыхание теплomu воздуху — Гриша, я не хочу тебе ничего объяснять. Мне просто скучно. Я так развлекаюсь, гребаная ты скотина. Собирайся, мы летим на Карибы.

— Я не хочу на Карибы.

— Ты не понимаешь Гриша. Мы летим на Карибы.

— Тебе скучно, потому что ты не видишь.

— Ты не понял, Гриша.

Я и правда не понял, совсем не понял. Он не понимает. Воздух выходит наружу. Буду учить татарский.

6.4. Я понял, что мы летим на Карибы.

Я вижу тысячи сломанных мышеловок. Они переваливаются друг через друга, как волна, бегущая по морю. Их пружины больше не натянуты и даже нет пауков, чтобы плести на них паутину.

Я не думаю о Насте и Паше, о Коте и девочках из поезда. Я не думаю о них — о них думается в моей голове, несмотря на то, что ее наполняет страх. Они остались все вместе, они останутся все вместе.

Воздух втекает в легкие, воздух вытекает из легких.

7. Русский север — это всегда приятно, но только на пару дней. Потом не приятно. Карибы оказались русским севером, тем самым севером под Мурманском. Не Сибирь с её Якутией. Кто вообще знает, что такое Якутия. Вертолет сел в траве, неподалеку буйствует Баренцево море.

— Гребаный ты Гриша, я оставляю тебя здесь, потому что зачем выпендриваться. Ты будешь здесь: кормить медведей и лосей, и проповедовать им, что хочешь. Понимаешь, Гриша? Совсем один. Все равно в Петербурге тебе было невесело. Я все там устроил, а тебе, видишь ли, не понравилось. Что ж, наслаждайся, Гриша. Наслаждайся, скотина ты сраная.

7.1. Я, сраная скотина, подошел к берегу Баренцева моря. Дыхание восстановило свою прежнюю силу. Мне не так тяжело, как я думал. Ему скучно, ему просто скучно. Рыбешки не высовываются из воды. Зачем им это надо? Медведей тоже нет. Есть только объемный, глубоко неправильный кит, а вокруг него медвежье говно. У кита нет правого глаза, но уже по левому можно понять, что он выбросился сам. Еще он будто улыбается наглотавшейся мусора рожой. Сраная он скотина.

7.1.1. Сажусь рядом с китом, улыбаюсь, дышу.

8.



Леонид БЛЮМКИН

/ Гамбург /

* * *

Не уйти из позорного круга:
говорить, отвечать невпопад
и в отчаянье вскидывать руки,
коль словарный запас небогат.

Замирать, онемев обелиском,
возведённым себе самому
как погибшему в схватке с английским
и с немецким впридачу к тому.

Не пытаться свободно, как дети,
речь иную впитать навсегда,
а исчезнуть и спрятаться в нети
от беспомощности и от стыда.

И растерянно память листая,
пребывать в молчаливой тоске.
Нам и в русском-то слов не хватает,
что искать их в чужом языке.

* * *

Без строчки — ни дня, это что за жестокое кредо?
А если я сплю, например, в выходной до обеда,
а если я слаб, потому что простыл и болею,
а если по городу шляюсь и просто глазею?

Случилось ли что, и пропало надолго везенье,
с женой поругался, и нету совсем настроенья?
Зачем из себя, напрягаясь, выдавливать слово,
не лучше ль подумать, в чём жизни есть первооснова.

Взглянуть за окно, где с усмешкой, обняв, как подружку,
толкает паук очумевшую муху в ловушку.
И чёрный дроздёнок гуляет по зелени свежей,
в траве ковыряясь, ища пропитанье неспешно.

И наглый сосед мой — огромный котяра мордатый,
по саду идёт, как по площади Красной «Армата».
А маленький пёс, ошастливленный жизнью собачьей,
виляет хвостом и по улице радостно скачет.

Гремят поезда, за деревьями мощными прячась,
куда-то зовут: к приключениям, паденьям, удачам.
Глаза подниму, облаков наблюдая строенье...
И это когда-нибудь вставится в стихотворенье.

РИММА КАЗАКОВА

Мне из дальнего такого
времени сейчас видна
поэтесса Казакова
Римма Фёдоровна.

В зауральский город старый
подлечиться прибыла.
Знала: доктор Илизаров
чудные творит дела.

Подзабыв столичных будней
суету и разный вздор,
согласилась тут попутно
на стихи и разговор.

Говорила прямо, честно,
как судьба давала сбой,
и о том, как пишет песни,
оставаясь в них собой.

О поездках, людях, встречах,
что подпитывают нас.
И о том, что к русской речи
возвращалась каждый раз.

В микрофон стихи читала,
голос падал и взмывал,
то о нежности шептал он,
то рождал девятый вал.

Мне подписывала книгу,
не жалея щедрых слов,
книга эта поелику
названа «Страна любовь».

В ту страну попасть хотела,
но влекла сильней строка,
что и пела, и летела
так мучительно легка.

Три страницы со стихами,
быстрой правкой освежив,
мне оставила на память —
вдохновенья виражи.

Длинный росчерк, нервный почерк,
как неровной жизни след.
Поэтическая почта —
из минувших дней привет.

Здесь в тумане законном
вдруг лицо её верну —
поэтессу Казакову
Римму Фёдоровну.

* * *

Строку к строке старательно слагая,
ты понимаешь: жизнь совсем другая —
не как в тетради. В ставках на кону
она резвее и многообразней,
полна невзгод, надежд и чуши праздной,
поступков, слов, неясных никому.

Что там творится за окном, снаружи,
где вдох труднее накануне стужи,
а горизонт сгущающийся мглист?
Снег ляжет густо, как мазок пастозный.
Чтоб всё забыть, он свыше нам подослан,
но прошлого пробьётся жёлтый лист.

Который волновал тебя когда-то,
пожалуй что, сильнее снегопада.
К его судьбе ты точно не был глух.
Сегодня отрешённо и спокойно
глядишь, как с ветки он слетел покорно,
а на земле свернулся и потух.

Не он ли до сих пор в тетрадном теле,
в тех письменах, в душевной канители
горит, как прежде, и бросает в дрожь?
Пусть жизнь была, как тусклая палитра,
но удалась иль нет, ты без поллитры
ни с кем-нибудь, ни сам не разберёшь.

* * *

«А мы уйдём — и небо упадёт»
Е.Карасёв

Вглядываюсь в облака, вечную синеву.
Мы на Земле пока держимся на плаву.
Старый ли, молодой — вместе нам годы длить.
Связанным меж собой жизнь ни к чему делить.

Мне говорил отец, пряча тяжёлый вздох:
«Скоро стране конец, вы — как чертополох.
Толку с вас, видно, нет, в мыслях вино да рок.
И не спасёт от бед вас ни генсек, ни бог.»

Вышло же всё не так, был понапрасну гнев.
Время дало нам знак — выросли, поумнев.
Вновь молодняк — вперёд, ловит свой звёздный час...
Небо не упадёт, если не будет нас.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Летний день. За окном потемнело,
и упала из тучи гроза
на земное засохшее тело,
окропляя поля и леса.

Встрепенулась земля, задышала,
шевелинулись на стеблях цветы.
Но дрожит ещё воздух от жалоб,
что живой не хватает воды.

Послегрозье. Прохлада витает
над восставшей травой, над людьми.
Нам чего-то всегда не хватает:
денег, славы, вниманья, любви.

Даже в наши неюные годы —
вроде можно мечтанья унять —
то захочется больше свободы,
то рискнуть вдруг потянет опять.

То улыбка пронзит Моны Лизы
в разноцветной толпе городской,
то повеет, как вечностью, бризом
из немыслимой дали морской.

Приключенья, восторги, наряды —
так с обыденным счёты сводя,
нас бодрят грозовые разряды,
будят свежие капли дождя.

* * *

А говорили, что придут морозы,
но климата сложны метаморфозы,
февраль прошёл, а их всё нет и нет.
И март уже с набухшей рано почкой,
и солнце с голубою оторочкой
глядят зиме насмешливо вослед.

Известно, в здешнем поясе дождливом
быть надо к переменам терпеливым
и стойко ждать зелёную листву,
которая появится нежданно,
как выигрышный билет из барабана,
чтоб смог подумать: снова я живу.

Хоть время года каждый выбрать волен —
сказал же Пушкин, что весной он болен —
но здесь порой никак не разберёшь:
весна, как осень, и такое ж лето,
их отличает только час рассвета,
а день тоскливой серостью похож.

И всё ж весной стали ярче краски.
Соседка появилась на терраске,
подставив тело тёплому лучу.
Ему всегда в народе местном рады,
как золоту добытому пираты,
как страждущий голодный калачу.

В моей весне другие есть приметы.
Они воспоминаньями согреты.
В снегу тропинку там торит ручей,
всё шире на пригорке плешь проталин.
По радио сказали: умер Сталин,
и муторно от траурных речей.

Ещё дрова сгорают в русской печке,
и сладкий запах, свёрнутый в колечки,
от маковых румяных пирожков
плывёт по кухне радостным соблазном.
И то ли горе в доме, то ли праздник,
не знал тогда я, мал и бестолков.

Иных немало было в жизни вёсен.
Но зуд нырянья в прошлое несносен.
Я здесь живу сегодня и сейчас.
В Европе северной отогревая душу,
в себе картин далёкого не руша,
на ближнее настраиваю глаз.

* * *

На западе бледные краски заката,
и в воздухе стелется стылый туман.
За всё в этой жизни приходит расплата:
за трусость и жадность, за ложь и обман.

За то, что не мог устоять пред соблазном —
не то говорил и писал не о том.
За то, что бывал и ленивым, и праздным,
за то, что уютный не выстроил дом.

У каждой судьбины свои заморочки.
Больней иногда, чем порез от ножа,
когда сыновья, заплутав в одиночку,
уходят из жизни. А рана свежа.

Темнеет слегка горизонт розоватый,
кончается день, но не стоит грустить.
Я знаю, что был глубоко виноватым,
и вряд ли себя я сумею простить.

Ошибкам, провинностям несть исчисления,
без умыслов злых совершал их стократ.
Сквозь окна мне в комнату входит последний
в году отживающем зябкий закат.

И в этом его хладнокровном вторженьи,
в лучах, растворяющих облачный слой,
мне, может, почудятся слово прощенья
и слово прощания с прежней судьбой.



Владимир ЦЕСИС

/ Чикаго /

ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО ВРАЧА

Глава из книги

В начале мая 1965 года во время очередной пятиминутки главный врач больницы, Марья Евгеньевна Опря, с загадочным видом обратилась к завхозу со словами:

— Значит так, товарищ Кирьяк. В ближайшие шесть дней вам необходимо подготовить для новых пациентов старый корпус больницы. Он был закрыт несколько лет по причине обветшалости и из-за соображений безопасности, но теперь — временно — им требуется воспользоваться. Старую мебель и оборудование мы заменим на более новую; нам её обещала районная больница. Они также присылают нам пару медсестер. В отделение мы разместим от сорока до пятидесяти пациентов: мужчины будут на первом, женщины — на втором этажах.

В однообразной деревенской жизни сообщение о новом больничном отделении произвело большое впечатление.

— Мария, что происходит? — спросил хирург Илья Лукьянович главврача. — Кого мы будем лечить в этом отделении?

— Сейчас это секрет; я его разгласить не могу, — ответила Марья Евгеньевна с таинственным видом. Приказ начальства — закон для подчиненных. Прошу не напоминать мне, что это здание разваливается: ответственные люди из Тирасполя обещали нам помочь. Они сделают всё возможное для подготовки здания к эксплуатации.

— А где нам взять лишний персонал? Кто будет заниматься этими пациентами? — снова спросил Илья Лукьянович. — У нас и без того людей не хватает.

— Часть медсестёр будут из нашей больницы, часть, как я уже сказала, присылает Тирасполь. Дополнительно к этому Горздрав присылает двух врачей.

Работа закипела. Обветшавший корпус больницы, закрытый десять лет назад по причине серьёзных структурных дефектов, был вновь открыт; пыльные кровати и мебель, оставшиеся с незапамятных времён, погрузили на телеги и увезли на свалку. Затем грузовики доставили подержанную мебель и различное оборудование — новое и старое, бельё и разную утварь из Бендерского военного госпиталя.

Через месяц старое здание было готово к приему пациентов.

Персонал больницы ежедневно обсуждал, с какими заболеваниями будут поступать будущие пациенты. Некоторые говорили, что это будут арестанты, другие — военнослужащие, третьи — туберкулёзные больные, но никто толком ничего не знал.

Правда выяснилась только за день до открытия нового отделения, чему было посвящено общее собрание сотрудников больницы в Доме Культуры. На сцене за столом, покрытым красной скатертью, сидели представитель райкома Александр Анатольевич Пивоваров, мужчина среднего возраста, с усталым красным лицом, главврач района Арсений Сергеевич Ватрушка и Марья Евгеньевна Опря.

— Товарищи, на вашу больницу возложена важная и почётная миссия, — обратился Пивоваров к аудитории. — Вам хорошо известно, что советская власть начисто выкорчевала многие постыдные проявления царского режима среди советских людей. Проституция, товарищи, является таким проявлением. К сожалению, недавно эта проституция подняла свою уродливую голову, что стало причиной вспышки сифилиса в нашем Тираспольском районе. Я не врач, поэтому не буду говорить о медицинских аспектах этой проблемы; об этом вам расскажут ваши врачи. Для консультаций пациентов на время эпидемии сифилиса район обеспечит вашу больницу специалистом дерматологом-венерологом. Убедительно просим ни с кем не обсуждать то, о чём вы услышите здесь, — продолжал представитель райкома. — Мы не хотим давать злопыхателям на Западе лишнего шанса злорадствовать над нашими временными проблемами и будем решительно наказывать тех, кто будет распространять подобные слухи. Ваша больница была выбрана из-за её удобного расположения и из-за личных качеств вашего главного врача, Марьи Евгеньевны Опря — отличного организатора и специалиста. Мы призываем вас помочь ей организовать образцовую сифилитическую обстановку в вашей больнице.

В течение следующей недели сорок три пациента поступили на лечение в сифилитический корпус. За пациентами ухаживали местные и тираспольские медсёстры. Оба врача, женщины среднего возраста, приезжали на работу из Тирасполя в восемь часов утра и возвращались домой на попутных машинах, «голосуя» на краю дороги при виде каждого грузовика. Водители за поездку денег не брали: делали они это из чувства солидарности. Пассажиры обычно размещались в кузове машины; если везло, сидели на самодельных скамейках, но чаще всего, на чём придётся или стояли.

Прошло три недели после открытия сифилитического отделения и — по окончании пяти минутки — главврач, намеренно не вдаваясь в подробности, распорядилась, чтобы на следующий день я приступил к работе в сифилитическом отделении, поскольку оба тираспольских врача уволились. Мои обязанности педиатра, сказала она мне, временно возьмут на себя другие врачи. Я справился о причине ухода врачей из сифилитического отделения, но Марья Евгеньевна ответила на этот вопрос очень неопределённо. Если говорить начистоту, я был рад на время прервать свою — периодически связанную с трагической потерей детских жизней — педиатрическую деятельность.

Сифилис сыграл важную роль в новейшей истории человечества. Первоисточник этой инфекции неизвестен. Согласно «колумбийской» гипотезе, сифилис был завезен из Америки в Европу экипажем корабля итальянского исследователя Христофора Колумба. Существует и другая гипотеза, согласно которой сифилис и раньше существовал в Европе, но долгое время оставался нераспознанным.

Многие известные исторические деятели, в том числе французский король Карл VIII, по прозвищу Любезный, испанский завоеватель Эрнан Кортес, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Иван Грозный были поражены этой инфекцией. Иногда ставились ретроспективные диагнозы. Считается, что сифилис поразил таких исторических деятелей как Наполеон Бонапарт, Шарль Бодлер, Газтано Доницетти, Генрих Гейне, Ги де Мопассан, Фридрих Ницше, Франц Шуберт, Оскар Уайльд. Многочисленные источники утверждают, что Владимир Ильич Ленин умер не от инсульта, а от сифилиса, которым он заразился от парижской проститутки.

В первый же день работы в сифилитическом корпусе я встретил своего будущего напарника врача Павла Якименко, молодого, умного, доброго человека, который был лет на семь старше меня. Прежде, чем пойти на первый обход, мы решили, что Павел будет работать в женском, а я — в мужском отделении.

По прошествии некоторого времени наши пациенты наделили нас кличками: доктор Якименко, который всегда носил с собой портфель, стал «Профессором», я стал «Бородой» по причине её наличия. Двух медсестёр, за присущие их внешности натуральные качества, соответственно назвали «Бородавка» и «Красотка».

Процедурная комната, где пациентам делали уколы, была тускло освещенной каморкой; в ней едва помещались стол, два стула и тумбочка, на которой стояли затемненные от частого использования металлические коробки стерилизаторов для шприцев и игл.

Очень скоро от медсестёр и пациентов мы узнали, что предыдущие врачи были отвергнуты больными по той причине, что те не скрывали своего презрительного неуважительного отношения к пациентам, имевшим несчастье заразиться венерическими заболеваниями. Пациенты восстали против такого унижительного отношения к ним и потребовали, чтобы врачи изменили своё поведение. Вместо того чтобы прислушаться к этой просьбе, врачи ответили угрозами и оскорблениями, после чего пациенты загнали их в кабинет, и лишь личное вмешательство главного врача разрешило ситуацию. Врачи уволились, и на следующий день Павел Якименко и я сменили их. С самого начала мы — не сговариваясь — делали всё возможное, чтобы предыдущая ситуация не повторилась. Это было легко и естественно, поскольку мы оба выросли в бедности и нужде и ценность человека для нас определялась не тем, был он болен или здоров. Мой коллега и я считали, что люди достойны уважения уже потому, что они — люди, независимо от того, в какой семье они родились и каким заболеванием они страдают.

После краткой встречи с медсестрами и санитарками по утрам, мы с Павлом расходились по своим отделениям. Большинство пациентов были холостыми положительными людьми, живущими от зарплаты до зарплаты.

Своё заболевание они воспринимали как неудачный эпизод, нисколько не уменьшавший их чувство собственного достоинства. Почти все они смирились с тем, что оказались запертыми на месячный курс лечения, хоть и были в отличной физической форме и нуждались в свободе передвижения.

Доктор Якименко и я решили войти в положение больных, обречённых провести в больнице столь длительный промежуток времени. В отличие от предыдущих врачей, которые запрещали больным отлучаться из стационара даже на минуту, мы решили пойти на компромисс. Веря в порядочность наших пациентов, после двух недель лечения мы разрешали им отлучаться из больницы на короткое время, чтобы они справились с насущными семейными и социальными потребностями. Это согласовывалось с медсёстрами, делавшими соответствующие изменения в схеме лечения. Примечательно и забываемо то, что наша вера в людей полностью оправдалась. Больные никогда не просили отлучаться по мелочам и всегда возвращались в отделение вовремя. Что было подлинным открытием для меня, это то, как эти простые люди искреннее ценили наше к ним отношение. Неофициальные признанные лидеры из больных установили невидимый контроль над порядком.

На фоне этого благополучия мне пришлось стать свидетелем доносов и стукачества, процветавших в тогдашнем обществе. Недаром родители с раннего детства учили меня держать язык за зубами. У меня было около двадцати пациентов, и я достоверно знал, по меньшей мере, о двух доносчиках: десять процентов от количества больных.

Однажды в полдень в дверь моего врачебного кабинета осторожно постучали. После того, как я ответил, в кабинет в офицерских сапогах вошел мой пациент Петр Клементьевич Земсков — бывший лейтенант, а ныне учитель физкультуры в средней школе. О том, что Земсков проходит мимо моего кабинета, я к тому времени научился определять по характерному топоту его обуви. Петр Клементьевич, как и многие другие пациенты, любил делиться историей своего заболевания. Он заразился сифилисом от учительницы географии, и — по совместительству — учительницы полового воспитания, бывшей лет на десять моложе его. Петр Клементьевич был счастливо женатым человеком, и хотя его жена с детьми куда-то уехала на неделю, он не мог привести учительницу в свою коммунальную квартиру из-за риска быть замеченным соседями. Использовать место работы для занятий любовью было также невозможно, поскольку только у директора школы был собственный кабинет. Остальные преподаватели работали в учительской. Ну, а машинами в то время владели только редкие счастливики. Гостиница отпадала, поскольку там требовали паспортами доказать супружеские отношения, а на этажах за соблюдением морали зорко следили горничные, обычно пожилые матроны. Единственным выходом из положения для нашей пары было, следуя общепринятой всесоюзной традиции, после наступления темноты удовлетвориться сомнительными удобствами одного из укромных мест Тираспольского парка. В отличие от других пациентов, Земсков не жаловался на партнёршу, наградившую его столь обременительным «подарком». Объектом его жалоб был директор школы, вина которого состояла в том, что именно он заразил сифилисом их общую партнёршу по плотским наслаждениям. Земскову

было обидно, что он должен был проходить лечение в сельской больнице, в то время как директор школы как представитель номенклатуры получал лечение в больнице для высокопоставленных чиновников.

Убедившись, что мы одни, Петр Клементьевич подошел к моему рабочему столу и, заглядывая время от времени в нацарапанный на клочке бумаги текст, приступил к докладу:

— Довожу до вашего сведения, что Свиридов без вашего разрешения покинул отделение и отсутствовал четыре часа, Новосельский и Федоренко подрались, Чебан пытался проникнуть в женское отделение, Киселев ходил по отделению всю ночь, неизвестно почему.

Захваченный врасплох, я дослушал до конца донесение стукача.

— Не забудьте записать, доктор, всё это, — проинструктировал меня Петр Клементьевич, не дожидаясь моей реакции, — в отделении должен быть порядок.

Земскова нисколько не смущало то, что я совершенно не интересуюсь его докладом; он был абсолютно убежден в том, что переданный им отчет важен для меня.

Ещё через неделю вновь послышался осторожный стук в дверь, и в кабинет вошёл уже не Земсков, а другой пациент, Савелий Степанович Петренко.

— Доктор, у вас найдется минутка? — спросил он заговорщическим тоном.

Савелий, работавший водителем, был застенчивым и скромно одетым молодым человеком. Его заразила местная проститутка, явившаяся в гараж, где он работал и предложившая присутствующим там пяти водителям секс оральной модификации по пяти рублей с носа.

Прошло три недели, и Савелий понял, что он болен венерическим заболеванием. Участковый врач подтвердил его опасения. Савелий был расстроен не столько своей бедой, сколько тем, что из всех друзей только он один «подхватил сифон».

Савелий приступил к докладу без приглашения и без вступительных слов:

— Вчера Фиксиев принёс в отделение бутылку самогона и угощал своих друзей по палате. Коля Драган ушёл из отделения в 10 часов вечера: выпрыгнул из окна и вернулся только ночью. Уреке, парень, который поступил в отделение неделю назад, шумел, возмущался тем, что плохо кормят. У Саши Антипова фонарь под глазом, поскольку он с Семёном Нягра вчера играл в карты, проиграл и сказал, что его надули. Они подрались, но мы их разняли.

Когда мой незванный гость сделал паузу, я сказал ему, что меня все это мало интересует и чтобы он сейчас же вернулся в палату.

— Понимаю, понимаю. Значит, вы обо всём уже знаете, доктор. Что ж, в следующий раз постараюсь прийти первым, — нисколько не смутившись, произнес он.

— Савелий Степанович, вы меня неправильно поняли, — сказал я. — Меня совершенно не интересует ваш рапорт. Мне важно только одно, чтобы вы выздоровели и благополучно вернулись домой.

— Ну, как хотите, — вздохнув, сказал он, — меня всегда за такую информацию благодарили, только вам это, как я погляжу, не очень-то интересно. Когда передумаете, позовите.

Всегда аккуратный и внешне благородный интеллигент, Иннокентий Иванович Фетисов, режиссёр Тираспольского драматического театра, был самым старшим в отделении — ему было более пятидесяти лет. Иннокентий Иванович начисто отрицал внебрачные половые связи. Единственный шанкр на его теле располагался на самом необычном месте, на макушке его лысины. Никто не мог понять такую странную локализацию, пока сам больной не разрешил эту медицинскую загадку.

— Эврика, эврика, доктор, я полностью реабилитирован, — прокричал он, вбегая однажды во врачебный кабинет. — Я смотрю в окно и кого, вы думаете, я вижу входящей в отделение? Новую пациентку Валентину Ситдикову, молоденькую танцовщицу из моего театра. Мне стало нестерпимо жаль нас обоих. Вот, что случилось: около месяца назад у нас была премьера музыкального спектакля, и эта девица танцевала там заглавную роль. Пьеса имела успех: об этом писали все местные газеты. Аплодисменты были громоподобные, и участники спектакля вызвали меня на сцену в конце представления. Я прекрасно помню, что, когда я отвесил низкий поклон перед публикой, ко мне подбежала эта самая танцовка и в знак признательности поцеловала меня в лысину — именно туда, где сейчас располагается шанкр! Как я рад, что теперь могу доказать жене свою невиновность!

Женщины убегали из отделения гораздо чаще, чем мужчины. Их можно было разделить на две группы. К первой — принадлежали женщины, у которых были дети, ко второй — проститутки. Для уклонявшихся от лечения женщин в Тирасполе открыли небольшую специализированную больницу. Однажды наш консультант доктор Зрулин предложил мне и доктору Якименко посетить эту больницу, так сказать, «для обмена передовым опытом».

Специализированный сифилитический корпус в Тирасполе был со всех сторон окружен металлическим забором высотой в человеческий рост. На контрольно-пропускном пункте мы позвонили в звонок, и охранник, открыв кованную железом дверь, пропустил нас на территорию лечебницы.

— Отчего у вас собак так много? — поинтересовался доктор Якименко при виде трёх, настороженно смотрящих на нас немецких овчарок.

— Собаки — наши надёжные помощники, — охотно пояснил охранник, — они помогают нам женщин сторожить, вот отчего.

Внутри здания нас тепло поприветствовала главный врач лечебно-го учреждения, доктор Вероника Севастьяновна Пуркушева, пятидесятилетняя, среднего роста и, несмотря на излишнюю полноту, очень энергичная женщина. Не скрывая радости по поводу нашего прихода, Вероника Севастьяновна с энтузиазмом знакомила нас с её, изолированным от остального мира, венерическим царством.

— У нас, как вы знаете, особая публика, — заявила она, — мои девочки находятся здесь, поскольку они не уважают дисциплину. Поначалу я с ними была очень мягкой, но вскоре поняла, что за мягкость людей не уважают и потому — при всей моей любви к ним — я решила быть по-

строже. Вы не поверите, но когда эту больницу открыли, здесь не было ни забора, ни собак. К сожалению, мои пациентки решили, что эта лечебница — проходной двор, и уходили отсюда, когда им было угодно. Тогда, по своей инициативе, я организовала здесь безопасную обстановку, и, что самое интересное, моим девочкам это понравилось. Благодаря новой обстановке, так они мне это объяснили, у них пропала охота убежать. Теперь они хорошо знают, что после повторной самовольной отлучки могут угораздить в тюрьму, а в тюрьме им будет не сладко.

— Никто не протестовал? — спросил я.

— Вы что, шутите? Протестовать? Простите, а кто посмеет у меня протестовать? Они же сифилитички. Никто здесь в демократию не играет. Мы лечим пациентов за государственный счёт для их собственного блага и для блага общественности, так что они и пикнуть не смеют.

Мы пошли осматривать отделение.

— Как видите, окна зарешечены, забор высокий, и собак мы не перекармливаем, — рассказывала нам Вероника Севастьяновна, — к тому же для бунтовщиц по моему личному проекту здесь было обустроено особое место для усиления дисциплины.

Мы вышли во двор, и Вероника Севастьяновна указала рукой на две, окрашенные в красный цвет, деревянные конструкции, высотой чуть больше полутора метров и формой напоминавшие шалаш. На вершине этих конструкций было окошко; покатая с обеих сторон крыша этих странных мини-хижин была покрыта рубероидом.

— Это и есть наши дисциплинарные блоки, — сказала наша гид с нескрываемой гордостью, — дверь укреплена металлом изнутри, на окне решётка. Они предназначены для девушек не согласных с нашими порядками, которые проводят здесь ночь или две и выходят отсюда шёлковыми.

Через окошко наверху строения мы могли разглядеть кровать, стол и небольшую деревянную полку.

Когда мы вернулись в здание, нам показали кухню, столовую и все четыре больничные палаты. В каждой палате, рассчитанной на восемь пациенток, стояли четыре двухъярусные кровати, аккуратно покрытые бурными шерстяными одеялами. В ожидании нашего визита девушки сидели на своих кроватях. Все они были молодые и симпатичные, некоторые из них — настоящие красавицы. Однако нас поразила одна неприятная деталь: все девушки были пострижены наголо.

— Отчего это ваши пациентки без волос, доктор? — спросил удивлённый Лев Наумович.

— Не хочу лишний раз нахваливать себя, но это ещё одно мое достижение, — с довольной улыбкой ответила доктор Пуркушева. — Этой идее я обязана Эллочке, моей пациентке. Эллочка обещала мне, что больше не будет убежать из отделения и не будет мне грубить. Я доверяла ей, как могла, но изо дня в день она ставила под сомнение мои распоряжения, перекивляла мою манеру говорить, мою походку, критиковала еду, пела, свистела, когда ей это взбредет в голову и на мои замечания отвечала, что никто не имеет права забирать её, видите ли, свободу. В ответ на мои просьбы прекратить безобразия, Эллочка обещала исправиться, однако всё было бесполезно. Три дня она провела в одиночке во дворе, но так ничему и не научилась. Последний раз, когда она выходила из

дисциплинарного помещения, я сказала ей, что перестану её кормить, на что она при всех пациентах указала на голову, вроде я сумасшедшая. Представляете себе, эта сифилитичка назвала меня деспотом. Я была настолько расстроена, что вызвала двух наших охранников и пока они держали её, я лично, собственными руками, срезала обе её длинные косы. Эллочка плакала и сопротивлялась, но я ей объяснила, что она сама во всем виновата, после чего эта одесская проститутка прокричала мне в лицо, что хоть теперь она лысая и уродливая, но она и все остальные больные в отделении ненавидят меня. «Ах, Эллочка, спасибо, за отличную идею, — ответила я ей. — В таком случае, все они будут выглядеть, как ты!» По моей просьбе начальство прислало сюда парикмахера из местной тюрьмы — продолжила доктор Пуркушева. — Прошло два дня, и все мои пациентки остались без волос. Теперь мои девушки хорошо понимают, кто здесь хозяин и к тому же я их избавила от возможного заражения вшами. Конечно, сначала они были страшно недовольны, но так же как это было с дисциплинарными заведениями, вскоре поняли, что мы их остригли для их же собственного блага. Они знают, что мы серьёзно относимся к своим обязанностям, и больше не помышляют о побеге. Это же проститутки: если они окажутся на свободе слишком рано, они заразят сифилисом других мужчин. У некоторых из них нет, как говорится, ни кола, ни двора, а зарабатывать-то на жизнь как-то надо.

— Послушайте, Вероника Севастьяновна, многие из ваших пациентов выглядят довольно худыми. Чем вы их кормите? — спросил доктор Якименко.

— Вы меня извините, коллега, но здесь не санаторий, — ответила доктор Пуркушева. — Никто не ожидает, что девушки здесь располнеют за счёт государства. Мы их хорошо кормим, и раз в неделю родственники приносят им пищу. Никто из них не голодает.

* * *

Однажды, возвратившись из короткого отпуска, я обнаружил, что один из моих пациентов отсутствует.

— Нина, что случилось с Серафимом Снегуром? — спросил я у медсестры, занятой обычным занятием: чисткой игл и шприцев многократного пользования.

— Снегур погиб, доктор. У нас тут случился небольшой пожар, — не отвлекаясь от работы, ответила она.

— Что вы имеете в виду? Какой такой пожар? Мне об этом никто не говорил!

— Вы же знаете Снегура, доктор. Он вечно исчезал из отделения. Я никогда не могла заметить, как он это делал. В эту субботу, в четыре часа утра, во время моего дежурства, кто-то проснулся и стал кричать «Пожар! Огонь! Сарай горит!» Я не могла уйти из отделения, но все пациенты побежали смотреть, что случилось. Воду носили ведрами, так что потушить пожар полностью не удалось. Через два часа сарай сгорел. К тому времени, когда начало светать, кто-то заметил лежавший на земле обугленный труп Серафима Снегура.

Серафим Снегур был особенным человеком. Он принадлежал к ряду невидимых людей общества. Тихий человек, всегда думавший

о чём-то своём, он был среднего возраста, с черными прямыми волосами и чётким пробором. Ходил он, несколько сутулившись, как бы избегая взглядов окружающих. Серафим сознательно предпочитал жить, как бродяга, зарабатывая себе на жизнь временными работами.

— Вам, доктор, не следует волноваться, если меня нет на месте. Я никогда далеко не ухожу и никогда ни одного укола не пропущу, — говорил он мне в ответ на мой упрёк по поводу его отсутствия в отделении. — Я не такой, как другие и признаю это. Не знаю, как объяснить, но я не могу жить в закрытом помещении. Это для меня вроде как смерть. Не беспокойтесь, я никуда отсюда не уйду до окончания курса лечения, поскольку хочу быть здоровым и поскольку без этого милиция не отдаст мой паспорт.

— Я понимаю, Серафим, что вам не хочется быть в отделении днём, но зачем уходить ночью? Какая вам разница, где спать?

— Вам этого не понять, доктор, так же, как я не понимаю вас. У вас свои секреты, у меня свои. Я не пью, не ворую, веду честный образ жизни. Я просто рождён быть бродягой; мне нравится моя жизнь; я могу выжить в любую погоду и в любой обстановке. Вы сами говорили мне, что от того, что я заразился сифилисом, я не перестал быть хорошим человеком, так ведь?

— Это так, но разве для вас не было бы гораздо удобнее спать тут на вашей кровати вместо того, чтобы проводить ночь, где попало и просыпаться, по крайней мере, дважды посреди ночи, чтобы приходиться в отделение для получения очередной инъекции? — говорил я ему, пытаюсь хоть как-то понять этого человека.

— Дело в том, что вы судите о людях по себе. Люди, доктор, сложные существа, их никто не поймёт, — ответил Серафим. — Ещё с детства я никогда не спал дома. Снаружи я могу выглядеть как раб, но внутри я свободен, как ветер. Без свободы нет смысла жить!

При всём при этом Серафим Снегур всегда был готов помочь медсёстрам и санитаркам.

Теперь, после его трагической смерти, я узнал, где Серафим проводил ночи: он не был сверхчеловеком, ему, как и всем нам, была необходима крыша над головой, хоть вместо матраса он и обходился соломой. Но нельзя было не отдать ему должного: этот неприметный человек умер так же, как жил — свободным человеком.

В книгах, фильмах и театральных пьесах смерть человека часто изображают как драматическое событие, производящее глубокое эмоциональное впечатление на тех, кто знал ушедшего из жизни. В повседневной же реальности такое происходит редко: смерть приходит и уходит, а жизнь идёт своим чередом. К примеру, смерть Серафима Снегура не произвела вообще никакого эффекта на тех, кто его знал. В попытках оказать минимальные знаки почтения человеку, который совсем недавно был хоть временной, но неотъемлемой частью коллектива, я пытался заговаривать с медицинским персоналом и пациентами о Серафиме, но люди упорно избегали этой темы, в основном, в силу присущего человеческому роду желания избегать напоминаний о неизбежности смерти. Очень скоро человеческая личность — Серафим Снегур — был забыт, так, как если бы он никогда не ходил по этой планете, и может быть эта история о нем будет небольшой данью его краткому присутствию в этом мире загадок и иллюзий.

Маргарита БОГДАНОВИЧ

/ Минск /



ЧЁРНЫЕ ЗВЁЗДЫ

— Мама, а чёрные звёзды бывают?
— Не знаю, мой милый.
— Бывают! — он говорит убеждённо, — их просто ещё не отмыли!
Их ночью на небе не видно, они ведь чернее чернил.
Но я обязательно их бы отмыл.
— Сынок, но для этого надо сначала до них дотянуться.
— Я знаю, — он шепчет, — заснуть и — главное! — не проснуться.
И вот ты во сне подлетаешь к обычной чёрной звезде
И трёшь её тряпкой везде.
И вот намываешь до блеска, она начинает сиять, как луна,
И рядом с луной становится всем астрономам видна!
Ведь это так грустно, когда ты не так уж и молода,
А кто-то не видел тебя никогда! никогда!
А ты поджидала кого-то всю жизнь, незнакомого, невезучего,
Что жил на другой стороне! Он, может быть, стал бы лучшим
Для самой красивой звезды... Но не заметил её лучи.
Смотри не смотри. Кричи не кричи.
Мама, а вдруг я и есть тот человек с другой стороны?
Мне надо скорее стать космонавтом, чтоб долететь до луны,
Оттуда свою золотую звезду я быстро найду.
Но прежде отмою
Твою звезду.

БЕЛКА В КОЛЕСЕ

скажи мне в телефон
что да и что всегда
ещё скажи что нет
и грозно так: не надо!

я в колесо вскочу
толкну и закручу
обрадуюсь: бегу
и буду очень рада

скажу себе: вперёд
а то что как всегда
так это ерунда
подумаешь печали
что не произошло
и не произойдёт
ты только мне скажи
и снова я в начале

где мы с тобою шли
и ты со мной одной
смеялся и шутил
держал меня за плечи
а после было нет
когда хотелось да
сломалось колесо
и стало легче

МИЛАЯ ДЕВОЧКА

Позвени мне, милая девочка, крылышками
Стрекозиными, синими,
Над осинами, в октябре невообразимыми,
Красивыми.
Вырастешь — позвони...

Но нет, постой!
Как же с такой красотой
Улетать в небушко?
Станешь девушкой.

А пока надевай пальто: не то! Вон то!
Ты не знаешь, что те,
Кто носит весною пальто зелёные —
Определённо влюблённые
Страстно?
Это опасно!

Зато
Летом можно вообще без пальто!
Плечи и ноги голые,
Все весёлые!

А осенью пальто становятся жёлтыми, рыжими, красными.
Люди ёжятся под зонтами частыми —
серыми, чёрными...
Выглядят вóронами.
Галками, воробьями,
Мокрыми кошками в яме,
Что в ямах сидят и кричат под дождём.
Идём, быстрее домой идём!..

Зимой шубы снегурочки, белые,
Девочки в шубах милые, смелые!
Когда на снег принесут выбивать ковры,
Это значит, ковры дотерпели до зимней поры,
И все визжат, витражи дрожат,
Дети прыгают по распростёртым коврам —
По всем мировым дворам!

Девочка ты моя, девочка.
Маленькая припевочка.
Прыгай по маминому коврику,
Пока я тебе с три короба вру
Об окружающем мире.
Раз.
Два.
Три.
Четыре...



Людмила ДУНЕЦ

/ Витебск /

* * *

Вишнёвого сока добавь в изумрудный ром.
Мартини, оливки, джин-тоник и мяты лист.
Придёт это время, когда мы уснём вдвоём,
А утром проснёмся — а город вокруг — Париж.

Я сонной рукою по ямочкам проведу.
Когда тебе нравится — ямочкам нет числа...
И ты мне расскажешь, какие цветы в саду.
И я расскажу тебе, как я тебя ждала.

* * *

Спи, я не стану тебе мешать.
Спи на другом этаже панельном.
Сон твой согрею, едва дыша,
Сон, что течёт у тебя по венам.

Спину поглажу, поправлю прядь,
Окна открою пошире — воздух!
Сверю будильник, когда вставать,
Чтоб ничего не случилось поздно.

Не догадаешься ни о чём,
Я прихожу, если ты не слышишь.
У изголовья, припав плечом,
Только во сне я могу быть ближе.

Как же саднит! И уже не в мочь
Остановиться и бросить ношу.
Сердце прилипло к тебе как скотч.
Рву, отрываю, срывая кожу.

ХОРДА

Моя невыросшая хорда
болит:
эффект отрубленного пальца,
что ноет.
Сегодня тело до рассвета
не спит,
оно желает трогать тело
другое.
И вот уже за старым садом
рассвет
встаёт, заваривая кофе
надежды.
Мои невыросшие крылья
побед
упрямо чешутся лопатками
между.

ТРЮФЕЛЬ

Твоё одиночество вырезано ножом
Из старой коробки свадебных новых туфель.
Закопана в землю нежность давно живьём
И прячется под корнями как чёрный трюфель.

Ну сколько тебе вынашивать эту боль,
Любить себя в ванне, стыдясь, что уже постыло!
Холодная простынь как мёртвая под тобой.
Из старой коробки туфли глядят уныло.

* * *

У серых страхов тени в полстены.
Уснёшь — и душат голыми руками.
Кто первый сможет бросить в спину камень?
Ждут в придорожных ямах валуны,
Зовут к себе тревожными ночами.

Сомнений свора скалится и ждёт,
Когда ты сдашься ей на растерзанье.
Открыты пасти — не убит, но ранен.
И вот из свежей раны кровь течёт,
А бинт лежит нетронутый в кармане.

Не жди, когда из тёмного угла
Зеркальный человек пойдёт в атаку:
Он — это ты, потерянный во мраке.
Не бойся. Просто дай ему тепла.
Читай повсюду символы и знаки.

И если ты проснёшься сам не свой,
Увидишь свет, струящийся из окон,
И луч надежды, тонкий и далёкий,
Иди вперёд и просто будь собой.
Идущему открыты все дороги.

В ОДЕЯЛО

Выбран новый путь
И цветы на умытых клумбах
Распускают бутоны,
Прячут влагу в нутро.

Воздух греет грудь,
Сердце тикает ровным пульсом,
Кровь по телу гонит,
Как по туннелю метро.

Поменялись люди,
Картины замерли в рамах.
Нет о прошлом горести,
Нет незашитых ран.

Непременно будет
Дорога и в чемоданы
Аккуратно сложится
Изданный здесь роман.

После многоточий
Рейсы на всех вокзалах
Растревожат время и нам
Будет главный знак.

А глубокой ночью
Я в коконе одеяла
Под Земфиру вою, не
Попадая в такт.

* * *

Пропахли гарью прошлые мечты.
Старинные одежды обветшали.
Ах, мне бы разглядеть тебя вначале,
Чтоб не сходить с ума от пустоты!

Чтоб не смотреть ночами в потолок,
Скуля от одиночества в подушку,
Чтоб не крошить кокосовую стружку
На тот, тобой не тронутый пирог.

В шкафу мечты пылились десять лет,
Старинные одежды обветшали...
Ах, мне бы разглядеть тебя вначале!
Любовь слепа, но я включаю свет.

УБИЙСТВО

Опровержения жаждет больная душа:
«Я не хотела его убивать, это самозащита.
Больше самой мне грозило быть зверски убитой,
Если бы дальше давала себя унижать».

В душу плевал он и тыкал мне острым словом,
Целые горы обмана скрывая при этом.
После таких остаются не шрамы, а ленты —
Ленты состёганных толстых и грубых рубцов.

Есть у души и физический явный изъян —
Если болит и разорвано — хуже, чем телу.
Душу мою оправдали. В архив сдали дело.
Он же, убитый, вернулся. Предательски пьян.



Инесса ГАНКИНА

/ Минск /

ПАМЯТИ МУЗЫКАНТА

Посвящается Вере Готиной

1

Рояль молчит, он бормотать устал.
Потерю эту не отметишь датой.
Ведь были руки смелы и крылаты:
молитва — плач — надежда и мечта,
а ныне оглушает пустота,
лишь клавиши белеют виновато.

2

Светящийся шар гармонии
просто влетел в комнату,
завис над клавишами,
где пальцы искали на ощупь
и вдруг обрели смысл.

3

Я возьму щепотку печали
и на ощупь найду трезвучье,
ты ответишь веселым эхом
и развесишь гирлянды света.
Так мелодия станет песней
и проложит свою тропинку.
Древо жизни растет от корня,
свет и тени равно прекрасны.
Я добавлю частицу счастья

и пространству скажу спасибо
за чудесное совпадение.
Древо жизни растет беспечно
и не знает, что будет завтра.

01.07.2019

* * *

Свежеотмытое, хрустящее и накрахмаленное
первое утро года.
Довольный разум медленно потягивается
на кушетке будущих планов.
Кто-то наверху милосердно улыбается
солнечным лучом.
Год обещает временное бессмертие —
длящийся сегодняшний день.

01.01.2020

* * *

Идущие следом умеют
носить вечерние платья,
ставить хештеги,
жить в виртуальном мире.

Идущие следом путают
историю мировых войн,
Сталина с Троцким,
Хрущева с Брежневым.

Идущие следом озабочены
таянием льдов и вторжением
в личное пространство.

Идущие следом смотрят
в непредсказуемое будущее
и плохо слышат наши голоса,
постепенно уходящие во тьму.

30.12.2019

* * *

Когда затихают шаги туристов —
мечети Кордовы бормочут по-арабски,

каждая колонна прорастает к небу.
Глупые латиняне мечтали
о полной победе,
но миллионы беженцев уже стояли
на пороге Европы.
Эта подлинная реконкиста,
зачатая в крови новокрещённых морисков.
Ее придется принять
как неизбежный завтрашний день.

01.01.2020

* * *

Мы, всосавшие с молоком
страх погромов и смрад печей.
Мы, запрятавшие глубоко
свою еврейскую сущность.
Инженеры и программисты,
знатоки кодов и ключей,
крепившие оборону
неласковой родины.
Мы, отворачивающие голову
от честного зеркала,
где профиль говорил больше,
чем отчество.
Клейменные рабы
советского паспорта
или боящиеся разоблачения
беглые потомки вечно виноватых.
Мы отшелушиваем свои страхи
и прорастаем жизнью.
Но сколько смердящих трупов
цепляются за ростки живого
и тянут нас во вчера.

29.12.2019

Тамара КОВАЛЁВА

/ Новополоцк /



ДОЖДЬ, СКОРИНА И Я

Меж Скориной и мной —
 пять веков,
Меж Скориной и мной —
 пять шагов.

Мир дождливый вокруг.
 Ветер рвёт
Душу, зонтик... Промок —
 неба свод.

Очищает вода
 мысли вслух.
И уходит беда —
 крепнет дух.

Меж Скориной и мной —
 дождь стеной.
Мокрый Полоцк для нас —
 дом родной.

В час, когда изношу
 душу в хлам,
Я к Скорине спешу —
 в мудрый храм.

И под светлым дождём
 с ним стоим...
В небе ангел летит —
 серафим...

МГНОВЕНИЕ НЕЖНОСТИ

Прозрачность сизого цветка
Ласкала взгляд мой утомлённый...
Осенний берег, чуть зелёный,
Пил до последнего глотка
Речного ветра кутерьму,
Оберегая красок чудо —
Цветок, нежнее изумруда,
Мгновенье подарив ему...
Лёг на душу тот миг, и я
Перехватила эти строки
У жизни, не нарушив сроки
Её размеренного дня...

ОДИНОЧЕСТВО

XXI ВЕКА

Я в виртуальности живу, как наяву.
Хочу — махну в Париж, хочу — в Москву.
Везде мне рады новые друзья,
Такие ж нереальные, как я.

Им жизнь свою готова разложить
По полочкам, забыв, что значит жить
И подчиняться вечной суете.
Реальны только — чайник на плите
(Мой неизменный и надёжный друг)
И тишина, висящая вокруг...

Такой большущий город — миллион,
И даже больше лиц вмещает он.
А места мне, как будто, не найти,
Хоть в нём я истоптала все пути.
Наверно, потому, что все подряд
Реально у компьютеров сидят.

КАЛИНОВЫЙ КВАСОК

Жарким танцем зажигает лето
Утреннюю красную зарю!
И в траве искрящегося света
Есть, где размахнуться косарю.

По блестящей зелени проворно
Маятник косы слагает ритм —
Звучит стали утреннего горна
С небом и землёю говорит.

Мокрая рубаха... Сушит глотку...
Но косить траву, чтоб сбить тоску,
Надо. А потом — попить в охотку
Из калины красного кваску!

Наполняет квас волшебной силой,
Словно нарождаешься на свет.
Позабить навек измену милой
Способа на свете лучше нет!

Фисташковая королева
Весна, ты не можешь не быть!
Весна, солнцекудрая дева,
Фисташковая королева,
Уйми сладострастную прыть!
Но словно не слышит она,
Всё больше и больше бушует.
На встречу с весной спешу я,
Пьянея без слов и вина.

И с нею мы вместе теперь,
Две страстные яркие девы,
Фисташковые королевы,
Влетаем в открытую дверь
Безумной весенней любви,
Что завтра, возможно, обманет
И болью фисташковой станет...
Сегодня — люблю! Се-ля-ви...



Игорь СИЛАНТЬЕВ

/ Новосибирск /

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ

Мечь

Когда учитель географии Константин Евгеньевич вышел на пенсию, его как-то тихо и незаметно для него самого уволили с работы. И только на третьей неделе он поймал себя на том, что не ходит по утрам в школу и не проверяет по вечерам тетради и контурные карты.

— Что же это я? — удивился Константин Евгеньевич и отправился на работу, а там в его классе другой учитель географии глобус крутит, а его уже и не узнает никто, ни школьники, ни учителя.

— Здравствуйте, Марья Петровна! — говорит Константин Евгеньевич учительнице математики, а Марья Петровна проходит мимо и хоть бы что.

— Приветствую, Семен Иванович! — обращается Константин Евгеньевич к завучу, а тот уткнулся в какие-то ведомости и семечит мимо.

А директор школы Максим Федорович даже сам подошел к Константину Евгеньевичу и спросил: — Вы к кому это, мужчина?

Что было делать? Пообижался Константин Евгеньевич и устроился работать охранником в универмаг на улице Ленина. Сидит себе весь день на стуле около кассы, или прохаживается по торговому залу, или мальчишек шальных гоняет.

И заходит в магазин та самая учительница математики Марья Петровна, за хлебом там и за молоком. Ходит такая туда-сюда и Константина Евгеньевича совсем уже не узнает, не то чтобы понарошку, а взаправду. А Константин Евгеньевич ловко так сзади подобрался и в сумку математичке штопор кладет дорогой, с ручкой и рожками. Училка расплачивается и топает к выходу, а тут верещит тревожный сигнал, ну и Константин Евгеньевич уже наготове, и вот Марью Петровну задерживают. Крики, слезы, какой штопор, я в жизни вина не пила и бутылку не открывала. Штраф, короче, платит Марья Петровна.

Через некоторое время встречает Константин Евгеньевич в магазине — ага, завуча Семена Ивановича! Тот, как обычно, уткнулся в какие-то ведомости и семенит мимо с корзинкой, в которой картошка с морковкой. А Константин Евгеньевич ему в карман пиджака раз — и кладет розовую женскую бритву для сбривания волос на ногах и в прочих интимных местах. Ну а дальше все как по нотам — касса, звонок, задержание, обнаружение и устыжение латентного извращенца. И платит Семен Иванович тоже штраф.

Константину Евгеньевичу интересно стало и азартно. За полгода всех бывших коллег по предметам перебрал, от русского языка до физкультуры. И охранником стал уже заматерлым, с твердым взглядом и жесткими выученными фразами: «Мужчина, стойте! Покажите, что в сумке!», или «Женщина, с тележкой нельзя!», или «Я просто делаю свою работу!»

И все ходит Константин Евгеньевич по магазину и произносит свои железные фразы, а при этом думает: — Ну когда же, наконец, придет этот гад? — Это он про директора школы. Потом вроде отвлечется, пацанов погоняет, и снова ему в голову лезет: — Ну где же этот негодник Максим Федорович? — И снова ходит по магазину. А тут посмотрел вбок — и вот он тебе, Максим наш Федорович, дефилирует с портфельчиком, коньячки рассматривает. И когда засмотрелся директор на Хенесси (а не берет, только смотрит любовно, кишка тонка!), то Константин Евгеньевич ему в портфельчик и сунул упаковку презервативов, элитных и очень дорогих, под стать тому Хенесси! От кутюр каких-то.

Вы бы видели, что там на контроле было с Максимом Федоровичем и этими изделиями! Крика сколько! Мол, не знаю, что это такое, и как это использовать, тоже понятия не имею! Фу ты! Только вызвали на этот раз полицию, потому что очень уж дорогой был товар и эксклюзивный.

— Выручай, милый Константин Евгеньевич! — кричит директор. Сразу узнал, сволочь! А географ: — Вы кому это, мужчина?

И под белы рученьки Максима Федоровича куда надо увели полицейские и за что надо задержали. А Константин Евгеньевич отработал смену, пришел домой, сел на стул и глобус гладит и поглаживает. И душа у Константина Евгеньевича поет.

Кройка и шитье

Когда учителя географии Константина Евгеньевича, как говорится, ушли на пенсию, он поискал было работу по специальности, но, понятное дело, ничего не нашел. В тюремной школе, правда, была одна вакансия, но географ туда не пошел. Больно стремно там было, а еще нужно было совмещать географию с курсами кройки и шитья. А шить-кроить Константин Евгеньевич, увы, по жизни не научился.

Потыкался бывший учитель в другие разные места, а нигде не берут, даже охранником в магазин! Идите, говорят, домой, и смотрите телевизор. Наслаждайтесь, говорят, заслуженным отдыхом. Но Константин Евгеньевич наслаждаться не хотел, а потому направился в контору, которая красиво называлась отделом занятости населения.

Приходит и встречает в этом красивом отделе население исключительно незанятое, такое же, как он сам.

— Что умеете? — спрашивает Константина Евгеньевича барышня из окошка, ладненькая и в блузочке.

— Географию в школе преподавать, — отвечает учитель географии.

— А еще что умеете?

— Больше ничего.

— Тогда будете перепрофилироваться, — сказала барышня.

И удивительно дело, направили Константина Евгеньевича перепрофилироваться не куда-либо, а на курсы кройки и шитья, стажером на фабрику пошива верхонки. А на фабрике пристроили Константина Евгеньевича к старшему верхонщику дяде Паше, мужику бывалому, руки в наколках и взгляд такой особенный и цепкий.

— Сначала, — определил дядя Паша, — левую верхонку научись шить, а потом и до правой допустим.

И стал учитель географии шить верхонки. Сначала научился шить левую, а потом и правую, да так хорошо, что дядя Паша уже ставил его в пример другим верхонщикам.

А потом Константин Евгеньевич, как бывший работник умственного труда, придумал рацпредложение.

— Давайте, — говорит он начальникам фабрики, — не левую и не правую верхонки шить, а одну общую, среднюю, с большим пальцем наверху.

— Так неловко же будет! — отвечают начальники.

— Зато быстро и с меньшими затратами, — толкует Константин Евгеньевич.

Начальники быстро посчитали рост производительности и выгоду от рацпредложения, подпрыгнули от радости и половину верхонщиков уволили. И дядю Пашу тоже. А Константина Евгеньевича вместо него старшим верхонщиком определили.

Дядя Паша плюнул в землю и отправился на пенсию смотреть телевизор. А на фабрике под руководством нового старшего верхонщика стали кроить и шить верхонку универсальную, ни левую и ни правую. И все стройки и магазины ими завалили. И местные газеты про инноваторов написали. И губернатор на фабрику приезжал и инновационные верхонки перед камерой примерял. И даже Чубайс изобретением Константина Евгеньевича заинтересовался, на предмет экспорта универсальных инонановых верхонки в Саудовскую Аравию.

А потом Чубайс купил эту фабрику и всех рабочих с нее вообще уволил, и Константина Евгеньевича тоже. Уж больно простая

стала выкройка, поэтому верхонщиков заменили на инонаноавтоматы. И отправился бывший географ, он же бывший старший верхонщик вслед за дядей Пашей наслаждаться заслуженным отдыхом и смотреть телевизор.

А впрочем, и фабрику скоро закрыли. После первого модного бума как-то перестали покупать универсальные верхонки. Ну неудобные они. Большой палец потому что у всех, кроме Чубайса, сбоку растет. Даже у арабов.

И как встречаются бывшие коллеги на улице, то Константин Евгеньевич делает вид, что не замечает дядю Пашу, а дядя Паша плюет в землю и подолгу стоит на месте, глядя за горизонт.

Сказитель

Когда учителя географии Константина Евгеньевича выперли из школы на пенсию, он попробовал стать дачником, но все эти рассады, поливы, прополки и окучивания как-то не легли ему на душу и вскоре он эти занятия забросил. Потом Константин Евгеньевич попробовал разносить рекламные газеты по подъездам, но напечатанное в них показалось ему таким глупым и бессмысленным, что он чуть было не перестал уважать себя за этим делом и тоже его бросил.

А потом у него в голове что-то тумкнуло, в смысле, осенило его. Он надел своей коричневый школьный костюм, повязал парадный синий галстук, причесался и отправился в придорожный мотель за городом, где на ночной постой останавливались дальнобойщики.

Дальнобойщики — люди серьезные и, честно сказать, скучноватые. Ну, отужинают в придорожном кафе, выпьют не очень много, потому что много нельзя, завтра снова в путь, а дальше что? В телевизор поглазеют, поболтают — а все анекдоты уже рассказаны-пересказаны, и про дорогу тоже неинтересно — она и без того весь день перед глазами. Значит, спать.

А тут является в это непосредственное общество этакий пожилой мужичок аккуратный, неподдельного интеллигентного вида, и говорит: — Ребята, а вы ведь «Капитанскую дочку» Пушкина Александра Сергеевича читали? — Ну вроде и читали в школе что-то, да только кто там что помнит? — А давайте, — предлагает географ, — я вам расскажу-перескажу эту интереснейшую историю?

Тут кто-то, может быть, вознамерился и послать его куда подальше, только другой, бывалый и в авторитете, останавливает вознамерившегося послать и молвит: — Давай, мужик, тискай свой роман. — И, конечно же, наливает ему, как полагается.

И удивительное дело, затихает и слушает Константина Евгеньевича дальнобойная компания, не перебивает и интересуется! А на следующая вечер, уже в другой дальнобойной компании, Константин Евгеньевич про «Мертвые души» повествует! И так далее, по всей русской классической литературе с заходами в испанскую семнадцатого века и французскую девятнадцатого. А что ему, Констан-

тину нашему Евгеньевичу! Он хоть и географ, а в школе любую училку литературы за пояс эрудицией затыкал и всю районную библиотеку на три раза перечитал!

Вот такие пошли дела. Понятное дело, водили не просто так его отпускали, а наливали и деньгами тоже уважали. И зажил Константин Евгеньевич интересно! Слух о сказителе широко разошелся в дальнобойном народе, и уже возили его мужики на фурах, так сказать, на гастроли через всю страну, аж до самого Липецка! А Константин Евгеньевич все рассказывает и рассказывает, да водочкой угощается. И под воздействием сорокоградусного напитка все истории литературные в голове учителя географии перемешались и слились в один причудливый эпос, в котором Дон Кихот дает обет верности Настасье Филипповне, Герасим топит Каштанку и заодно Холстомера, а Остап Бендер продает Чичикову коробочкины стулья и собакевичевы табуреты, из которых тот гонит самогон.

Про Константина Евгеньевича узнали журналисты и начали брать у него интервью и таскать на телепередачи. Потом про него узнали критики и литературоведы и стали о нем дискутировать и даже спорить и писать эссе и монографии. А потом про географа узнали еще какие-то культуртрегеры, прости Господи, и набросились на него со всяческими конкурсами, лонгами и шортами, а также фестивами, баттлами и слэмами, и навручали ему премий и призов.

И такая веселая жизнь у Константина Евгеньевича пошла, что взял он и спился. Банально так спился. Ну не выдержало простое сердце человеческое такого обилия пестрой славы и такого количества горячительных напитков. И как-то не сразу, но конкретно отпала, отлетела от Константина Евгеньевича вся эта кутерьма, и вернулся он в свой городок.

И вот шарится-шаражится бывший учитель в заношенном пиджачке и растянутом трико по пивнухам и мотелям тем самым придорожным, да только теперь побирается просто и водку выпрашивает, а истории уже никому не рассказывает...

Не всем, конечно, понравится такой финал жизни Константина Евгеньевича, поэтому вполне возможен и другой.

Например, такой.

...И такая веселая жизнь у Константина Евгеньевича пошла, что он стал почти как народный герой. А почему, собственно, почти? По первому каналу выступает и истории свои рассказывает, перед депутатами выступает и тоже им истории рассказывает, в Министерстве просвещения министра историями просвещает, и страшно сказать — перед самым что ни на есть первым лицом выступает и лицу этому историю про Муму, которая в космос летала, рассказывает. И выделило самое что ни на есть первое лицо Константину Евгеньевичу квартиру прямо в Кремлевском дворце съездов, на одном этаже со Стивеном Сигалом, и географ наш теперь вместе с этим Сигалом автографы туристам раздает на Красной площади. А у Мавзолея истории рассказывает. Про Ленина на хуторе близ Диканьки.

Максим КАЛИНИН

/ Рыбинск /



* * *

Всю ночь
Опавшая листва
Шаркала по земле,
Тщетно ища
Оставленные деревья.
Наутро
Несколько кленовых растопырок
Прижалось к берёзе.
Должно быть,
Листья не видят в темноте.

* * *

В семействе звёзд,
Вышедших на небо,
Кто-то один
То и дело
Поворачивается ко мне
Чёрной спиной.

* * *

Снежной ночью
В деревушке Касивабара
Поэт Кобаяси Исса
До рассвета затыкал взглядом
Прореху в крыше,
Любуясь
Млечным путём,
И ни одна
Снежинка
Не замерцала
На земляном полу.

* * *

Птицы,
Сидящие на проводах,
Переминаются с лапки на лапку,
Перемещаясь
По направлению тока.

* * *

Из окна
Пригородного автобуса
Я увидел
Как из лесу
Выходит мой сосед,
Сгоревший три года назад
В дачном домике.
Лицо его,
Словно маска
Мимического актёра
Прилипло к стеклу
Напротив меня
И капли дождя
Не могли его смыть
От Фоминского до Микляихи.

* * *

Когда
Промозглым вечером
Поэт Кобаяси Исса
Услышал
Как дождь
Спускается с гор
И приближается к деревне,
Он вышел из дома
И поприветствовал гостя
Глубоким поклоном.

* * *

В поздний час
Многие люди
Застывают у окон
В разных квартирах,
В разных домах, -
Каждому
Достанется ломтик луны.

* * *

Там,
Где отсутствует тело,
Не место объятьям,
Но души
Разбиваются в кровь,
Столкнувшись
Случайно и навеки.

* * *

Невозможные города,
В две-три улицы,
Возникают
В поле
Или в лесу.
Постоят день другой
И исчезнут
Вместе с гостями.

* * *

В заброшенном саду
Паданцы
Стучат по земле,
Словно комя глины
По крышке гроба.

* * *

В день,
Когда умер
Поэт Сайгё,
В горах Ёсико
Засохли все вишни.

* * *

Мацуо Басё
Тоже досталось палок,
Когда он
Во время странствий
Вступился за пугало,
Забредшее на чужое поле.

* * *

Я не понимал,
Что у меня в голове
Летает сова,
Пока
Она не ухнула.

* * *

По длинным сваям,
Уходящим
В самое небо,
Некие люди
Скользили ввысь.
Кто с восторгом,
А кто – с ужасом.

* * *

В одной деревне
Сразу после войны
Соседи сбежались
На плач
И хруст костей –
Это солдат,
Вернувшийся с фронта
Без обеих рук,
Обнимал своих родных.

* * *

В её глазах,
Тревожных, как море,
Временами
Что-то проплывает
У самой поверхности.
Что-то огромное.

* * *

В который раз,
Выходя на улицу,
Я встречаю
Самого себя.
И в который раз
Прохожу мимо,
Не решаясь
Заговорить.

* * *

В сером распахе
Зимнего неба
Кажется,
Что все деревья

Умерли в ноябре
И только
Их призраки
Толпятся
На пустырях.

* * *

Пока он засыпал
Напротив камина,
Тени плясали
Перед огнём.
Когда он проснулся –
Огонь исчез,
А тени
Продолжали плясать.

* * *

Летним утром
Трепет листвы
Передаётся
От дерева к дереву
Прямо
Через твоё сердце.

* * *

Едва я собрался
Перепрыгнуть через лужу,
Как в ней
Появилась луна,
Обрызгав меня
С головы до ног.

* * *

Всякое собрание
Через час
Теряет свой смысл:
Никто не помнит
Как он сюда попал,
А на месте председателя
Возвышается
Череп на палке.

* * *

В наступившей темноте
Было слышно
Как стучит сердце

Того,
Кто стоял
По ту сторону
Входной двери.

* * *

День
Ещё не начинался,
А слёзы
Текли
Быстрее,
Чем кровь.

* * *

Только б они не решили
Сделаться людьми –
Эти два дерева
В конце тёмной улицы,
Склонившиеся друг к другу
В разговоре обо мне.

* * *

Зимой
Некоторый деревья,
С кроной
Стоящей торчком,
Сплетают ветви
В подобье лица
И заговаривают с прохожими.

Летом такого не увидишь.

* * *

На крыше
Реанимационного отделения
Появилась
И снова исчезла
Чья-то душа,
Будто то бы
На перекур выходила.

* * *

Грохот в подъезде –
Тащат по лестнице
Не то шкаф,
Не то гроб.

Виктор ШЕНДРИК

/ Бахмут /



ПРОВОКАЦИЯ

Странные идеи приходят иногда в голову, и храни нас Господь от немедленного их осуществления!

Я сидел над чашкой чая в кафе «Три дороги» и беззвучно, в уме, подвывал от скуки. И от одиночества подвывал тоже — два состояния нагрянули одновременно, хотя стечение их обычно вовсе не обязательно.

Скука — она вообще дама капризная и непредсказуемая. Бывает, занят ты вроде бы каким-то привычным делом, и вдруг, будто зуд над ухом: а не надоело ли тебе всё это? Сколько ж можно! Скучно же, скучно!

Или, паче того, завис в большой разудалой компании, и как локтем в бок кто-то: ну ладно они, но ты-то что здесь делаешь?! Скуотища!

То ли дело сидишь один-одинёшенек, бездельничаешь, — мухам крылышки отрываешь или плюешь из окна прохожим на головы, — а вот не скучно ни капельки! Красота!

А вот что касается одиночества... Оно — всегда рядом. Ну, или за редким исключением...

И вот они совпали — два состояния, два чувства, две стихии. Жуть!

...И мысли явились соответствующие. Который день не выключен, но молчит телефон. Который день никто не забегает выпить со мной чашку кофе. Про коньяк я уже молчу. Это если я кому-то нужен, — никто со мной не церемонится! За ноги с жены стащат, в исподнем на мороз выведут — помогай, выручай!..

Всё меньше становится друзей... Человек я не скандальный и ни с кем не рассорился... Почти ни с кем... Зато сказала уже естественная убыль... Нелепое словосочетание! Вовке Павленко на заводе развалила голову вылетевшая из-под пресса железка — что ж тут естественного?! Он радовался новой работе — «Я буду получать тыщи...» На похороны хватило...

Ещё двое-трое ушли рано и глупо. Развесёлое было поколение, и вот итог — мало кто успел состариться. С оставшимися дружим номинально — в смысле, не встречаясь. У всех — дела, заботы...

А теперь вот, надо же, — третий день ни одного звонка... Хоть бы кто-нибудь позвонил и спросил: завтракал ли я сегодня?.. Хотя нет... подобный вопрос был бы актуален в 90-х. Сейчас нет проблем насчёт позавтракать, да и диета к тому же. Пусть лучше спросят... О чём? Ну, что за кручина у меня на душе, скажем. А я что отвечу? Голова, мол, в петле, и табуретка под ногами шатается? Вряд ли кто ответит на звонок в такой ситуации — не годится!

Стоп! А почему я жду, чтобы позвонили мне? Почему бы мне самому не набрать кого-то из друзей? Позвонить и сказать...

— Владимир Александрович, вам ещё что-нибудь?

Вот она у моего столика, Оленька, бармен и официантка по совместительству. Кукольная мордашка, подростковая фигура и довольно твёрдый характер — с другим в «Трёх дорогах» не удержишься.

— Ещё чая?

Я недоумённо посмотрел на опорожнённую чашку.

— Да, пожалуйста. Хотя... принеси лучше коньяку, грамм сто.

О чём я думал?! О чём-то важном, и, кажется, уже принял решение... А картина в золочёной раме снова перекосилась на стене, хотя я поправлял её, совсем недавно. Унылый гористый пейзаж...

Вот! Позвонить и спросить... попросить, вернее, денег займы или — с многозначительной игривостью — ключ от квартиры. Ерунда! Свободных денег ни у кого из друзей нет, к тому же я первый постоянно твердил им: кредит портит отношения! А насчёт ключа... нужны они мне, их советы!

Скандал нужен, вот что! С неременной угрозой, как следствие, драгоценному моему здоровью! Вернее, как бы скандал. Наши палестины излишней толерантностью не обезображены, а «Три дороги» — три дороги и есть. Перепутье. Здесь такие томные вечера случаются, что пресловутый экстрим техасского салуна в сравнении — это так себе, постный ужин церковных певчих. Другими словами, нарваться можно конкретно и выгрести по самое не балуй.

Значит, мне поверят! Должны поверить! Я повертел коньячный бокал, сделал глоток... Вот и посмотрим, кто откликнется первым. И откликнется ли кто-либо вообще...

Я достал телефон — и с кого же начать? Валера Петренко? Толя Морозов? Эти беспокоятся, но не прибегут, жидковаты. Не прибегут, но полицию вызовут. А нужна она мне здесь, полиция?

Слава Колобов! Это боец! В молодости, помню, окружили его в парке пацаны с Мопры, человек пятнадцать. Пока наши подтянулись, он восьмерых уделал сподобился. Из горотдела, вообще, не вылезал — если не обвиняемым проходил, то свидетелем. Слава Богу, хоть не сел. Впрочем, речь сейчас о другом... И я набрал номер.

Голос отозвался несомненно Славкин, но звук, который этот голос издал, передать можно было приблизительно как «Г-ха». Я услышал:

— Г-ха.

— Славон, это я, Воха. Ты где?

— В штатаооооооиии.

— Что ты там забыл, в стоматологии? Я тут в непонятку попал. В «Трёх дорогах». Короче, компашка тут гнилая какая-то.

— Фьют?

— Кто, они? Пьют, конечно.

— Тефя фьют?

— А! Да нет, не бьют пока, но могут. Ты бы подтянулся...

— Ухол мье штелали, миут шееш пятнашашъ жуп гвать путут.

— «Гвать путут!» Достал ты со своим зубом! Нашёл время!..

И я оборвал звонок. Надо же, зубы он рвать собрался, когда тут такое!.. Я осмотрелся и почти воочию увидел за дальним столиком угрожающую мне компанию. Сидят плотным кружком — плечо к плечу. Бычки — бритая голова сразу же трансформируется в спину, шорты и безобразные (а других и не бывает) шлёпанцы на босу ногу. Они, лысые крепыши, появились во множестве как-то внезапно — будто начали сходить где-то с конвейера, получая на выходе эти самые шорты и шлёпанцы. И вот один из них, полуобернувшись и перехватив мой взгляд, кричит развязно: «Чё уставился? Проблемы? Ща порешаем!» А я... я нахожу в телефонной книге новое имя.

...В восьмилетке училась со мной в одном классе Наташа Маркевич — девочка, переболевшая полиомиелитом. Прыгающая походка, искривлённые болезнью руки, освобождение от физкультуры... Отличница. Впрочем, как понимаю я сейчас, учительница наша с первого по четвёртый класс, Александра Евгеньевна, оценки ей завывшала из жалости, призывая и нас, несмышлёнышей, всячески опекать ущербную одноклассницу. Позже выяснилось, что у Наташи вредный, склочный характер и никакая доброжелательность ближних не побуждает её к взаимности. Но это позже, а тогда... Короче, я каким-то образом сподобился Наташу обидеть — то ли сказал что-то неприятное, то ли просто толкнул в том извечном кавардаке переменок. Александра Евгеньевна стыдила меня, авторитет её был непререкаем, и класс пошёл по единственно известному нам тогда пути — поколотить меня после уроков. Остался со мной только Генка Голобоков. С ним мы и выбирались из школы. Через цоколь, — столовую или раздевалку, не помню, — но избежали встречи с разгневанными одноклассниками. Генка не посчитался с мнением Александры Евгеньевны, не поддался настрою класса — и это был поступок.

Я набрал номер.

— Ты где, Геша?

— Где-где... В яме выгребной, у тещи. Крысы тут вчера сливную трубу прогрызли. Менять пришлось...

— Ну? А сегодня ты там что делаешь?

— А ночью они новую прогрызли, снова меняю. Весь в... в субстанции, короче. А ты что хотел?

— Да так... уже ничего. Занимайся.

Тёща, крыса, субстанция — надо же, как сбежалось всё у Генки!..

Я снова посмотрел в сторону агрессивной, в воображении, компании и напроць стёр нарисованную ранее картинку. Все эти лысо-шлёпанце-шортовые, они все теперь бизнесмены. Они заняты делом, подсчётом доходов-расходов и просто так к людям цепляться не будут.

Там должна сидеть полупьяная гопота, час назад укравшая и сдавшая на приёмный пункт канализационный люк и теперь, не без шика, обмывающая удачный гешефт.

Одеты кто во что... Физиономии, будто неумело вырезаны из дерева тёмных пород... Наколки не гламурные, а босяцкие — кресты с черепами и кинжалы с розами.

Среди лихих посетителей, как положено, есть и женщина. Или нечто родственное по половому признаку. Засаленные волосы, грязные неухоженные ноги, те же, что у свиты, проблемы с зубами.

Колоритные ребяташки. На одном даже бандана грязная — прям, люди Флинта какие-то. Или «лишние человеки» уже нового, матеряющего века.

«Иди, братела, накати с нами!» — слышу я в свой адрес. И отказываюсь, вежливо. «Ты чё, сука! Впадлу выпить с нормальными пацанами?»

Ну что тут будешь делать! Хотел же уйти спокойно, так нет — теперь за «суку» с ребяташек спросить надобно...

Лёха! Лёха Журавель, вот кто мне нужен!

В отличие от Славки Колобова, тенёт пенитенциарной системы Лёха в молодости избежать не сумел. Отсидел одиннадцать лет за четыре или пять ходок. В реестре его статей можно было усмотреть своеобразный прогресс — мордобой, поножовщина, хранение оружия. Однажды на улице к нам подошёл милицейский наряд — кто да что, то да сё. Намётанный глаз не подвёл сержанта, и он спросил у Лёхи: «Сидел?» Тот молча кивнул. «По какой статье?» — патрульный достал блокнот. Лёха облокотился о придорожный парапет, устроился поудобнее и спокойно сказал: «Ну, сержант, записывай...»

Габаритами Лёха Журавель невелик, чтобы не сказать тщедушен. Но внутренний стерженёк в нём — дай Бог каждому. Старый сиделец, к уголовным понятиям относится он снисходительно. «Феню» или «блатную музыку» не признаёт, называет «муркотеньем» и... владеет ею в совершенстве. Недаром у былых лагерников отто-

ченная лексика приравнивалась к оружию. Короче, не помешал бы сейчас Лёха — разобраться: кто в авторитете, а кто — так себе, «шансона» наслушался.

И я снова взялся за телефон. Откликнулся Лёха сразу, но говорил как-то глухо, натужно, будто зажало его дверями лифта, а реверс не работал.

— Я тут в «Дорогах», Лёха... Ты бы подтянулся.

— Что стряслось?

— Конфликтная ситуация назревает... На почве внезапно возникшей неприязни...

— И кто там? Крутизна?

— Да нет, босота какая-то.

— Ясно! Бакланьё голимое... Вовчик, я из дому выйти не могу.

— Во новости! Что такое?

— Да я тут в раскатуху угодил, прихватил недельку...

Мне стало понятно, что случилось с Лёхиным голосом. Действительно, в последнее время у него участились запои.

— Жаль... Штормит, значит? Сочувствую... — только и сказал я.

— Да не, не, я в порядке. Уже на отходняках, в смысле. Выйти не в чем. Жена все вещи замочила, с понтом в стирку. Ну, чтоб не ходил никуда. Сижу вот в одних трусах... Хотя её штаны надевай!

— Ладно, Лёха. Понял я. Давай, разберусь сам как-нибудь.

Всё! У каждого свои дела, свои проблемы, и чужие страсти-мордасти им побоку.

Я, кажется, ещё звонил кому-то, не помню. Помню, ещё выпил, кажется...

Через два дня — нет, я даже не заглядывал в «Три дороги», просто проходил мимо.

— Владимир Александрович! — окликнула меня стоящая в дверях Оленька. — С вами всё в порядке?

Пришлось зайти.

— Да вроде. А почему вопрос возник?

— Ой! Вы только ушли позавчера, и началось. Человек двенадцать забегали, вас спрашивали. Прямо это... паломничество. Ну, не двенадцать — восемь, это точно. И всё возбуждённые... Один с битой прибежал, с бейсбольной. А один, так вообще! В штанах каких-то, бисером расшитых. Как Киркоров. И на педика вроде не похож — серьёзный такой дядечка... Я уже думала...

Дальше я не слушал. И не сказал ничего. Подошёл к стене, поправил картину. Скалы на ней, солнце садится...

Твою ж мать! Как же неудачно всё получилось! Перед ребятами как неудобно! В следующий раз надо будет придумать что-нибудь другое...



Виталий АМУРСКИЙ

/ Париж /

* * *

Зачем о том, сколь Летой унесло
Зим бесконечных и щемящих вёсен!
Не всё ль равно, где девушка с веслом
И те, что были около, без вёсел?

Возможно, птиц серебряный галдёж
Звучит там так же звонко, не иначе,
Но прежней газировки не найдёшь,
Чтоб с пятака взять мокрой медью сдачу.

Конечно, жизнь меняет свой ландшафт,
А разум примиряет взгляд и чувства,
Но с кем же пить теперь на брудершафт,
Где для души почти что всё так чуждо!

К тому же, сделай даже робкий шаг,
Как сразу обнаружишь по соседству
Металла отблеск, а не тёмный шлак,
Оставшийся от прошлого в наследство.

И убедишься, что недалеко
От прежнего до нового ампира,
Где не патриотично «Сулико»,
Однако читится мрамор в честь вампира.

НАСЛЕДСТВО

Мы были краснофлагой частью суши,
Где гордо пели про рабочий класс,
Не забывая, что у стен есть уши
И щели для чекистских зорких глаз.

Когда ж нужда и стынь селились в доме,
Газеты, будто то им невдомёк,
Трубили про рекордные удои,
Стахановский отборный уголёк.

Нам обещали мир и изобилье,
Нас убеждали — кончится нужда,
Однако шум ночных автомобилей
Лишь страх в уставших душах порождает.

И всё ж, внимая лозунгам-приманкам
Своим, а коминтерновским — вдвойне,
Мы тракторы приравнивали к танкам,
Готовясь к неминуемой к войне.

Медовый месяц с Рейхом был недолог,
Как утверждалось — нужным для страны,
Но свастика, а рядом серп и молот
В то время стали в сущности равны.

Действительно, мы жили по-соседски,
То споря, то совместный кнут деля —
Познал его в Шпандау¹ фон Осецкий,
А тезка его, Радек, близ Кремля.

Год на весах Фемиды мало весил
И потому был «щедрым» суд у нас,
Когда за анекдот давали десять
И четвертак за мнимый шпионаж.

Победу вспоминая, имя Жуков
Одним из первых называем мы,
Бессмертен Тёркин, ну а что же — Шухов²
И в лагерных бараках полстраны?..

Тяжёлой тенью прошлое на сердце
Лежит, и всё же, как свеча,
Мерцает мысль: без этого наследства,
Быть может, был беднее б я сейчас.

¹ Известная берлинская тюрьма, где во времена Третьего Рейха содержались противники нацистского режима. Карл фон Осецкий (1889–1938) пацифист, лауреат Нобелевской премии мира за 1936 год. Карл Радек (1885–1939) советский политический деятель, один из руководителей Коминтерна. Арестованный в Москве в 1936 году, несколько месяцев находился в тюрьме Лубянки.

² Заключённый с номером Щ-854, главный персонаж повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

* * *

Народ — понятие абстрактное,
И как зовётся он — неважно:
Сократов как и Геростратов
Хватает в каждом.

Культь делать из него не следует,
Псевдогероев тиражируя.
Минувшее же пусть исследуют
Историки не ангажированные.

Они, увы, для всякой власти —
Не челядь, ко всему привычная,
В науке, впрочем, беспристрастие
Отнюдь не признак безразличия.

Мне ж выпало лишь быть свидетелем
Времён то мрачных, то посредственных,
Когда властителей сменяли дети их
На липовых правах наследников.

Но не желая лучшей участи
В рядах ровесников редющих,
Я столько раз вопросом мучился:
Отечество, камо грядеши?

* * *

Как за цветы у поля на обочине
И ветер, освежающий лицо,
Я говорю спасибо Вологодчине
За сына по фамилии Рубцов.

За Николая (можно и без отчества),
Чью душу, как осенний березняк,
Порою так пронзало одиночество,
Что не сумел бы ни один сквозняк.

На разных реках он, случалось, пристально
Смотрел на проходящие суда,
Но только к сухонским печальным пристаням
Тянула его тёмная судьба.

Являясь, они вскоре пропадали,
Как миражи, но было что-то ведь
В тех зовах малой родины, чьи дали
Издалека хотел он разглядеть.

А там роса в траве мерцала жемчугом,
И у мостков знакомая ветла
Сгибалась, как стирающая женщина,
Точь-в-точь как век назад или как два.

Течение сносило пену мыльную,
А чуть поодаль морщилась вода,
Где, кажется, почти полжизни минуло,
Лишь в сердце сбережённой навсегда.

* * *

На город, где я жил, глухая мгла
Надвинулась, сдавив его до боли.
Там Лени Рифеншталь могла б
Снять продолжение «Триумфа воли».

А в том, другом, где для меня давно
Что ни сезон, то — новая потеря
И небо при закатах, как вино
При коммунарах в дни Адольфа Тьера.

2019–20 гг.



Владимир ЗАГРЕБА

/ Париж /

КОМАНДИР, КОГДА ВСПЛЫВАЕМ?..

По-пытка некролога — Н.Бокову

Эти четыре месяца были особенно тяжёлыми. Август, девятнадцатого... В Париже жара адская... 38 по Ц. (по Цельсию и по Целкову), а уж по Ф. (Фаренгейту, я вас умоляю), лучше не пересчитывать. А три дня тому, в нашем доме №36 открылось «Ателье цвета», где в старом, покинутом, литейном (опять Литейный) заводе проецируют, «отливают» на стены, пол и потолок (эпилептики — стоп!) картины художников, которые уже не... и которые, как бы ещё... да, мэтры — метрами: Гоген, Ван-Гог, «золотой» Климт, у которого, как говорят, было двести любовниц (очередь из парижан внизу поглазеть на это платное шоу на сто пятьдесят тянется, прямо до аптеки Лебона, где каждый день «ночь, улица, фонарь...», ломятся как в мясную, в шестидесятых, в Питере, на Разъезжей). А на четвёртом — Олег Ц. со своим «каноном» тоже: тремя на четыре (метрами), а то и больше, тоже мэтром, над всем этим художественно-проекционным и оплаченным государством, чужим нижним пространством.

А причём тут наш дом? И оплаченный Парижем «худниз» — «вровень с землёй» (этаж первый по-здешнему)? Ну, это чтобы как-то поярче, подушевнее атмосферу августа девятнадцатого показать. Где? Кто? Зачем? В августе в Париже в белом (в смысле халатов) никого... все разъехались, если это дело, в смысле денег, позволяет. А главное — в августе ни в коем случае нельзя болеть. Никого нет: ни участковых (врачей), ни офтальмологов, ни хирургов, ни урологов, ни венерологов, ни онкологов, ни аллергологов, ни кардиологов, а уж про гинекологов, астрологов и трансплантологов и говорить нечего... Все на пляжах! Весь французский бомонд-медкорпус до сентября только в трусах или без. А тут вместо «скорой» (как кому повезёт) приезжают по вызову какие-то «пожарники» с брандспойтами, напо-

леоновским приказом в начале девятнадцатого (века, века) надутые. В общем, был август. На «парижском дворе» стоял, потел (от тел?) — девятнадцатый (год, год)...

Звонок № 1

— Док?

— Да, Коль...

— Давай, я тебе холодного... из «Линд'ла».

— От пузика — арбузика... Но тащить же...

— А может, потом сходим... и маму твою заодно «помоем», в 28-ом. Бомарше напротив от зависти лопнет с его 16-тью «коленьями»-поколеньями... и этим самым заводным «Фи»-парикмахером. Его, то есть её (в смысле могилы) тоже иногда моют, нет, не Фигаро, не мы с Колей, — государство... музей же... помыть, подстричь — долг, когда у тебя зарплата в конце каждого (месяца).

— День будет банным, загребанным.

— И Базана возьми, пусть щёлкнет.

Коля притащил полтора кило этого красного, полухолодного, с наклейкой из Марокко. В этот день никого не мыли. Огромный нож, знакомясь, впивался в выпуклые бёдра «фрукта», того самого, в который — там, «в одной шестой», коллеги (тоже в белом) шприцами семидесятиградусный аптечный (спирт) засаживали.

— А ты на чём?

— На колёсах.

— Как Меркс?

— Ни Маркс, ни Меркс...

— Ты ж на одном дыхании, педалями Париж режешь: «Полковник Фабьян» — «Булонский»...

— В том-то и дело... второе (дыхание) открывать надо... Не могу понять, почему это «железо» на гвоздь не подвесить... — он коснулся груди, — что-то не... задыхаюсь.

Именно после этой встречи и завернулись эти «чёртовы» колёса. Три дня ушло на то, чтобы сделать рентген, сканер, анализы крови, найти французского врача (в смысле вечности-человечности). Хорошо бы «поймать» диагноз сразу, в руки. У кого? Как?

Парижский госпиталь Ларибуазьер — рай наркоманов. Унылая тётка справочного скучает в таком же окне. Коля приблизился и так вежливо:

— Мадам, я хотел бы результаты...

— Никого нет...

— Мне сегодня сканер у вас делали... Кто-то же был...

— У нас никого... Обращайтесь к вашему... «лечащему»...

— Он в отпуске.

— Я лично помочь вам ничем не... Они все по пляжам...

— А если у меня — рак?..

Тётка-дама забеспокоилась:

— Месьё, не пугайте, я тут не причём, хотя... — и она потянулась к телефону.

— Тут какой-то Боков, за диагнозом...

— Вы можете подождать?.. — и она покинула свой «сидящий», хорошо насиженный «пост» — насест (погост?), чтобы где-то что-то лично выяснить. Ждать пришлось недолго, всего часа полтора. И вот она, виляя бёдрами, победно появилась, окружённая двумя «белыми» молодцами.

— Месьё, — заявил молодой «начальник»-интерн, — мы завтра вас госпитализируем, срочно.

— А в чём дело?

— Вам всё объяснят там...

— Если «там» — дело дрянь...

Назавтра его срочно — в койку. Госпиталь «Тенон», родной «брат» того «Лари», предыдущего заведения-«буазьера» — рая, с сонной справочной. Он (госпиталь) как раз напротив Пер-Лашеза.

Звонок №2

— Док, ты заплатил членские... в «Пен»... (клуб)? Почём нынче французское «перо» — Пиво (ударение — как угодно) — право? Дело действительно оказалось дрянью и даже хуже того.

— Хочу в Лурд, — вдруг заявил пациент.

— Рано ещё...

— А может поздно?..

— Но по-французски это как-то «lourd» (тяжело)...

— «Что в вымени тебе моём...» (этого городка). «S» вдруг появляется. Мне кажется, что там мне легко будет, что-то обязательно произойдёт.

— Чудо?

— Ну, что-то вроде... Ты представь — меня везут на носилках, горизонтально. На груди — досье, бетон — mauvais ton — приговор. Тяжесть невероятная.

— Генетику не обманешь.

— Ну, как сказать... Вдруг — чудо, как у Бернадетты Субирю... Встаю и сразу — в стаю, милостью Высшей, на Набережную Излечимых, туманом выброшен, там же «наши»: где-то Эдгар По течёт. А после этого Папа-аргентинец (иезуит №1 в Риме), моё «бетонное» на комиссию...

— «Что за комиссия, создатель?..»

— Врачебный консилиум — «бетономешалка», чтобы подтвердить...

— Кстати, о Папе, я сегодня по «ящику»... ушам не поверил: «Верховный Понтифик, епископ Рима и глава всемирной католиче-

ской церкви Его Святейшество Папа Франциск ударил по руке азиатскую паломницу, просившую духовную помощь». Она, эта идотка, не знала, что этот, 266-ой, в миру Хорхэ Марио Бергольо, инженер-химик, 50 лет тому работал вышибалой в борделе Буэнос-Айреса. Такая профессия — всё вышибает... и «от».

— Ничего себе «духовная»... Она его грубо за руку... и потащила на себя... Надо знать, кого на себя тащишь... Он тут же ей дал по этим азиатским... лапам. Рефлекс!

— Но он же потом попросил...

— К сожалению, «слаб человеке», даже если он и вышибала «духа».

— А ты обязательно прочти эту «Песню Бернандетте». Издательство: «Энигма». Как английская шифровальная (машинка) 2-ой мировой... которая даже очень (помогла)...

— Но название «Песня» чудовищно... как говорит Б.М.: «а перевод... перелопатить»?

— «Архимандрит» или Макс, кто-нибудь из них тебе привезёт «песенник». Это еврейский человек Франц Верфель, из Австрии, приятель Цвейга, во время той самой 2-ой... случайно попал не в Лувр, не на свою «верфель», а в Лурд. И позже разразился в Нью-Йорке... Всего-то 452 страницы-страницы... Прочти, может, созреешь... Да нет, уже поздно.

Как показали анализы... лучше, чтобы они уже ничего вообще не показывали. Поезд ушёл...

В таких случаях медицина бессильна, хотя... «Надежды маленький оркестрик»... Ещё бы «управление любви» подключить. Ты ж понимаешь... Силу духа... И тут туда же... паллиативная медицина: чем можем — поможем. Массаж на дому (если он — дом — есть), пилюли, наркотики, корсеты, медсёстры и прочие земные и судорожные удовольствия, плюс, конечно же, тёплые слова, которые ни за какие деньги... и даже кошке... Мы вас подлечим и домой. Держите рецепт на бесплатную «Коля»-ску. По своей квартире будете ездить... Может, кто-то и подтолкнёт...

Но в этот раз французская медицина удивила. Рыжий и усатый заведующий отделением с энтузиазмом разворачивал перед Колей план предстоящей медкомпании:

— Главное укрепить позвоночник... и химиотерапия, шесть операций на разных уровнях, корсет, сканер. Мы, как бы вам объяснить попроще, мы вас в асфальт закатаем...

Боков хмыкнул:

— А я думал, что это метод сицилийской мафии...

Усатый кивнул и тоже хмыкнул в ответ:

— Правильно. Мы тоже в каком-то... Асфальт (специальная паста) наполняет и укрепляет полости в хрупких позвонках, усиливает прочность оси «голова — таз»...

— Ну, если «таз»... — тогда укрепляете — «оси»...

Звонок №3

— «Ich sterbe»! Пора готовить «последние» (слова)...

В общем, покатились дни: туда-сюда... Зачем? Почему? Кто вам считает... Сканер, анализы, операции, мотание между госпиталями (нет, ещё не Лариса Гернштейн — жена Э. Кузнецова-«самолётчика»: «Перевозчик-водогрѣбщик, старичок седой...»), в трясущихся «амбулансах», в пластмассовом почти розовом корсете, который всё подпирает и который за 24 (часа) «пропел» — залил бывший оперный певец из Ливана со странной, но близкой фамилией Джузеппе Тромб — болит (2 «Б» и тромб, и боль, и даже киношный вулкан, тоже через «с», в одном лице). Здесь свои горла медные, свои тазы. Пришлось срочно закрывать свой ливанский ротик и переучиваться на францмедтехника.

Мэрия 20-го (района). Дорожка к госпиталю. И тут же фанера-доска, на которой чёрным по белому фамилии грудных еврейских детей, которых в Освенцим... и которые тогда впрямую угрожали немецко-вишистскому режиму... Вот 4 из 70-ти еврейских младенцев, которым не стоило тут рождаться: Charles Bernat — 1 год, Regine Duamet — 2 года, Suzanne Hosman — 1 год, Salomone Ossia — 1 год... (в общем, 1000 еврейских детей, которым не стоило тут... в 20-ом). Ныряем с Володией Базаном под арку бывшего монастыря. Пятый (этаж). Вторая (палата). Боков встретил в своей «оперной» сбруе:

— У нас сегодня фотосессия...

— ?

— Операция «Глазки»...

Базан остолбенев, гладит свою сумку с японскими «прибабахами»... готовый всегда нажать.

— Анютины?..

— Боковы. Закрытие. Генеральная репетиция... Док мне их закроет, а ты, Володя, пальцем только...

Таки — закрыли. Таки — нажали. На фото остались правая рука бывшего анестезиолога, закрытые глаза пациента и перекошенный улыбкой рот Бокова. Впрочем, перекошились, «рыдали» все трое. Тут какая-то медсестра, ещё не перекошенная, без стука ввалилась:

— Ой, как у вас весело... Над чем смеётесь?

— Да мы и сами толком не знали, хотя...

А этот, у уха, рассыпался трелью почти каждый день.

Звонок №4

— В.А., не забудь сказать Б.М., чтобы пускал корни в Бремене. Это для него очень важно. Пробиться на немецкий литератур-

ный горизонт-рынок. Разбить одиночество. По-моему, фамилия этой дамы: Кнарсен. Да, кстати, меня сегодня пригласили на радио «Франс-интер» интерном — в микрофон... Могли бы и пораньше...

И тут внезапно вмешался, ворвался, автоответил чужой женский голос:

— Voulez vous manger?¹

Звонок №5

— Ну, как ты?

— А ты?

— Одной (ногой) уже... вторую готовлю. Пора Евсея перечитывать.

— Ты про Цейтлина: «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти»?

— Да! Конечно, прилагательное — провокация. Но что-то в этом есть... Ты мешаешь этому «переезду»... а у меня несколько другой (взгляд) на это дело... Я тоже сопротивляюсь этой «с косой», но не очень.

— А «архимандрит» за ключами (приедет)... скоро?

— От квартиры? Недели через две, приходи на клёцки, а потом и Макс... А тут... я думаю, меня домой скоро выкинут... им нужна палата.

— Ума?

— Девять квадратов.

Но, в общем, кажется, вся эта «медицинская кухня» стала ему помогать понемногу. Вместо «обещанных» природой «концов» вдруг открылись какие-то те же «начала». Этот самый «маленький оркестрик»? Наркотики делали своё дело: «голос» встал на ноги, энергия вдруг начала переливаться в недолгих беседах через край... Вот и на мессу в церкви «Тенона» кто-то толкнул Коляску...

Звонок №6

— Позвони, почешем...

В этот раз «почесать» не получилось. Недели через четыре после боковской госпитализации мой автоответчик выдал:

Звонок №7

Он опять заговорил насмешливым боковским тенорком:

— Командир, когда всплываем?..

У ещё не утонувшего абонента появилась какая-то новая военно-морская лексика. Ну, типа: «Отдать концы!», то же самое

¹ Хотите перекусить? (фр.)

с якорями... «На палубу вышел, сознания уж нет...» (как же он тогда без сознания вышел, вынесли вдрызг пьяного такие же «нагельники» по кубрику?). Чтобы такой матерый философ и писатель-эстет как Николай Боков вдруг завопил: «Полундра»! Трудно себе представить... Что ж это такое? Кто же это такая? Пришло время, по всей видимости, «открывать кингстоны», тонуть обоим? Может, проснулась вдруг любовь к «Наутилусу», к «Корейцу», к «Первому после Бога», к «Курску», к «К-17», к «К-172», к «Красному Октябрю», которого всё время кто-то преследует? Загадка казалась неразрешимой, хотя...

40 лет тому, молодой и красивый Боков, въехал в столицу почти на белом (коне). Правда, он не вёл его по «литературным мосткам» под уздцы в Сенат, как его предшественник Калигула, но в знаменитый на всю Францию, литтележурнал «Апостроф» Бернара Пиво (ударение на «о») — он его ввёл. В жалких русских «общешитиях» соплеменников от удивления зацокало... Да и русская атмосфера литературного Парижа была особенно «сердечной», клёчки в смысле инфарктов. Отблески литературных схваток русских литературных зубров эмиграции: «Вермонтского затворника», В.Максимова, А.Синявского, Е.Эткинда (В. Некрасов и А. Галич — отпадали, так и оставались в этих прениях — за бортом) полыхали под чужим полугостеприимным небом. Коле повезло. После самиздатской пародии к 70-летию «лысого» (в 70-м), которую они (Боков и его соавтор — «Икс») «замочили» (в прямом и переносном: основателю в «Смуте» основательно отрезают в мавзолее голову), под носом у 3-х букв (КГБ): «Смута новейшего времени, или удивительные похождения Вани Чмотанова». «Смута» — не смута... Чмотанов — не Чемоданов — помогли. Русская мысль» (единственная русская газета на этой совсем не забытой Богом чужой земле), сразу же разделила его взгляды и русские «мысли» и пригласила Бокова с женой (которая ждала ребёнка) «влиться в творческий», поработать «мыслями» на её страницах.

А кроме того подвернулась работа наборщика в личной типографии М.В.Р. (Марии Васильевны Розановой). Всё как бы неплохо складывалось... Пришло время спускать (с верфей А.Д.Синявского и с его разрешения?), выпускать свой личный и независимый ни от кого журнал — «Ковчег»... Сто страничек, без обложки, на серой бумаге, совсем без свинца. Свинец был заложен в тексты? Так вот откуда появилась морская терминология 40 лет спустя. Всего было «спущено на воду» шесть номеров-посудин.

Через три года вся деревянная эскадра... все шесть номеров ушла и (ушли) под воду и в русскую зарубежную словесность, но кое-что всё-таки «на плаву» осталось. Особенно нечётные номера: 3-й и 5-й.

Коля был дерзкий человек. Уже в шестидесятых он решил бороться с Софьей Власьевной. А значит, надо создавать новое движение-партию. А из кого? Поднять на бой демократов — домкра-

том. Решил — из чумазых шоферюг-алкоголиков на московском автозаводе какого-то имени, где висел странный лозунг: «Добавишь газу — поедешь в Газу». Зажечь новой искрой внезапно спившийся пролетариат, дать цель пьяному коллективу и сверх того новые канистры, кингстоны, шансоны и «пару» копеек. Нет, нет... это не был (чуть позже) какой-то нервный Эдичка — «эротика для ротика», который позже немножечко шил... в Штатах, в компании негров-портных, Боков сжал зубы и сразу влез в среду чумазых и тоже чёрных работяг-шофёров, которые если что, монтировкой (по зубам или между ног) и всегда... на три буквы.

Сдав на права водителя грузовика ГАЗ-151, Боков лихо въехал, даже не притормозив, на новое место работы, в «Лихачёва». Три месяца агитации в обеденных перерывах «за маленькой» (простите, «ми» — 1 рупь 49) прошли, как страшный сон. Адские водители не понимали, чего от них хочет этот не еврей, но странный пацан. И всё-таки (опять странно) не заложили, но приучили «странного» воровать дрова тоннами и пить горькую, не отходя от кассы и домкрата.

Гром грянул на третьем «Ковчеге».

Коля был дерзкий писатель. Его журнал ставил тоже своей дерзкой целью внести новую струю в унылое русское зарубежное и «не»... литературное пространство. Убрать все табу и запреты. Что можно, а что нельзя... Всё можно! То есть сломать устоявшиеся подкисленные стереотипы типа: «Первый бал Наташи Ростовой». И то верно... чуть раньше сам Лев Николаевич в письме к А. Фету своей рукой чиркнул: «Моя "Война и мир" — много-сло(а?)вная дребедень». Ну если сам ЕБЖ... в дребезги день — значит, не всё потеряно. Обездоленный секс найдёт свое место на наших качающихся, в смысле ковчеха, волнах — страницах. В № 3 «Ковчеха» впервые был напечатан роман Э. Лимонова: «Это я — Эдичка». Заброшенный судьбой харьковский поэт (будущий нацбол?), Эдичка, мотается, блуждает по многоэтажной Америке, пытается понять, «кто есть кто»... какой «этаж» ему подходит, а какой эпатаж — нет, что хорошо, а что не очень.

Всё было бы ничего, но вот на откровенных страницах романа его лукавая задница попала на глаза красивому негру, который не устоял (не устоял и Эдичка), совершил «чёрный человек» с поэтом непоправимое... И оба были довольны, как и Л. Корнилова, которая, чуть позже, уже в 5-м номере «Ковчеха» дала своей рецензии шапку: «Последний романтик Эдичка». А может, предпоследний?

И тут началось. Странно, тираж «Ковчеха» маленький, ну, 200 плюс ещё пятьдесят номеров-подарков. Как же это попало на глаза Тому, в Вермонте, который в «затворе» (затворничестве), который за чистоту слога, нации, чести — всё перезарядит, который уже на всё положил и, который тоже, по шпалам?.. Никому не позволено «обесцещивать» русскую, великую (литературу). Американский «затворник» был тяжёл на руку и телефон.

В кабинете редактора «Русской мысли» И. Иловайской-Альберти на 217, rue du Fbg St.-Honoré в Париже, раздался звонок:

— Мадам Альберти?

— Да.

— У вас, как его... какой-то Быков или Боков работают?

— Работают. Вместе с женой... И она... беременна. А что случилось?..

— Уволить обоих, немедленно...

(Прямо по А. Галичу: «И старуху-мать, чтоб молчала бл*дь»)

— Но, но она... беременна.

— Тоже мне, родильный дом! Сами разбирайтесь...

Коля потянулся к бумаге, надо как-то ответить (?):

«Господин Солженицын, если вы "тронете" мою жену, я прикуюсь к ограде церкви "Мадлен" и дам пресс-конференцию».

Письмо ушло в Штаты, в далёкий Вермонт, а Коля тоже — «л»... из «Русской»... газеты в собственные и невесёлые мысли-обстоятельства. Тут, в общем, быстро разобрались: его уволили сразу, жену — через три месяца. Но в 5-м номере «Ковчега», там, где Л. Корнилова про «Эдичку»... появилась лукавая статья лукавого Вагрича Бахчаняна, тоже художника и тоже из Харькова-Нью-Йорка: «Сто однофамильцев Солженицына» (фрагмент): «Итак, многолетний труд завершен. Мне удалось собрать 100 однофамильцев А.И. Солженицына, проживающих во всех концах Советского Союза. Отчества и адреса однофамильцев Александра Исаевича не указаны в целях конспирации». Нью-Йорк, 30 июня 1975 года.

P.S.

В траурной рамке даны однофамильцы Солженицына, перебившие свои фамилии после высылки знаменитого писателя из СССР».

Одни только имена чего стоят: Дорофей, Елизавета, Леонид, Матвей, Ипполит, Элеонора, Неонила, Конкордия, Вонифатий, Егор, Ада, Анна, Антюх, Вадим, Игорь, Изот, Виссарион, Эдуард, Андрей...

Все из одного «куста», а на 15-ти фото — ох! — «Дикая дивизия»...

Антюх — ух! Ну, кому же такое понравится...

Звонок №98 (оптимистический)

— Мы увидим «небо в алмазах»?

— А что, сегодня получше? Ну, как получится, дядя Ваня... А эти «алмазы»... Дикая безвкусица... Ужасно! Прав был Л.Н.Т.: «Не пишите, голубчик» (в смысле — пьес).

— Согласен, но мир покорён...

— Что нам Гекуба?

— А меня — никто...

— Не преувеличивай... — Я! «Фрагментарий». Стр. 190-я! И этот кусочек симпатичный: «Мне нравилась бы современная литература, если бы мне удалось почувствовать восхищение автора самим собой. Ведь только от восторга перед собой можно размахивать бутылкой повсюду, как Чарльз Буковски. Купаться вместе с ним в нарциссизме, как в Олимпийском бассейне». Узнаешь? А твой «Сон Марковского» №3... Я его наизусть. Это про Ваню Тургенева, который в «Муму», про нашего Хвоста: «Из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть, разводил руками»... Странно ты в «Марковском номере №3» ту же тему развил, почувствовал. Не устал? Ещё минут пять... Закрываю глаза и прямо по тексту:

«Будто на даче у Фета, а там дуэль Толстого с Тургеневым. Фет весь красный, а Лев Николаевич целится из ружья в Ивана Сергеевича, а этот в того и приговаривает:

— Прямо в рожу! Прямо в рожу!

Фет натянул между ними скатерть и кричит:

— Толкайте его в спину, я вам стихов для «Крещатика» дам!

А он думает: неудобно толкать, всё-таки «классик».

Надо толкать, а страшно! Лев Николаевич целится в Ивана Сергеевича, а Иван Сергеевич — в Льва Николаевича, а Афанасий Афанасьевич кричит:

— Толкай, толкай, если жить хочешь!

— Тут он весь в поту и проснулся».

— Верю! Я бы этот кусок в средних (школах)... в «Часть речи»...

— Ты меня удивил.

— Хочешь — верь, хочешь — нет, я сам себе не верю, но это класс... А, всё-таки, «алмазы» дяди Вани — туфта, они у меня в горле (стоят)...

На этой «гекубе» всё внезапно и окончательно прервалось...

1 декабря не спалось. Огромная беременная луна ломилась в окна и призывала к преждевременным родам. В голове или в том органе, который когда-то ею назывался: звонки, переполох, обрывки каких-то неоконченных фраз, разговоров, намёков, ироний. Какой-то произошёл сдвиг по фразе: самолёт Качиньского, Шестидневная война — три подлые советские подлодки с восьмью атомными бомбами «П-6», чтобы уничтожить Голду и её единомышленников, не всплыли-уплыли, приказ не дошёл, в 67-м, «У нас тут спецклуб: Б.Б.З», «Pivot и пиво» — знаменитый на всю страну лит-тележурнал, «Введение в грехопадение», статья для «утопшего Ковчега», какие-то откуда-то вырвавшиеся 3 строчки: «На своих жарких ногах, без чулок, стояло в Париже "бабье лето", специально для Бокова статья: «Нарцисс на (в?) асфальте Парижа», «А что ты будешь... супчик или кашку?»

Я стою под куполом («la Coupole») моего «семейного» кладбища Пер-Лашез: где-то баррикады, забастовки, а здесь музыка, ящик. В башке всё время крутится Лариса Гернштейн: «Перевозчик-водогрѐбщик, старичок седой...» Через пару часов... китайская деревянная ваза примет прах незабвенного Зигмунда Фрейда, который уже не отряхнуть... даже с ног, как и не выйти из этой «гоголевской шинели», из которой кое-кто всё-таки вышел...

Народу человек 25 — все «кладбищенские», которые живут около, а которые «не» — не... Мучает один вопрос: а как же он увидит эти «алмазы» из вазы? Надо бы дядю Ваню про «это» (спросить)...

В голове крутятся цифры и ближайшее (как бы) расписание на недели, месяцы, годы... Ты ж понимаешь...

Всё...

2.12.19 — Душа отлетела (?).

5.12.19 — Поехали... Куда? К Eugenio Raccelli — папе Пию №12, к его разорванному годами диалогу, где-то в 1942-м:

Вопрос — «Бритый шилом»:

— А сколько у него (в смысле — у Ватикана) дивизий?

Ответ папы Пачелли через 11-ть (лет), 5 марта 1953-го:

— Теперь он сам посчитать сможет... сколько... если не разучился...

В общем туда...

10.12.19 — Пер-Лашез, реквием Моцарта-Верди, «коробка» — на десяти винтах... Рыданий не слышно.

12.12.19. — Недельная «прогулка» с Н.Боковым по райским кушам в целях ознакомления с программой (3, 9, 40 дней)...

12.1.20 — Внезапная месячная командировка с ангелами-хранителями в «Ад». Так посмотреть, выбрать...

13.1.20 — «Страшный суд», по Хвосту:

«На суд, на суд,
покойники идут...
на суд, на суд —
полковники идут,
за ними под...
полковники идут...
хреновину несут...»

Тут почему-то появился №73 — член-билет французского «Пен»-к(л)уба, я задираю голову, справа под потолком (небо?) опять номер — горизонтальная ниша — №8579, и, наконец, идиотская статья-панегирик в «Le Monde», за №23311, правда, с большим портретом Коли — 8 на 7 см. (интересно, кто платил?) в разделе — «Семейные записки» (развязки?).

И, наконец, это... Некролог подписала некая Helene Balsamo (!) Ну, хоть это...



Как дела, ребята!



Михаил ОКУНЬ

/ Аален /

* * *

Когда приезжаю в родной Ленинград
(Петербургом так и не ставшим),
Я, конечно, безмерно рад,
Но чувствую себя бесконечно уставшим,

Не попадающим с российской жизнью в такт.
И, чтобы взвеселиться и преодолеть состояние такое,
Понимая, что делаю всё не так,
Прибегаю к недлинному, но ударному запою.

Однажды в июле я сунулся в наш парк,
Бродил среди тел с мыслью «Найду ли?..»,
Но услышал лишь гарной дивчины карк:
«Тут ко мне клеится какой-то дедуля!..»

А на выходе меня, огорчённого,
Подстерегали две старых карги,
Оказавшиеся свидетелями самого Иеговы.
Они, вцепившись, нагнали пурги,
Посулив открыть тайны жизни новой.

Как всякий образованный человек,
Ответил им, естественно, на латыни:
Sint ut sunt aut non sint¹,
Чем проповедниц поверг
В оцепенение и унынье.

Воспользовавшись тем, что их поразил столбняк
И они больше не дуют в уши,
Я поспешил в ближайший столовняк —
Компоту с белым хлебом покушать.

¹ Пусть будет как есть или не будет вовсе (лат.).

* * *

«Ку-ку» — говорит голова, слетая с плеч.
Быстро же они свинтили Робеспьера.
А как на устах пламенела речь,
Как в гору шла революционная карьера!

Всё дело в том, что гражданин Робеспьер,
В отличие от нынешних, дорожащих собою,
Не принял для собственной безопасности мер,
За что и поплатился головою.

Но, того и гляди, явится новых революций апологет.
И пусть подзабыли коммуну, конвент, гильотину, —
Новый Робеспьер наденет «жёлтый жилет»
И взбудоражит всемирную паутину.

* * *

Впадаем в спячку посреди зимы,
Очухаемся по весне — не बारे.
Больших людей интересуем мы
Не более плевков на тротуаре.

Отходный материал родной страны,
Мешающий красиво жить на свете.
Но и они нам — сукины сыны,
Или, поласковее, сукины дети.

«РАСКИДАЙ»

Когда справляли первоймай,
Не шарик жаждал, не машинку, —
Упорно клянчил «раскидай» —
Упругий, мощный, на резинке.

Цветная, яркая фольга! —
О, как же восхищало это!
На «раскидай» шли тогда
Опилки всей страны советов.

Коварно сжав его в горсти,
В густой толпе, хоть и не гопник, —
Мог «раскидаем» нанести
Лихой стремительный поджожник.

Но дни мои пошли не так,
У первая жизнь другая —
Старухи, депутат-дурак...
Секрет утрачен «раскидая».

* * *

В. Глазкову

Среди неба черного,
Бытия упорного...
И какого лешего? —
Всё опять не так.

Вспомним Ваньку Дворного¹,
Паренька проворного,
Кое-что успевшего
Сделать за «Спартак».

Помер он, мы выжили,
Только нас повыжали.
Вот и ходим пешими
К водке за пятак.

СТИХОТВОРЕНИЕ С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ

Мы еще себя покажем,
покажем себя, да!
Мы еще так себя покажем,
как никто и никогда!

Мы еще такое скажем,
какое не говорил никто,
до чего не додумался даже
ни один конь в пальто!

Если надо, костями ляжем,
едрёна мать!
Мы еще всех обяжем
нас уважать!

¹ Иван Дворный (1952–2015) — баскетболист ленинградского «Спартака» и сборной СССР, олимпийский чемпион Мюнхена (1972) (*примеч. автора*).

* * *

Вышел на Фонтанку —
нет того угару! —
юны все гражданки,
ну а ты-то старый.

Заверну-ка в Графский,
и, не хмуря брови:
здравствуй, Достоевский!
здравствуй, Григорович!

Загляну в кафешку
с выбором неузким:
хочешь — под пельмешки,
хочешь — без закуски.

Всё не ради пьянки,
и веселый, пряткий,
вновь я на Фонтанке
по второй попытке!

* * *

Вот «зорька», бабочка, она же и «аврора»,
И на немецком тот же оборот.
То запорхнет на листовные хоры,
То затаится в травке у ворот.

Какие крылышки, оранжевое с белым,
Как эта зелень молодая ей к лицу!
Да только ляпнет энтомолог очумелый,
Что это дадено не самке, а самцу.

* * *

Что тебе снилось? —
Мне снилась ты,
говорящая из пустоты,
из какого-то последнего переулка.
Снилось, что стираются черты,
что в механизме полетела втулка
и распадаются на атомы стихи.
Какая разница, что мне снится? —
множество всякой чепухи...



Илья ИОСЛОВИЧ

/ Хайфа /

РАБИНОВИЧ, КАК ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?

Мой любимый рассказ Вильяма Сарояна начинается словами: «Однажды в пивной Иззи ко мне подошел гений в плисовых штанах». В Москве начала 60-х это было так реально: гении ходили стадами: Чертков, Красовицкий, Чудаков, а в Ленинграде банда Бродского-Рейна... Я и сам был в некотором подозрении на этот счет. Потом этот поток как-то иссяк. Гении появляются после исторических потрясений — войн, революций, распада империй, резких реформ. Чехов родился за год до отмены крепостного права, Хемингуэй и Ремарк хлебнули ужасов Первой Мировой, Бабель посмотрелся в Польской кампании. В СССР казалось бы долго ничего не происходило и афганская война отсутствовала в литературе до распада Союза. И только в Минске в голове Владимира Рабиновича откладывались впечатления советской подконвойной жизни, чтобы потом, спустя 35 лет начался поток его неотразимых и невообразимых рассказов (поначалу на сайте проза.ру). Это то, что произошло в русской литературе на втором десятке после миллениума. Как писал Чехов Суворину: Во Франции Мопассан, а у нас — я стал писать маленькие рассказы, вот и все, что случилось в литературе... Поначалу мне казалось, что стиль Рабиновича идет от Хемингуэя и Стивена Кинга, потом я увидел, что он тоже напоминает лучшие рассказы Джека Лондона. И я безусловно ставлю его выше раннего (что уж говорить о позднем) Горького. Рабинович — нерелигиозный еврей из Минска, Бронкса и Статен-Айленда, свободный человек и писатель, для которого свобода (как объяснял Валентин Асмус) есть необходимость, осознанная им самим, а не кем-то извне.

Фарцовщики, заключенные минской тюрьмы, психи и санитары, менты и кgbэшники, водолазы и колхозники, официантки и торговые работники, зубные техники, официальные художники и

тюремные охранники, таксисты и афро-американцы — все они оживают в компьютере Рабиновича и говорят своим неповторимым языком.

Язык этот — атомное оружие Рабиновича, совсем не диктофонная запись реальной речи, как в полевой лингвистике по Александру Кибрику.

Нет, это именно произведение искусства. Как он это делает — это тайна, как у мастеров возрождения. Структурализм, формальный метод, теория инвариантов тут не помогают. Остается только в восторге всплескивать руками.

Герой Рабинович — это эпохальный победитель, Фельдмаршал. Если нельзя победить, и обстоятельства непреодолимы, то на помощь приходят потусторонние силы — и у мента просыпается совесть, а псих летит над городом как свободная птица.

Я поздравляю Рабиновича, большого неполиткорректного замечательного писателя с выходом первой книги — но потенциальных читателей у него — миллионы, как у Зошенко. Бедный затравленный Зошенко, умирая в нищете под улюлюканье официальных собратьев, никому не мог передать своей лиры. Теперь она по праву всенародной любви и признания принадлежит Рабиновичу.

ПРИЕМ

На самом деле из всех книг Александра Грина на меня наибольшее впечатление произвела его автобиография. Там он, наравне с другими событиями, подробно и безо всяких фантазий вспоминает, где и что он ел, если иногда удавалось. Что же, его можно понять. Я тоже кое-что помню на этот счет.

Мои воспоминания связаны со слякотным мутным ноябрьским днем 1983 года. Андропов завершал свое земное существование, но еще пытался управлять из больничной палаты. От него злодеяний ждали, а он чижика съел, как писал Салтыков-Щедрин. Устроил облавы в кино, банях и ресторанах. Продовольствие в Москве еще можно было купить, но это требовало усилий. Как-то мы с женой купили мясо в магазине и гордо несли его домой. У нашего подъезда на Кутузовском проспекте сидела старушка, которая нам сказала: «Это у вас милые что такое, мяса? Эта мяса городская, мы такую мясу собаке даем, у нас мяса цековская!»

В это время одна английская фирма решила проникнуть на советский рынок. Она сняла офис в гостинице «Космос» и созвала представителей министерств и ведомств на презентацию. В нашем заведении приглашение попало к зам. директора, а он переправил его ко мне. Я отправился к метро ВДНХ, и дальше в «Космос», нашел этот офис, и сел слушать их доклады. Собралось всего человек сорок. Четыре часа фирма рассказывала про свои модемы, телефонные станции и электронную почту. Т. е. стоит найти валюту и

заплатить, и будет вам сразу счастье, комфорт и технический прогресс. По мере их докладов народ понемногу рассасывался. К концу остались самые крепкие — человек десять. Проверенные кадры: Минсвязи, Госснаб, радиоэлектронная промышленность, кооперация, т. е. я сам. В конце их дама, вице-президент, вдруг всех пригласила на прием. Никто этого не ожидал. В программе этого не было. Нас провели в зал для приемов, где был накрыт стол человек так на сто. Наверно, рассчитывали по максимуму. Это было что-то из коммунистической мечты, всего по потребности, собственно даже гораздо больше. Там были балык, осетрина, семга, икра такая и сякая, копченые колбасы, ветчина, шейка, жульены, не помню, может и фуа-гра, т. е. паштет из гусиной печени. Водка, коньяк, вина, и это во время почти сухого закона. В серебряном ведерке стояло шампанское. Какой-то пир во время чумы. Народ малость обалдел и озирался. Англичане округлыми жестами приглашали приступить. Я посмотрел на этот стол и почувствовал, что мне не то что есть и пить — жить не хочется. То есть как-то нет такого желания. Как писал Булгаков: «Каждый день ходить в пароходство — да вы смейтесь!» Довольно это было вообще-то обидно. Народ, однако, собрался с духом и решил, что добру не пропадать же зря. Крепкий малый из электронной промышленности налил себе полный стакан водки, посмотрел сурово и подозрительно по сторонам и выпил, почти как в фильме «Судьба человека». Взглянул вокруг, налил еще один полный стакан, и опять выпил. Вид его был самый мрачный, казалось, он хотел сказать: «Ну, достали... А пошли бы вы все!» Около меня угощалась переводчица, с полным ртом она еще что-то щебетала, вела светскую беседу. Специалисты из Госснаба пили красное вино и загружались с обеих рук. Люди из Минсвязи активно общались с вице-президентшей. Между тем один из них сделал себе многослойный бутерброд. Он положил колбасы и ветчины, следующим слоем разной рыбы, и еще слой из паштета. Это солидное сооружение он воткнул себе в рот, но тут дело застопорилось надолго. Он не мог ни сомкнуть челюсти, ни вытащить бутерброд обратно, и так и стоял с запломбированным ртом и с вытаращенными от ужаса глазами, как своеобразный символ международной торговли, высокой технологии и сотрудничества на ее базе. Никто не собиравшись прийти к нему на помощь. Мало — помалу стол все-таки пустел, а лица участников начали багроветь.

Я подумал и выпил немного коньяку. Закусил икрой. Совершенно не помогло. Медленно я отошел в сторону и вышел из зала. На улице шел мокрый снег. На следующий день на работе мне сказали, что в этот день наш директор поднялся на пятнадцатый этаж, с трудом протиснулся в окно и прыгнул наружу. Наверно у него были свои резоны. Какие именно резоны — никто не знал. Через два дня его хоронили.

А эта фирма на русский рынок в конце концов все-таки провалилась.

АКТЕР

Звали его Митрофан, сокращенно — Митя. Его амплуа было герой-любовник. Он очень удачно играл нервных, интеллигентных, вдохновенных, ранимых юношей среди грубой и нечуткой среды.

Его отец был знаменитый актер, прекрасно игравший роли героев в лакированном балагане официальной советской жизни. Мать была барменшей в коктейль-холле 30-х годов, сильно помятая жизнью аристократка по рождению, но уже не по воспитанию. Когда его родители поженились, то старая актриса Лидина сказала в доме работников искусств громким сценическим шепотом: «Он, видимо, думает, что теперь она ему будет бесплатно наливать!» Глядя вокруг, Митя с детства понял, что надо уметь кусаться и челюсти не разжимать. Приходя из актерской школы-студии, брался за гири и качал себе бицепсы. И некоторые юные актриски хотели бы поведать его поклонницам, что он просто грязная свинья — но не могли, потому что с народной любовью, глухой и беспощадной, спорить бесполезно.

Однажды Снейк сидел дома со своим другом Пашей и они говорили о том, о сем. Митя от нечего делать заглянул на огонек. Снейк ему сказал: «Митя, тут в Доме кино сегодня показывают "Любовь под вязами" с Софи Лорен, а Паша его не видел. Давай я вас на своем москвиче подвезу, и ты его проведешь?» Митя хладнокровно ответил школьному другу: «Три рубля».

Отец его, лауреат всех бывших и современных премий, окончательно спился. В театре его терпели лишь за невозможностью уволить. Мать с утра звонила любимому сыну по телефону и говорила какую-нибудь специальную гадость, которая отравляла настроение на весь день. Он отрывисто отвечал: «Мама, идите на х*й» Как-то Митя повел случайную подругу в ресторан. Эта блондинка, неосторожно и не подумав, сказала что-то не то. Митя в ярости завелся и залепил ей с размаху пощечину — учить надо! Звук пощечины получился как выстрел. У блондинки кровь из носа потекла на блузку. Посетители от соседних столиков подскочили и впятером выволокли Митю из ресторана и оставили лежать на тротуаре. Злобный Митя поднялся, прислонился спиной к зеркальной витрине ресторана и изо всех сил треснул по ней каблуком. Витрина рухнула вниз всей тяжестью и перерезала ему ахиллесово сухожилие. Три месяца в гипсе.

В кино Митя часто играл рефлектирующих милых интеллигентов, но в жизни изображал только одну роль: не рассуждающего победителя. По мнению многих — довольно глупого победителя.

Власти от актеров ничего особенно не требовали. Изображает себе этот гений Антония или Макбета вперемешку с председателем колхоза или партработником — и отлично! Вот тебе с течением времени и гертруда (герой соцтруда) на грудь. Ну подписывать время от времени надо какое-то обращение, клеймить кого сказали — и не слишком часто. А пусть не высовываются, в самом-то деле.

Паша встретил Митю лет через тридцать в аэропорту. Худой, как Кащей бессмертный, Митя, расправив гвардейские плечи, шел в направлении посадки на Израиль. Киногруппа семенила вокруг. «Что же он делает, — подумал Паша, — он же недавно по ТВ сказал, что все беды России от евреев!» Но Митя прошел мимо ворот на Израиль, и пошел дальше — его съемочная группа летела в Белград. «Здесь продается славянский шкаф? — вспомнил Паша бессмертную реплику из фильма “Подвиг разведчика”. — С тумбочкой?»

ЛЕНУЛЯ

Перед Ленулей по прозвищу «вкусная простокваша» стоял нелегкий выбор. Она должна была выбрать между Шурой и Владленом. Ленуля окончила институт технологии легкой промышленности и работала в КБ легкой промышленности художником-модельером. Каждый день рисовала норму: несколько красивых моделей одежды, а иногда (довольно часто) сама эти модели демонстрировала — ходила по подиуму («языку»). В КБ платили копейки, а за показ платили по пять рублей. Ее начальница, главный художник КБ, иногда говорила: «Ах, девочки, какие же вы красивые!» И мама, и папа ее работали в торговле — мама была бухгалтер, а папа был замдиректора продуктового магазина. Работа нервная, но прибыльная.

Шура склеил ее на трамвайной остановке, где она искала в магазине клетчатую ткань для юбки, и видно было, что сразу увлекся. Таскал по знакомым художникам, по каким-то древним старухам из прошлого века с их рассказами о балах и постановках императорского балета, дарил старые огромные книги по искусству с гравюрами и литографиями. Выглядел он привлекательно, блондин с голубыми глазами, хотя и еврей, о чем сказал сам. Он был кандидат наук, разведенный, и платил алименты. В рестораны он Ленулю водил, но редко, деньги не транжирил. Ленуле было уже двадцать один год, так что пора было с кем-то переспать, Шура вполне подходил. Маме и папе он не очень понравился, они Ленулю предостерегали.

Владлен работал вместе с Ленулей в КБ — он был манекенщик. Высокий, цыганистый, веселый и оборотистый. Ездил с коллекциями по заграничным показам, привозил и все время куда-то толкал разные шмотки, денег у него было — завались. Еще он где-то как бы работал экономистом у знакомых, но на работу никогда не ходил, а только получал там зарплату. Где-то когда-то он окончил ВУЗ и имел диплом экономиста. У него была маленькая двухкомнатная квартира, где он жил с бабушкой, за бабушкой надо было ухаживать.

Ленуля некоторое время не знала, как быть, уж очень они были разные. Все-таки Владлен ей был как-то ближе и понятнее. Она сказала Шуре, что они расстанутся. Шура был вне себя от отчаянья — но что он мог поделать? Он написал Ленуле ужасное письмо с

проклятиями и страшными предсказаниями ее судьбы — и послал по почте. Письмо попало к Ленулиной маме, которая без малейших колебаний его прочла — вышел скандал.

Владлен устроил шикарную свадьбу и всех гостей после свадьбы развез на такси за свой счет — у Шуры и денег-то таких не было. Правда убирать квартиру и мыть бабушку Ленуле не понравилось.

Как выяснилось, у Владлена был план — подзаработать много денег и слинять за рубеж — вместе с Ленулей и бабушкой. Владлен проведаль или прочел в заграничной газете, что какой-то Сорос хочет поднять курс серебра и обесценить золото. Владлен стал везде скупать серебро — ложки, вилки, посуду и чего попадалось, а как вывезти он знал — у него был знакомый капитан на таможне. У них стали бывать деловые ребята, что они говорили — Ленуля не совсем понимала. Владлен тоже где-то пропадал и даже осунулся.

Внезапно случилась неприятность — к ним пришли оперативники из милиции и рассказали, что одного делового знакомого ограбили и зверски убили у него на квартире. Его нашли почему-то со спущенными брюками и изнасилованного. Владлен и Ленуля сказали, что ничего об этом не знают и никаких подозрений не имеют. Назавтра к ним пришел электрик проверить проводку и телефонную линию. Телефон после этого стал работать странно: как будто все время раздавалось какое-то эхо.

Через два дня Владлена вызвали в милицию. Он вернулся поздно ночью с лицом сине-черного цвета, так его избили и что-то еще с ним сделали. Он все время молчал и о чем-то думал. Ленуля не знала, что делать. Через день Владлена опять вызвали в милицию. Он сказал Ленуле: «Я больше туда не пойду». Ленуля ушла на работу, а Владлен остался дома. Вечером Ленуля вернулась с работы и пошла в ванную. Владлен висел на медной цепочке от верхнего сливного бочка. Ленуля не могла его снять и распутать цепочку вокруг шеи. Пришлось звать соседей, а уже они позвали милицию и скорую.

Через три месяца Ленуля встретила успешного художника, члена МОСХа и профессора Строгановского училища. Он был женат, но обещал Ленуле купить квартиру и вообще помогать — профессионально и материально. Ленуля сдала бабушку в дом престарелых, продала квартирку и переехала поближе к художнику. В ее лице появился даже легкий оттенок перенесенных страданий — что придавало ей особый шарм.

В свое время общая знакомая по прозвищу «нейлоновая кукла» рассказала Шуру эти события, на что он сквозь зубы сказал: «Вашу мать!»

Шура встретил Ленулю через пятнадцать лет незадолго до своего отъезда: он ходил продавать остатки имущества на аукционе в шахматном клубе, а Ленуля вместе с иностранной подружкой заехала на своем авто туда что-нибудь купить по дешевке из антикварных вещей, не подлежащих вывозу.

Они сказали друг другу: «Привет!»



Ирина МАЦКЕВИЧ

/ Минск /

ТОНАЛЬНОСТИ ЛЮБВИ

Прислушайся к тональностям любви,
её тончайшим жизненным нюансам
и ощути волнение внутри
напевностью лирической романса.

Вглядись в прозрачность неба — лазурит!
И колеры, как ноты, нежным стансом
откликнутся биением. Ощути
их темп и ритм. Не бойся им отдаться.

У каждого мгновенья почерк свой,
ведь чувства возрождаются из пепла.
И жди, храня надежду и покой,
Мелодию. Лови! Она окрепла!

04.2019

* * *

«Поэт стучится к нам, но редкие обрящут
Мелодию стиха, что гений сотворил!»

Дмитрий Экс-Промт

Не иссякающий родник — Поэт.
Прильнувшие к нему — простые почитатели.
В них единение, поскольку смертный грех
Остаться в жизни праздным обывателем.
И пусть в грехе рождается душа,
Но есть возможности для исцеления,
Когда Поэт, используя слова,
Врачует душу — дарит искупление.

03.2019

* * *

Вечер, ветер,
звезды, пусто
с выражением искусно
речь гортанную выводит
море —
снова колобродит.

И берет на пересчет
все песчинки — недочет,
все росинки — недостача,
вздохи все — ах, перебор!
Сизых туч
немой укор.

Подведя судьбы итог,
испускает море вздох.
Мы по вздоху понимаем —
мир раним и осязаем.
До росинки, до глубин —
как же нам необходим

тот живительный поток,
когда видишь между строк
неприкрытое желанье
продолженья мирозданья.
И, не ведая стыда,
графоманишь: «Та-да-да».

24.09.2019, Lloret de Mar

МОРЮ

Не рычи, родное. Я тебя люблю.
Если с сушей в ссоре, не гони волну.
Расстели просторы мирным кораблям,
 удержи все стоны. Море — это храм,
 где благоговейно молятся Богам:
 ветру и раздолью, чайкам и волнам,
 далям, бесконечным поискам пути
 и надеждам вечным. Море, потерпи.
 За исток таинственный видоизменения
 мы тебе обязаны. Усмири волнение.

10.2018

* * *

В чём моё несовершенство?
Прожит яркий день вчерашний,
и теперь не пить блаженство
из разбитой белой чашки.

Осознать неповторимость
безупречного мгновенья —
значит впасть в Судьбы немилость.
Не помогут слух и зреньё.

Бог утешит, Чёрт поможет —
облачит в дела благие,
но всё чётче неизбежность...
Мысли будто бы нагие.

Их читает каждый встречный
и спешит к тебе с советом.
За окном озябший вечер —
ни намёка, ни просвета.

06.12.19

* * *

Пушистый снег пытается упрятать
Моей хандры весенней прежний сплин,
И будто бы прослойкой белой ваты
Смягчить уколы от твоих обид.

Я в «кошки-мышки» больше не играю.
Сдаюсь, растратив силы на тоску.
Но до сих пор, увы, не понимаю,
Свою вину или твою несу.

Мне нелегко осознавать, что чувства
Для некоторых — лишь предмет забав,
А я считала, что любовь — искусство
Непостижимое, как миф и идеал.

* * *

Я рождена для света и любви,
но в жизни слишком много равнодушных.
Надеялась — оставлю здесь следы,
но слёзы их смывают, и не нужно

искать ни оправданий, ни утех:
видать, господь имел иные планы
Вовек не замолить тяжелый грех,
мне сердце бередящий старой раной
и близкие (я их впустила в дом),
и дальние (им распахнула душу).
Укоры совести оставлю на потом,
хотя зовут и просятся наружу.



Елизавета ПОЛЕЕС

/ Минск /

* * *

Ещё мечтать — и обо всём — вполне возможно,
И пёстрый мир ещё велик и так тревожит.

Ещё не пищу одной, ещё не хлебом,
Ещё распахнуты глаза — в живое небо.

Ещё душа — уже Душа! — вбирает звуки.
И музыкой звучит любовь, и нет разлуки.

И всё, что видишь, можно знать, не вспоминая
Ни бед земных, ни войн, ни ада-рая.

Ещё вдыхать — и грудью всей! — морозный воздух...
О, как в начале жизни жить ещё не поздно!

НЕ КУКЛА

Больше не кукла — довольно играть
в тряпки, конфетки, гримаски!
Не повернутся мгновения вспять —
хватит примеривать маски,

жить чьей-то жизнью — чужой, не своей,
страсти и стыд усмиряя,
ёжиться в страхе, бояться теней:
девочка стала большая.

Пусть повелит мне лишь Бог, не судья,
кодекс приличий и правил —
в мир, где порою без чести нельзя,
Он мою душу направил.

Крыльями сильно взмахнуть и запеть —
нету призвания слаще!

Ах, как не просто по небу лететь —
дерзкой, живой, настоящей!

* * *

Как надоело сильной быть!..

Как надоело
под завывание трубы
встречать метели...

Как надоело видеть дверь
одну и ту же...

Круг обретений и потерь
всё уже, уже...

Как надоело заводить
всё те же песни
и одиночество любить.
Любить — хоть тресни...

Как надоело от себя
самой спастись,
и жить, себя в себе губя,
и гордой зваться...

Как надоело гнёзда вить
с чужим, кто рядом...
Как надоело сильной быть
в любви...
А надо...

МАЙ

А в мае расцвела сирень —
почти внезапно.
Был так прекрасен этот день.
Единым залпом

его я выпила до дна —
и не смутилась.
Ведь счастье, правда, не вина,
а Божья милость?

И счастье длилось целый день.
Был день, как вечность...
А после белую сирень
окутал вечер...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ СЛОВ

Скучаю по тебе, скучаю,
Следы шагов перебираю,
Словам, рассыпавшимся в звуки,
Наивно подставляю руки,
И суть их помня еле-еле,
Качаю, словно в колыбели.
Ну, засыпайте, баю-баю...
Я даже нежность укачаю...

* * *

Как же так, не знаю, как случилось?
Ветер, что ли, зацепил ладошкой?
Вроде даже не было причины
Прошлomu глядеть в моё окошко.

Мимо, мимо, проносились мимо
Сны и песни, соловьи и звёзды,
И порой уже казался мнимым
Тот, тобою пьяный, жгучий воздух.

Мне казалось, что уже пропали,
Вдалеке рассыпавшись случайно,
Все незавершённые печали,
Все недорасказанные тайны.

Мимо, мимо, поступью неслышной
Дни легко шагали по планете...
Так зачем ты пролетел над крышей,
Прошлых лет осиротевший ветер?

* * *

Не так сложилась жизнь,
Как мне хотелось:
Не в ту взлетала высь,
Не так мне пелось.

Не так была мудра,
Сильна не так уж.
И с криками «ура!»
Не шла в атаку.

Не билась за почёт,
За славу также.
И не вела я счёт
Бумажке каждой,

И горло не рвала,
В князя чтоб выйти:
В страны больших делах
Я — малый винтик.

Но всё же, и не раз —
Подслушав ветер,
Я развлекала вас
Игрой на флейте.

И бились ваши в такт
Сердца и души.
А если что не так —
Сыграйте лучше!

* * *

Я только перо Твоё, Господи! — только!
Ни гордости нет, ни гордыни — нисколько.
Живу, чтоб почувствовать чуткой душою
незримую связь с Синим Небом — с Тобою!



Римма ЗАПЕСОЦКАЯ

/ Лейпциг /

ОЛЬГА, ДОЧЬ ЦАРЯ СИМЕОНА

По следам одной гипотезы

Один из самых загадочных и интригующих вопросов древнерусской истории — происхождение княгини Ольги. Я излагаю здесь гипотезу, которую, по моему мнению, убедительно доказал Генрих Ильич Магнер. Он много лет занимался этим вопросом, но не успел опубликовать свои выводы, и я хочу рассказать о том, что мне, как заинтересованному свидетелю, известно об этом сюжете. Но сначала следует представить читателю исследователя, которому удалось найти достоверные следы и по ним дойти до истока, расчистить позднейшие наслоения и под одеждой простой рыбацки обнаружить одеяние царевны.

Генрих Ильич Магнер (1931–2004), мой старший друг, был личностью выдающейся, талантливым учёным, филологом и историком, с гениальными догадками и прозрениями, к сожалению, по объективным и субъективным причинам далеко не в полной мере реализовавшим свои возможности. Напечатаны лишь несколько его работ по истории, языкознанию и литературоведению, но про каждую из них можно сказать: «Мал золотник, да дорог». Он мне говорил, что в молодости задумал переписать всю историю России, такие были у него грандиозные замыслы. Но жизнь его так сложилась, что он не имел возможности официально заниматься наукой и вынужден был записывать свои идеи в свободное от работы время, а работал он сначала учителем, а потом, по принципиальным соображениям, на заводе и воспитателем в рабочем общежитии. Генрих Ильич был родом из Житомира, и несколько его текстов опубликованы на украинском языке, который он знал в совершенстве.

В сферу его научных интересов входили древнерусская история и топонимика, этимология, а также творчество А.С. Грибоедова, одно стихотворение которого он атрибутировал и дал свою версию происхождения фамилии Чацкий в «Горе от ума». У него есть рабо-

ты о призвании на Русь варягов, о щите князя Олега на воротах Константинополя, о выражении «ни зги не видно» и о многом другом. Г.И.Магнер открыл происхождение странного фразеологизма «после дождичка в четверг», в котором со временем уже непонятный народу «тождичек» был заменен на «дождичек», а первоначально это выражение значило «после пятницы в четверг», то есть *то, чего не может быть никогда*. Интересно, что до сих пор в науке господствует версия, что данный фразеологизм связан с культом громовержца Перуна у славян-язычников. Между тем Г.И. Магнер убедительно доказал этимологию фразеологизма и объяснил, какую роль в его возникновении и видоизменении сыграло то, что у славян и германцев в стародавние времена была не семидневная, а пятидневная неделя, и пятница была днем отдыха, свободным от работы (это значение сохранилось в немецком и английском языках: *пятница* там дословно переводится как *свободный день*).

В науке есть разные методы познания. Г.И. Магнер использовал дедуктивный метод, от общего к частному, от синтеза к анализу, а не наоборот. Он на основе немногих, часто противоречивых данных выдвигал свою гипотезу и потом проверял ее на тех фактах, которые должны были, как следствия, из нее вытекать. Если какие-то факты противоречили гипотезе, он ее отвергал и выдвигал другую. Я ездила однажды в начале 1980-х в Белоруссию, и Генрих Ильич поручил мне на станции Беларусь (недалеко от Минска) зайти в местный музей и узнать, была ли там когда-то березовая роща. Он объяснил, что это очень важно для подтверждения или опровержения одной его гипотезы. В музее явно заинтересовались моим вопросом, и выяснилось, что действительно, много веков назад, по документам, на этом месте была большая березовая роща. Жаль, что я не знаю, какую именно гипотезу подтверждала эта информация.

Но вернемся к происхождению княгини Ольги. И в данном случае Г.И. Магнер использовал свой обычный научный метод: принял гипотезу, которая показалась ему наиболее убедительной среди уже существовавших в науке различных версий, ни за одной из которых не было достаточных оснований, потому что слишком мало сохранилось вызывающих доверие сведений. По гипотезе Г.И. Магнера Ольга была царевной, дочерью великого болгарского царя Симеона. И она основала город Псков, первоначальное название которого — Плесков, созвучно с названием древней болгарской столицы — Плиска. На это сходство названий и раньше обращали внимание исследователи и предполагали, что Ольга могла быть основательницей города, но кто она была — простой крестьянкой, болгарской княжной/ царевной или происходила из знатного варяжского рода, связанного с князем Олегом, так и оставалось неясным.

Из гипотезы, в которой был убежден Г.И. Магнер, следовало, что Ольга, будучи царевной, привезла своих мастеров, которых ис-

пользовала при строительстве Пскова. В то время, в начале X века, Болгария была державой, уже принявшей христианство, в отличие от Руси, еще остававшейся языческой. По этой гипотезе Ольга (в крещении Елена) уже была христианкой, когда прибыла в Киев как невеста князя Игоря. Поэтому она сама хотела крестить Русь, но, как известно, это произошло только при ее внуке князе Владимире.

Логично было предположить, что болгарские мастера в Пскове расписывали христианские храмы и писали иконы, следуя уже сложившейся болгарской школе иконописи. Именно это предположил Г.И. Магнер, но долго не мог проверить свою догадку, не будучи специалистом по сравнительному изучению древних школ иконописи. И только когда в 1976 году в Русском музее в Ленинграде состоялась выставка древнеболгарской иконописи, он смог блестяще подтвердить свое предположение. Как Генрих Ильич мне рассказывал, сопровождавший выставку эксперт по иконописи был просто потрясен заданным ему вопросом: существует ли сходство между болгарской и псковской школами иконописи и в чем их отличие от новгородской школы. Ведь этот эксперт, как выяснилось, уже сам определил по клеймам, что ранняя псковская школа иконописи гораздо ближе по своей манере и характерным особенностям к болгарской, чем к новгородской. Но эксперт решил, что ошибся, что этого не может быть, ведь он не понимал причины возникновения такого сходства. Таким вот образом Г.И. Магнер подтвердил свою гипотезу о болгарской царевне Ольге, основавшей изначально христианский город Плесков, нынешний Псков. Ведь эта гипотеза логично объясняет такое удивительное сходство древнеболгарской и ранней псковской школ иконописи.

Почему Г.И. Магнер так и не опубликовал свои выводы? Во-первых, в последние годы жизни он из-за болезни не мог изучить все вновь появившееся научные материалы по данной теме, поэтому его научная добросовестность не позволяла оформить эту гипотезу в виде научной статьи. Во-вторых, он предположил, что княгиня Ольга должна быть захоронена в псковском соборе, и долгие годы ждал, что археологи или вновь найденные документы подтвердят его догадку. Но и сегодня это открытый вопрос, до сих пор не найдено место, где упокоилась княгиня Ольга, что никак не опровергает гипотезу Г.И. Магнера.

И в заключение хочу еще раз подчеркнуть: для Генриха Ильича Магнера было очевидно, что его гипотеза верна — киевская княгиня Ольга основала город Плесков и привезла из Болгарии мастеров, в том числе иконописцев, потому что была изначально христианкой и дочерью великого болгарского царя Симеона I.

Ольга МАЦКЕВИЧ

/ Витебск /



ПРЕДЗИМНЕЕ

Иногда проснешься ночью, а в комнате все не так
И кажется каждая вещь — не вещь, а какой-то знак.
Пытаюсь его прочесть, между рисками на часах
Застываешь секундной стрелкой, путаясь в бледных снах,
Не успевших еще раствориться во тьме ночной...
Говоришь с собой, чтоб не чувствовать за спиной,
Как сгущается воздух, искрящийся синевой...
Твой невидимый спутник, который всегда с тобой,
Обретает плоть и внимательно слушает речь, —
Как прибой морской, как ветер в тугих проводах, —
Сколько глупости и безрассудства в твоих словах,
Сколько жизни еще в отголосках случайных встреч...
А потом, тебе чудится, он говорит «смотри:
Все, что было однажды живым — уже навсегда.
К небесам летящие дымом твои города,
Блики солнца в весенних лужах, слово внутри».
И мерещится, что из холодной предзимней тьмы
Выступает на миг вся залитая светом дорога
Кто-то делает шаг в огонь, от сумы до тюрьмы,
Кто-то шепчет «Мой друг, останьтесь со мной, ради Бога».

ПИСЬМА С ГРАНИЦЫ

Дрожание воздуха,
искры в ночи и в тумане,
зовущий волнительный шепот у самого уха
оставить не сложно,
но двигаться дальше куда мне
без музыки ветра и солнечного луча?
Теперь говорят: они лишь отрава для слуха,

обман, наваждение, мания, глупость, насмешка...
И жизнь любая в руках у Поэзии — пешка,
и нить Ариадны ведет к топору палача...
Не знаю... возможно и правильно рифмы отдать
за списки, проверки, за твердость чужого плеча
без отклика и узнавания...
Без узнавания...
Не легче, но проще поверить в будни и знать,
что наше разумное «если ты мне — я тебе»
прочнее всех знаков и слов,
а связь — это то же желание...
То же желание...
Реальность острее меча, правдивее снов.
Не знаю... возможно...
Пятак неразменный в кармане,
крапленый туз в рукаве
держите тогда наготове,
чтоб нам откупиться от скуки,
отбиться от власти вещей...
А нет — так вот мои письма...
Они ни то, ни другое...
Ни выгода, ни кокетство,
ни розы, ни грозы, ни птицы...
А что-то как будто из детства,
когда был открытым, ранимым...
Не выдумка от пустоты,
но весточки с самой границы
меж именем и псевдонимом,
Вы и Ты.

ГОЛОС

Голосу моему сегодня пятнадцать лет
И есть у него одна тайна, один секрет.
Хранит его книга, сплетенная из травы:
Он вырос из слова, которое бросили Вы.
Как камень прежний голос убило оно,
Как семечко в душу упало и проросло.
И вырос мой голос таким, как он есть сейчас.
И каждое слово его — от Вас.
Были у него, конечно, и другие садовники —
Резали ветки обманом, поили мечтой.
Были мысли-термиты и сорняки-ужовники,
Но голос вырос из правды и стал собой:
Своевольным как ветер, мне до конца не подвластным,
Схожим с заклинанием и ворожкой,

Замирающим между прелестью и прекрасным
И противным внутри несвободе любой.
Отчего он звучит в стихах будто зов сирен,
Если мне обмануть страшнее, чем обмануться?
Я отчаянно правлю весь день «сирен» на «сирень»,
Ворожбу — на участие, боль — на попытку проснуться,
А Содом — на дом... я стою как боец на ринге.
Лучше было б молчать, но голос мне не дает...
В то же время он дудочке близок, сирирге —
Шелестит на ветру, а в Ваших руках поет...
И так будет, наверно, пока другой не придет,
Не бросит слово свое как камень, который
Убьет этот голос, как семечко прорастет
И окрепнет вдруг тогда во мне голос новый.

ВЕРНЫЙ ДРУГ

Синие сумерки... странное время, чудное.
Стекла от ветра дрожат. Вода в санузле течет.
В комнате тихо, уютно. И скучно... но это не в счет
в тени размытой тревоги: а что я такое?
Как себя от других вещей отделить?

Я — это чайник. Не старый. Пара царапин
все-таки портит не слишком мой внешний вид.
Все еще презентабелен и аккуратен
я подхожу для электро— и газовых плит.
И для открытых костров подхожу. Может быть.

Все еще чем-то полезен тому, другому,
Кого называю я то компаньоном, то другом.
Мы делим с ним время и эту часть старого дома,
Которую он знает кухней, а я, вижу лугом,
за обжигаяще синие астры горелок.

А все потому, что внутри у меня пустота.
Она гудит, если стукнуть по ней ножом.
И она нестерпима. Но компаньона рука,
Снимает крышку, каким-то меня веществом
наполняет чистым.... и мимо белых тарелок

слепых, ревнивых, за ручку несет осторожно
к пылающим синим цветам... а тепло их огня
меняет все неотвратно, и вот невозможно
быть прежним уже... вырываются вверх из меня
шепоты, вздохи, стуки, и белый пар...

И только тогда я знаю, что я... и другу
Я должен об этом в голос свистеть и выть!
Он гасит горелку и открывает фрамугу
Чтоб я успокоился, чтоб мог немного остыть
От диких, чудесных, страшных огненных чар...

И я остываю... Ночь пробирается в дом,
И друг мой уходит. Долго смотрю в темноту.
Есть ли с ним кто-то, кто видит вопрос этот в нем?
Открывает его, заполняет в нем пустоту?
Словом каким-то или касанием рук?

Кто возьмет его нежно и поведет в огонь?
Кто будет слушать свист его, шепот и крик?
Заботливо даст отдохнуть от борьбы и погонь.
напомнит ему его имя... не скроет свой лик.
Должен быть у него такой Верный Друг.

Илона МИРОНОВА (ИЛОМИ)

/ Минск /



ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ

1

И не было бухт. И тонущих кораблей.
Впрочем, и шансов тоже. Проплыть бы мимо.
Не было в море штилей и якорей.
И не было суши, хоженной Серафимом.
Была только я, идущая да во след.
Крестившая путь от вздоха до Кёнигсберга.
Хранившая сон, рукой прикрывала свет
И тихо касалась шеи. Пусть не до верха,
А где-то на треть, заполнив собой стихи
И пару ночей. Разлука пророчит кому.
Ведь именно я прописана у стихий
На заднем дворе, где шторм присягает грому.
Ведь именно я, об этом ты вряд ли знал,
Баюкала боль, вгрызалась тоске в ключицу.
Ни аэропорт, и чтоб ни один вокзал
Ни смог растоптать. Что есть во мне от волчицы?
Неистовый вой. Стрелу притащить в кость.
И раны лизать, и ждать и найти дорогу.
Тебя бы спасала. Ну, точно могла б спасти.
А раз не смогла. Прошу защитить у Бога.

2

Только зимою стало быть дураки
Прячут под сердцем письма, боясь руки.
Той, что ссылает рифмы на маяки
И столь умело правит затвором CANON.
Черное/белое. Вроде не моряки,
Чтобы справляться веслами до реки,

Днем ожидать прилива. Ну, ты прикинь.
Слушать бы море, только рингтоном Ленон
Джон. Непременно там где стоишь, там стой,
Те, кто пытался тихо грести за мной,
Кашляют болью. Крик — первобытный вой,
Был им наградой в бездне ночных истерик.
Мы из последних, кто выходил на бой.
Самое время всем слабакам домой.
Там ожидает борщ, диалог с женой,
Лед под ногой — не суша. Но тоже берег.
Ласточки низко-низко. Видать дожди.
Память опять заездила лейтмотив.
Молишься небу, ну вот и я почти
Нервно шепчу в подушку: «Авось, случится!»
Сны в твоём трюме — лучше любых HD.
Не поминая лихом, идешь? Иди!
Как же прекрасно выжить в твоих «не жди».
Выжить. А утром снова сломать ключицу.

3

Извините, матросы, пешего за простой.
Я полжизни шатался рифмой по мостовой,
Отдуваясь то за неё, то за перебой
Между сердцем и памятью. Якорь в груди. Не сдвинуть!
Не пускайте, папаша, дочку глазеть на шторм.
Отведите в кино, где пальцами греть попкорн.
Я из тех, кто спустился к морю с картинных гор.
Захлебнулся тоской, но выжил. А это минус.
Я хотел к ней бежать, что в принципе со среды,
На гвозде, что торчит уродливо года три,
Не висело пальто, ни ложь. Да, мы так мудры,
Что себе разрешаем воздух припрятать в трюме.
Мол, как будем тонуть, так сразу же чики-пук.
Нас спасут и никто-то там... Че-Паук!
Мы так искренне верим в случай и пустотрюк,
В жизнь гребем и не слышим стука. Похоже — умер!
Я настолько поверил в ум, что вполне дурак.
Налегай на весло, ведь в лодке моей дыра.
И заделать — никак. И травят корму ветра,
Уходя в горизонт надежд. Постарайся килем!
Да, из тысячи лодок выбрали мы одну!
Но ведь лучшие лодки, те, что идут ко дну,
Измеряя собой масштабность и глубину.
Навсегда оставаясь с теми, кого любили.

4

Счастье мое, останься и посмотри!
(Как они могут прятать его внутри?)
Наше огромно — смело дели на три
Или на пять. Так много, что хоть ты тресни.
Бухты ли, яхты мы с тобой словно Крым:
Плачем с одними, море сулим другим.
Память на реях — выбранный мной экстрим.
Вновь наступаем вместе на те же песни.
Только не кайся в лето, ворчливый пес.
Мы доросли до пряди седых волос.
Фото приличны там, где очки на нос.
Жаль, что платить за счастье не научились.
Мы убегаем глубже, но то не кросс,
Знаем ответ до срока, смолчав вопрос
И проросли друг в друге, как тот овес.
Так проросли, что сдуру заколосились.
Я огнестрельной рифмой лижу висок,
Медленно будни пьются на посошок
Наших признаний. Требуя двух досок
Для завершения нежности на рассвете.
Пей до работы чай! Натяни носок!
Собственно то, что ставит всех нас в поток.
Тихо целуй меня. Тихо! Еще разок!
Собственно то, зачем ты меня заметил.
Город без нас — потерянный пьяный бит,
Кашляет в стоки. Шепчет — не говорит.
Слишком простужен, ветрен, слегка не брит.
Выжили в нем окурки, вино, коты и
Пара дворян. И воздух тоской забит.
Два одиночества слишком живых на вид.
Самое время точки. И стол накрыт!
Только шпионски прячемся в запятые.

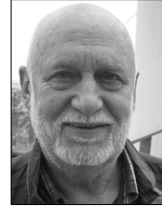
5

Кто-то же до меня в тебя пел, баюкал на варежках синеву.
Море в тебя вживил. Искренность дал и меня дуру.
Не могу понять, что из этого в дар. (Вот те крест, я не вру.)
Что-то дар, а что-то — приближающее к макулатуре.
Ну, конечно, я же монументальная, из стихов вся такая внутри.
Не стесняйся, читай речи у моего подиума.
Возложи чего-нибудь штуки три.
И прими коньячку-с на радостях, а лучше имодиума.

Вот-вот тошнит от себя и дворов, передергивает слегка.
От грязи, от похоти, от желания привязать себя к батарее.
С кем-то мы в горе и в радости, а тебе пару рифм и строка.
И стихи, что форму теряют у берегов (пару стихов на реях).
И любая форточка с видами на вокзал стареет, теряет формы,
Скрипит, мнет воздух, как Магда платочек.
Вот и мне бы не знать, что калининградский с тра-та-та пути
пятай платформой
Отправляется, не дожидаясь точек.
Это конечная. Тут даже свет заканчивается. Не хватает на этого и того,
а у того между прочим с мамкой не очень, болеет.
Богом пока не признана.
А врач покачиваясь говорит про лекарство, про все,
что в его силах, про итога
(В тысячах). Те, кто знал его в 20, в 40 могут рассматривать
сызнова.
Говорят, нужно обязательно посадить дерево,
сделать подарок своими руками, любить.
И главное успеть сказать вот этим, кого любите,
что время без них босота.
Звуки внутри выживают, над высотой не способны жить,
Не способны дрожать, дорожить. За исключением нас в эпизодах.
Не изводись, мол снился не той, заколотил окна крестом,
уцелел лежачим,
Когда этот мир бил тебя под дых, наливал, менял меня на жену.
Вскрывал все нутро, вынюхивал слабости, как пес грыз бродячий.
Все заживет! Все покажется морем, способным на тишину.

Сергей БЫЧКОВ

/ Москва /



ВСЕГДА ЗАГАДОЧНЫ УТРАТЫ

2 декабря в 10 часов утра в университетской парижской клинике Тенон скончался известный русский писатель, поэт и мыслитель Николай Боков. Он уже вошел в историю русской литературы. При его жизни в Лионе в 2008 году была защищена славистом Мануэлем Пенином диссертация, посвященная анализу его творчества. Во многом мы были единомышленниками. Более полувека нас связывала дружба. Его работоспособность и острота ума поражали. Помню, как летом 1971 года мы зарабатывали на жизнь, возводя щитовой домик в дачном поселке Яхроме под Москвой. Работали по 10 часов в день. Потом валились с ног от усталости, но он перед сном всегда урывал время для работы и писал. Год спустя его шедевр, созданный в Яхроме, «Смех после полуночи» был опубликован в журнале «Грани» в Западной Германии. В нем он впервые ввел тему Смерти. Среди его героев был некий Василий, бес Каляка и Смерть.

Он обладал неповторимым и мгновенно узнаваемым голосом. Когда отвечал на телефонный звонок, это была короткая песнь — певучие растянутые «Аллё». Затем слышался голос с хрипотцой и хрустом, похожий на звук, которые издают сгорающие ветки, попавшие в огонь. Разговор часто перемежался смехом, мелким и рассыпчатым, порою демоническим. Ирония была неразлучна с ним. Она помогала выжить, выстоять, но вводила в смущение тех, кто впервые общался с ним. Жизнь изрядно поработала над ним. Куда она его только не бросала — на целину, где он работал шофером, затем в советскую армию, из которой комиссовался, отлежав несколько месяцев в психушке. В 60-е годы это было весьма распространенным путем избавления от армейской муштры. И на целине и в психушке чудом был избавлен от смерти.

В октябре 1967 года вместе с двумя друзьями приехал в Рязань к Александру Солженицыну. Разговор был настолько напряженным, что после их отъезда писатель вслед им отправил письмо, которое

отпечатал на машинке, а потом испещрил многочисленными вставками. У него в гостях были три студента МГУ — Коля представлял философский, Слава Великанов психологический, а Валера Щербаков исторический факультеты. Солженицын писал: «И так как разума нашего обычно не хватает, чтобы объяснить, понять и предвидеть ход истории (а "планировать" её, как вы сами говорите, оказалось, бессмысленно), — то никогда не ошибётесь, если во всякой общественной ситуации будете поступать по справедливости (старинное русское выражение — жить по правде). Это даёт нам возможность быть постоянно деятельными, не руки опустя. И не обращайтесь мне, что "все понимают справедливость по-разному". Нет! Могут кричать, за горло брать, грудь расцарапывать, но внутренний стукоток так же безошибочен, как и внушения совести (мы ведь и в личной жизни иногда пытаемся перекричать совесть)».

Его старший друг поэт Марк Ляндю вспоминал эти годы:

«Мы познакомились с ним в 60-х, на Польской выставке в Манеже, когда он еще совсем мальчишкой умело отражал атаки партийных и беспартийных стариков на абстрактное искусство в нашумевшей выставке.. И много лет потом встречались, бывали на Литобъединении Эдмунда Иодковского, дружили с летучей поэтогруппой СМОГ, выступали на "Маяковке" ...Сходились и расходились. Он живал у меня в Томилино, я ночевал у него в коммунальной комнатенке на Ломоносовском... Выступали в кафе и в клубах, попадали в милицию и райкомы... короче вели пеструю жизнь в Московском андеграунде, не подпускаемые к издательствам и так далее... бывали и драмы».

Последний год перед эмиграцией Коля вместе с женой жил у меня в Софрино, где я снимал роскошный дом с камином. Возили дрова, топили камин. Зима 1974–75 годов была морозной, но и горячей. Снегу навалило по пояс. Уже тогда Коля знал, что будет жить во Франции и без устали изучал язык. Казалось бы — он подготовился к эмиграции. И все же это было тяжелое испытание.

Узнав в сентябре прошлого года, что смертельно болен, Коля писал 14 октября 2019 года «Продолжение старой притчи»:

«Один юноша полюбил Смерть и стал ее любовником с юных своих лет, искренним, пылким. Сочинял стихи в ее честь. Рассказки и пьесы. Как так случилось, трудно понять. Возможно, время было такое, кругом ходили Смерти, и одна красивее другой. Еще добавились и прежние разных веков, и тоже прехорошенькие иногда, — на дуэли, при взятии Пампелумы, или вот Икара из-за растаявших крыльев, правда, документально не подтвержденная. Наш юноша рос, набирался ума и опыта, познавал, и мало-помалу в зрелом возрасте охладел к Смерти. Решил ее покинуть. И что тут началось! Такого скандала еще не видела Земля.

— А твои клятвы и букеты?! — кричала Смерть. — И я, дура, верила тебе! Хранила твоё здоровье! Берегла от всяких других смертей! Что, перечислить тебе? Может, скажешь, что не видел и не помнишь? А кто тонул в зарослях тростника? Кто погибал в степи? Почти как ямщик из романа! Вез себя в больницу сам, и каждые полчаса терял сознание! Кто тебя будил, а? А кто полез под кузов самосвала ремонтировать, а он сорвался с упора? Если б не я, от тебя и мокрого места не осталось бы! Я, я не допустила такого антиэстетического конца! А тот нож в руке рыбака? Ты думаешь, он сам поскользнулся? А та пророческая ночь, когда тот неизвестный тебе уже дышал в затылок? Вот это уже романтика, да твоя жена испортила! Небо вмешалось, конечно, и все ради любви... А тормоза автомобиля, дважды ломавшиеся прямо на дороге? Ну, ладно, это техника, это скучное, зачеркиваю. И после всего этого мне говорят «прощай»! Нет уж, я хочу получить все мое, и с процентами! Мы долго расставаться будем, ох, как долго! Ох, как трудно!

Юноша — теперь уж совсем пожилой — стал думать, как ему не то чтобы отделаться от Смерти, но хотя бы от сложностей. Думал-думал и говорит:

— Я теперь в другом приходе.

Смерть всю затрясло, застучало, словно целый оркестр на кастаньетах заиграл.

— Нет, вы посмотрите, как он выкручивается! Как винт из гнилого дерева!»

Николай Боков прожил долгую и богатую событиями жизнь. Несколько раз стоял на краю гибели — об этом он упоминает в «Притче». И чудом спасался. В 25 лет написал повесть «Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова». Сумел переслать ее на Запад, и Зинаида Шаховская, к которой она попала, не задумываясь, поместила ее всю в газете «Русская мысль» в ноябре 1970 года! Повесть вышла в год столетия со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина)! Затем вышла отдельной книгой, была переведена на несколько языков. Осенью 1973 года у него прошли обыски. В Киеве был арестован Владимир Вылегжанин, который незадолго до ареста приезжал в Москву, гостил у нас, взял с собой немало самиздатской литературы. А, напившись, вышел на Крещатик и начал выкрикивать антисоветские лозунги. Во время следствия дал подробнейшие показания против московских друзей. В том числе против Коли. Бокова выкинули из аспирантуры МГУ, где он учился после окончания философского факультета.

Он решил эмигрировать и в 1975 году навсегда покинул СССР. В отличие от многих эмигрантов готовился — выучил французский язык, а до этого овладел английским. Работал в газете «Русская мысль», продолжал писать и даже издавал вместе с Арвидом Кроном журнал «Ковчег». В 1982 году пережил обращение, бросил все и ушел странствовать. В декабре 1983 года он писал мне:

«...в прошлом году я крестился, быть может, и не без твоих молитв — и если так, то спасибо. Вероятно и крещению моего отрока ты способствовал, спасибо за то. Я совсем как-то отстранился от внешней жизни, почти никого не вижу и редко испытываю в этом потребность. Но внутренняя жизнь бурная — и трудная — но интересная. С авангардизмом, конечно, покончено, иногда думаю, что и с литературой вообще — но вдруг брезжит интерес и чувство необходимости, и тогда вновь... Ясно, впрочем, что фантазия может заводить далеко и к ней лучше не прибегать. Или очень осторожно. Эх, соблазнил меня "серебряный век"...»

Бросил все и ушел странствовать. Где только не побывал — прошел пешком всю Францию, пожил на Афоне в монастыре, умудрился побывать в Израиле, пожить в тамошних монастырях, будучи беспаспортным. Это время называл «периодом православного фундаментализма». Спустя 10 лет вернулся во Францию, поселился в 18 километрах от Парижа в пещере. Обжил ее, развел поблизости огород. Особо знаменит огород стал благодаря помидорам, которые он выращивал. Стал членом Общества друзей Нотр дам де Пари. Водил экскурсии для приезжих русских. Побывал в Англии в гостях у архимандрита Софрония (Сахарова) в основанном им монастыре в Эссексе. Встречался в Вене в 1975 году с известным писателем и мыслителем Виктором Франклем. Вступил в благотворительное Общество, члены которого ухаживали за умирающими. Вспоминал, как ухаживал за стариком-испанцем, который всю жизнь прожил во Франции, но в конце жизни впал в детство и напрочь забыл французский. Медсестры и врачи не понимали его испанского. А Коля в своих странствиях немного изучил испанский. И скрашивал одиночество старика. Умудрился поучиться на подготовительном факультете в Свято-Сергиевском богословском институте, поссориться с Оливье Клеманом.

Его старший друг, поэт Марк Ляндо вспоминал, как Николай в начале 90- годов прошлого столетия пригласил его с сыном Даниилом в Париж и даже оплатил им дорогу:

«Уж так мне нравятся выращиваемые им тут же, на грядках у пещерки, душистые южные его помидоры, зачем мне авокадо! Даниил уже привычно режет китайским складным ножом помидоры, лук. Я подбрасываю дрова в самодельную печку... Пахнет дымом горящих балок от домов XVI века у вокзала Сен-Лазар, обломки от сноса которых свалили здесь в овраге, снабдив Николая столь нужным ему топливом! Еще пахнет сырой гипсовой пылью, ароматной ухой и резким уайт-спиритом от фитильной лампы — эти запахи останутся в памяти, как аромат той, легендарной уже теперь, пещеры...

...Усаживаемся наконец за стол. Николай читает молитву — сначала по латыни, потом по-русски: "Хлеб наш насущный даждь нам днесь... И остави нам долги наши, яко мы оставляем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого... Помилуй нас!.."

— Ты, Коля, православный или в католичестве? — спрашиваю я.

Он отвечает, что для него эти разделения не имеют существенного значения. Я наливаю себе стаканчик «кристальской» водки, которую привез ему в подарок, — но он отказался, ибо давно уже от алкоголя воздерживается... И конечно, мне бы надо, грешному, при нем — воздержаться, но...

— Вот-вот — все вы таковы, поэты! — возглашает он, подмигнув Даниилу. — Стаканчик за воротничок и — "полночный троллейбус! полночный троллейбус!" — А потом с какой-нибудь Лизочкой, в уголок, в уголок!.. Эх, вдарим по одной! — и он громко хлопает правым кулаком по левой ладони. В глазах же вспыхивает тот старинный острый блеск, знакомый мне еще по выставке абстрактного искусства в Манеже, где я впервые увидел его, сражающегося с возмущенными невиданным искусством советскими "староверами", а на губах — язвительная усмешка.

Следуя укоренившейся привычке, Николай записывал все впечатления в записную книжку. Писал карандашом или авторучкой, бисерным почерком. Эти записи позже послужили материалом для многих его книг. В пещере прожил 6 лет. Отравившись угарным газом, попал в реанимацию, чудом выжил. В пещеру не вернулся. Все переживания и впечатления талантливо описал в своих повестях. В 1998 году активно включился в литературную жизнь Парижа. Он был мистически одаренным человеком. Внимательно изучал свято-отеческое наследие, католический и протестантский опыт. Побывал в местах явления Божией Матери — в Фатиме и Лурде. К Лурду у него было особое отношение. Уже находясь в клинике, не оставлял мечты еще раз побывать там. Каждый вечер, будучи тяжелобольным, находил время для молитвы. 17 ноября прошлого года писал:

«Сон. Пространство: колоссальное, яркое, цветное, круг, я внутри его, обвожу окружность световым лучом (наподобие лазерного, из устройства, которое держу в руке), сердце полно ощущением "особого счастья", неизвестного прежде; "счастлив неизвестно от чего". Кругов два: внешний, "материальный", "темный", он может уменьшаться, но внутри остается все таким же огромным, беспредельным, расширяющимся — по ощущению, нелогично! — под действием луча».

15 ноября записал слова молитвы, обращенные к Богородице:

«"Не прѣзри плача и слез, утѣхо плачущих! Аще ужасает мя мое недостойнство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбо-

носный сей образ, на нем же благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромым, странствующих аки под сению Твоего призрения..." Утехо... цельбоносный... скачущих хромым! Вот что Хлебников-будетлянин читывал, быть может...»

Творчество было для него таким же насущным, как дыхание. Его последние произведения пронизаны любовью. Мы знакомим читателей со стихотворением, адресованным его подруге, поэту и художнику Мари Клод Тибо (он звал ее нежно — Cloclo).

Он знал, что умирает. Смотрел смерти в глаза и не терял ясно-го ума и понимания всего, что происходило вокруг него. Человек редкого мужества. Я был рядом с ним, когда болезнь начала прогрессировать, и он с трудом на костылях мог ходить. Говорил мне с уверенностью, что умрет в этом году. Перед смертью примирился со всеми. Последние недели с ним рядом был его сын Максим с женой Татьяной.

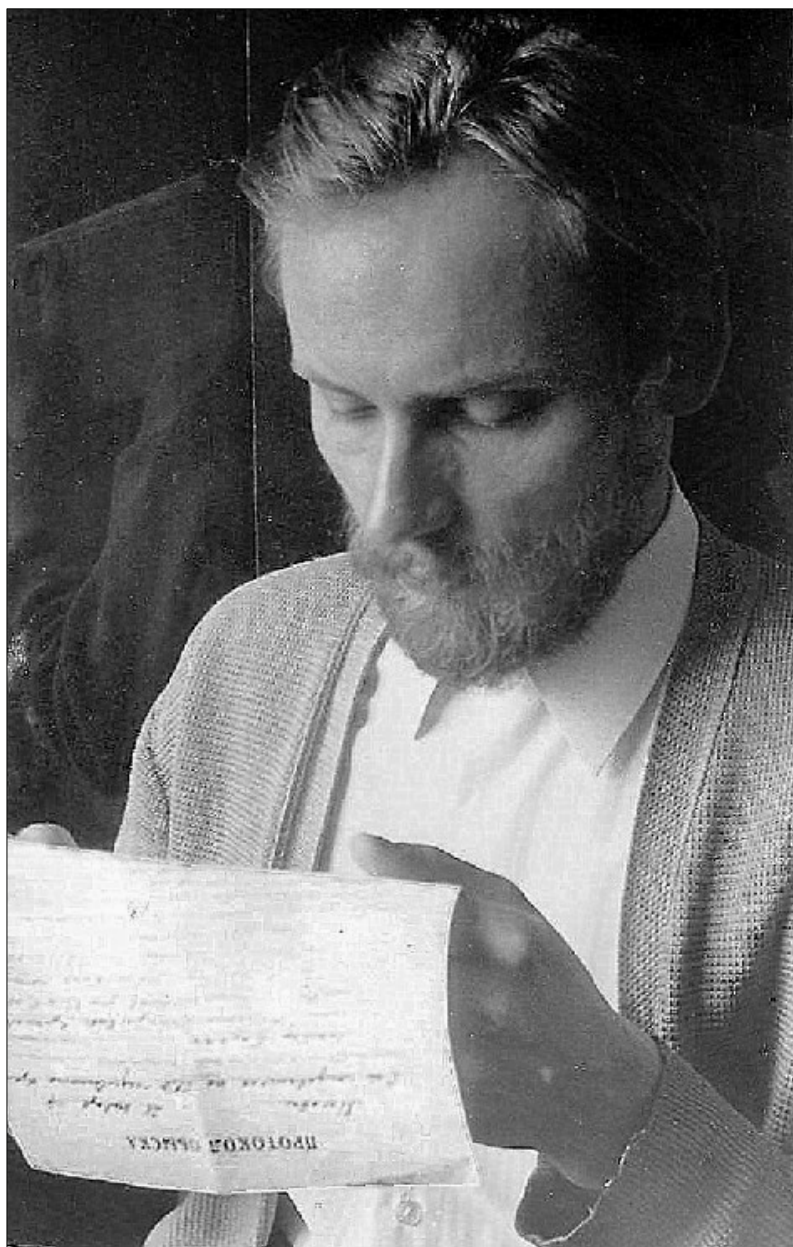
Николай так описал свой жизненный путь:

«Учился, надеялся, старался, беспокоился, кипятился, изучал философию, сочинял литературу, женился, печатался за границей, распространялся в самиздате, боялся, попался, обыскался, арестовывался, спасался, надеялся, в 75-м очутился во Франции, в 82-м обратился, развелся, молился, скитался, вернулся в Париж. Подробности в сочинениях».

Тебе скажут, моя дорогая, он умер.
Ты улыбнешься: твое доброе сердце
Забыло недоброе значение слов.
Ты подумаешь: он отправился в путешествие
И скоро пришлет открытку с видом собора,
Поднявшего свои шпили в синее небо.
Ты подумаешь: он вас опять обманул,
Он придумал игру, чтобы развеять
Скуку вашего существования.
Пока вы смотрели в направлении звуков
Футбольного поля или полицейской возни,
Он завернул за угол, стал невидим
И улетучился, словно туман, словно
Последняя рода иссякшего птица.
И ты будешь права, моя дорогая!
Этой ночью ты ощутишь движение
Воздуха, и рука коснется твоей головы,
Ты услышишь знакомый голос Клокло!
И улыбнешься тени, стоящей в окне.
И скажешь: «Это ты! Скоро увидимся, да?»

Библиография и премии: Премия Дельмас (2001, Institut de France). Писатель-резидент Виллы Маргариты Юрсенар (2002). Член французского ПЕН-Клуба, Общества литераторов SDGL (Société des Gens de Lettres de France). До эмиграции опубликовал анонимно или под псевдонимом: *Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова (La Tête de Lénine, Ed.R.Laffont, Paris)*, повести *Город Солнца, Никто* (Ed. Denoël, Paris; John Calder, London), *Страды Омозолелова; Смех после полуночи*; пьесы *Чудеса химии, Наташа и Пивоваров*. В 1979 издательством журнала «Ковчег» был выпущен сборник избранной прозы *Бестселлер и другое*, в 1983 в Цюрихе вышел на немецком языке роман *Чужеземец (Der Fremdling, Diogenes Verlag)*. Со времени возвращения в Париж в 1998 выпустил там на французском языке прозу *Dans la rue, a Paris; Déjeuner au bord de la Baltique, La Conversion, La Zone de réponse, Or d'automne et Pointe d'argent* (Ed. Noir sur Blanc); сборник стихов *De tout un peu/Тодасё*. На русском языке публиковались прозаические произведения *Обращение, Soliloquium, На восток от Парижа* («Новый Журнал», Нью-Йорк); *Проза миллениум, Побег в окрестности Реймса* (журнал «Мосты», Франкфурт). В России в Нижнем Новгороде в издательстве «Дятловы горы» в 2008 году вышел двухтомник Николая Бокова. Том первый — «Зона ответа» и том второй — «На восток от Парижа». Он был отмечен премией Русской Православной Церкви, как произведения, привлекающие внимание к нищим и обездоленным.





Осень 1974 года. Н. Боков читает протокол обыска

Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО

/ Харьков /



ВЕТОЧКА СИРЕНИ, ИЛИ ДЖЕТЛАГ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Игорь Шестков. Фабрика ужаса. — Киев: Каяла, СПб.: Алетейя, 2020 — 520 с. — (Серия «Коллекция поэзии и прозы»).

...А ведь это, господа, новый Аверченко, как может показаться при ближайшем рассмотрении. Только вместо «Мадам Ленин» у нашего берлинского автора — увесистая связка портретов не отдельных героев, а целой эпохи. Герои могут быть «отдельными», и если уж связка, то только «баранок» (ну не бананов же, ей богу), а вот эпоха... В советскую быль не хочется даже самому изощренному воображению, и поэтому нам предлагают заменить какую-нибудь Агнию Барто на магию в пальто (с чужого плеча — других у родного населения в те годы иногда просто не было). То есть, если автор и вспоминает о том, как жилось ему в советском прошлом, то уж поверьте, это не пересказ бородатых анекдотов, а личная биография многих из нас, вот только не скрепленная печатью подлинности. Впрочем, насколько достоверными могут быть сведения, почерпнутые из фантазий очередного Веснухина (из повестей, ясное дело, Ветлугина), которыми память замещает, как водится, тоталитарную травму? Правильно, написанному не верить, но доверять и измерять им, как у Галича, уровень тогдашней жизни.

Это что касается формальных качеств данной прозы. Насчет же стиля... Многие, очень многие, читавшие в 1947 году журнал «Петрушка», согласятся, что фраза «Аннелизе страстно любит жасмин», открывающая сборник рассказов берлинского прозаика Игоря Шесткова, ничуть не хуже, чем «он поет по утрам в клозете» одесского классика. (Тем более что автор признается, что «однажды я мылся, думал о чем-то приятном и свистел соловьем».) А вот это, диссидентское, как оказалось, у отсидевшего лирика? «У Ларисы — носик лисий, / Золотая коса, / И поэтому Лариса, / Не Лариса, а — лиса!». И эхом с берлинской опушки: «Ее узкий лисий нос, густо усыпанный то ли веснушками, то ли старческими пятнами, неприятно подергивается».

С другой стороны, упомянутый Аверченко все и всех уравнивает, и автор сборника об этом, безусловно, знает, сообщая: «А я — человек чувствительный. Как все эмигранты. И аллергия меня мучает. На все. На самого себя. На Кирлитц. На жасмин».

Вот такая веточка сирени, как в кино про Рахманинова, стучится нам сегодня в окно из недалекой Европы, и сквозь все ассоциативные ряды и сравнения, а также ностальгию и прочий джетлаг русской прозы в добровольном изгнании, все же можно разглядеть оригинального в своей всеядности автора. Из последних же новостей оттуда мало что утешительного может почерпнуть издававший виды и читавший тексты человек, любящий свою сонную Родину и собирающий в Германии зараженную глистами ежевику. «Хуже популярной немецкой музыки второй половины двадцатого века — только советская популярная музыка того же времени», — сообщают нам, и мы охотно верим, поскольку уже читали в вышеупомянутом журнале о том, как хотели было сделать Глинку а получили Гуно.

Однако, в сборнике есть и другие рассказы, и их наличие объясняет то, что в СССР автор был «относительно благополучным человеком, а не дворником, истопником или рабочим», и романтика будней у него не была отягчена той же романтикой преступлений. К каковым, безусловно, относится скука. Смерть, какая зеленая, если вы, положим, завбазы или прокурор, уехавший не по своей воле из рассадника этой самой тоталитарной травмы. Вот откуда у автора «зарубежная» тема — не «эмигрантская» или того хуже «ностальгическая», а вполне себе магический реализм. То есть реальность новой жизни он осмысливает совсем в других категориях, в данном случае — литературных. «И пипетки и карандаши, и шариковые ручки нередко превращаются — прямо у меня в руках — в живые куколки с забавными головками и кланяются мне как старому знакомому». А что уж говорить о героях-персонажах! В кого они только не превращаются, но главное, что чаще всего — в себя, и в этом талант автора: увидеть «другими глазами» и барахольщика в Берлине, и раздавленную кошку в Твери.

И уж точно не клон, как недоумевают в одном из рассказов, и не собиратель коллекции морфем, ассонансов и аллитераций наш автор, а мастер настроения, создаваемого для себя. Ну, и для читателя тоже. Иногда читаешь, как грозит наследием Хэма, а перед нами — ба, да это же Буковский! Это когда «моя подруга еще спала, раскинувшись на простыне как распятый рядом с Иисусом разбойник и разбросав по смятой в гармошку лиловой подушке свои прекрасные золотые волосы, а я проснулся и страдал от неутоленной страсти». А вы говорите, Аверченко. Просто наследие отечественной литературы сложно разменять на модные побрякушки западного стиля, и потом, все они ведь тоже вышли из шинели — и Гоголя, и Чехова, и Толстого. Не в мундирах дело, а в том, как их носят новые владельцы. Словом, все мы немного аверченки, и сборник рассказов Игоря Шесткова с его калейдоскопом характеров и каруселью ситуаций — тот еще цирк с плачущим автором (зачеркнуто) клоуном во главе.

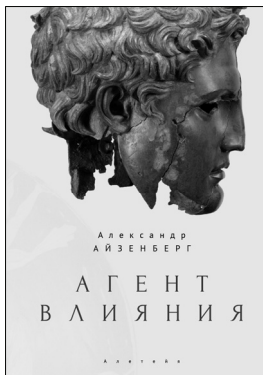
Игорь САВКИН

/ Санкт-Петербург /



ИСТОРИЧЕСКАЯ ГОЛОГРАФИЯ АЙЗЕНБЕРГА

Александр Айзенберг. *Агент влияния*. — СПб.: Алетей, 2020 — 564 с. — (Серия «Коллекция поэзии и прозы»).



Сначала Александра Айзенберга не было. «В те дни, когда в Одессе пыльной...»

И вот он появился в моём сознании, нерасторжимо связав южный портовый город со своим именем. Мы сидим на знаменитой набережной, пьём кофе, я расспрашиваю, что за странность эта его «голографическая» проза, ведь он по образованию вовсе не «физик» и даже не «лирик», а крючковатор юрист, хозяйственные споры, мелочные интересы клиентов, — откуда же эта нездешняя страсть к тонкой игре темных стихий истории? Оказывается, Айзенберг уже несколько лет ведёт на Одесском телевидении цикл исторических передач, сделался популярным и узнаваемым.

Жовиальность¹ фактуры южанина, харизма рассказчика, лично видевшего сожжение великой Трои, разграбление Рима, распятие Христа... Всё вызывает наибольшую симпатию...

И я поверил...

Поверил, что спор хозяйствующих субъектов в Одесском морском порту почти ничем не отличается по накалу страстей и предсказуемой горячности и крови от тех волн насилия, что прокатывались по ближайшим равнинам и века, и тысячелетия назад...

Всё повторяется...

Ничего не изменилось, только покроем одежды, да ещё пресловутый «квартирный вопрос»...

Всё повторяется...

¹ «Одесски-жовиальная бабелевская ипостась еврейства вызывает наибольшую симпатию...»/«Звезда», 1998, № 2,166.

Горящая Троя...

Елена на стене... А может, Ярославна?

Парфянские всадники, глухой топот, дрожь земли...

Или это гайдуки, несущиеся по украинской степи?

Скорбь выплакавших слёзы жертв очередного «еврейского» погрома...

«В горячем мареве проступает железной, нетающей горой каменеющая душа, в серой неприступности — в противовес мятежной всезахватанности»¹.

Запутанный клубок идей и действий катится по шляху истории, подталкиваемый практическими интересами, прочие неотменимые цели и задачи конкретного бытия делают это «голографическое» бытие неотличимым от реальности.

Историческая голография — изобретение Айзенберга, жанр особенно интересный, когда «эта неотличимая от реальности голография грозит рассыпаться из-за внутренней безосновности»² из-за таящегося в основе всего хаоса, из-за «нечто», готовящегося столкнуть всё в «ничто».

Всё повторяется, но непредсказуемо в ходе боевых действий еврейское местечко красные отбивают у петлюровцев, и плачущий на улице еврейский мальчик достаётся не петлюровской сабле, а петроградскому рабочему. Младенец выжил, вырос как действующий участник истории.

«25 лет спустя он брал Кёнигсберг.

Эпизод — поразительно важный при ответе на вопрос о смысле событий, кажущихся непоправимо бессмысленными, трагически-безвыходными и невменяемыми в своей беспощадности.

Что-то, значит, стоит за этой антижизнью. Что-то невидимое, неощутимое, спрятанное за этим «ничто».

Разгадать неугадываемое, объяснить необъяснимое, поймать неуловимое — этим желанием продиктована и странная художественная фактура»³

Таинственная «алхимия связей»... Московский зять — Рамон Луллий... Случайность? Возможно, если не признать, что их слишком много выходит.

Автор очень долго занимался историей, пока история не занялась им. Пришлось оставить благословенный южный край и отправиться на север, в туман Германии, на родину Корнелия Агриппы Нестесгеймского, алхимика, врача и знаменитого адвоката, автора трёх книг «Скрытой философии», трактующих о совершенном и совершении.

Колесо провернулось, совершается пока ещё незримое, ведь ось мира вращается неслышно, а новые истины «входят в мир на беличьих лапках», как говорил Ницше.

Что ещё может вычитать у Айзенберга вдумчивый читатель? У каждого читателя — своя «модель для сборки».

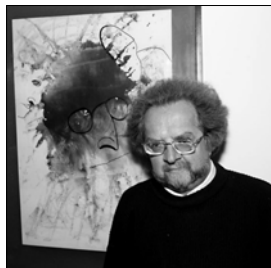
¹ Превосходный образ позаимствовал из Послесловия Льва Анненского к последней книге Александра Айзенберга «Агент влияния».

² Лев Анненский. Каменеющая душа праведника / послесловие к книге Александра Айзенберга «Агент влияния», с. 560.

³ Лев Анненский. Каменеющая душа праведника / послесловие к книге Александра Айзенберга «Агент влияния», с.558.

Б. КОНСТРИКТОР

/ Санкт-Петербург /



ПЛАТОНИАДА

Рассудок, Бог с тобою!

А.С. Пушкин. «Пирующие студенты» 1814

I

ЗАПЕ: Когда я женился, то обещал написать пьесу.

ЗАПИ: Про что?!

ЗАПЕ: Про Салтыкова-Щедрина.

ЗАПИ: И много написал?

ЗАПЕ: Я придумал начало и финал. На фоне душераздирающего старческого кашля (его знаменитая фраза: «Скажите, занят, умираю») юноша читает стихи. А он их писал в молодости. Например, такие:

Люблю весну я: всё благоухает
И смотрит так приветливо, светло.
Она наш дух усталый пробуждает
Блещет солнце — на сердце тепло.

ЗАПИ: Всё?

ЗАПЕ: Начало и финал должны быть одинаковые, а посередине жизнь.

ЗАПИ: Просрал ты жизнь.

ЗАПЕ: Ну, тут я с большинством.

ЗАПИ: И не стыдно?

ЗАПЕ: Чего?

ЗАПИ: Что ничего не добился.

ЗАПЕ: А я не понимаю, чего можно добиться.

ЗАПИ: Признания, например.

ЗАПЕ: Зачем?

ЗАПИ: Чтобы помнили.

ЗАПЕ: Видишь ли, знания не существует. Оно — малая область тотального незнания. Нельзя признать то, чего, по определению, не знаешь. Поэтому оставаться незнакомцем честнее. Тьму тоже надо беречь, это экологический постулат.

ЗАПИ: Тьма для тебя — это что мать?!

ЗАПЕ: Во всяком случае, первые девять месяцев было темно.

ЗАПИ: Это откуда «Тема мно»?

ЗАПЕ: А откуда же, всё оттуда.

/складывает ладони, изображая лодку/

ЗАПИ: Ну ладно, Харон, гребни.

/уплывают/

II

ОНО: Зачем ты пишешь эти диалоги, ты что, Платон?

Я: Оно, прости, но оно само пишется.

ОНО: Хочешь сказать, оно идёт изнутри.

Я: Да само по себе. Так когда-то Кудряков мне говорил перед смертью, с удивлением глядя на правую руку, — она сама пишет.

ОНО: Автор — автомат...

Я: Это мат моему эго, оно становится безличной силой. Слова льются, как ручей.

ОНО /с иронией/: Святой источник.

Я: Какой-никакой, а источник.

ОНО: Что же его питает?

Я: Не знаю. Может быть, прошлое, всё то, что накопилось за жизнь. Попытка перепросмотра.

ОНО: А не противно смотреть?

Я: Эмоций нет, это безотносительно чувств, идёт само по себе.

ОНО: Метафизическая агония!

Я: Агония или симфония, откуда мне знать. Рука движется по бумаге, скрипит перо жар-птицы гелевое... Невысохший гель блестит, как антрацит, переливается, в нём вселенная отражается. Главное не сойти с ума. Ум — униформа понятия «тьма».

ОНО: А ты что голый сейчас?

Я: Я никакой.

ОНО: Пора, пора домой.

Я /с изумлением смотрит на застывшую руку/: Точка!

ОНО: Прохудилась бочка?!

III

ЗАПИ: А тебе не стыдно писать буквы?

ЗАПЕ: Это как на кисель натягивать шкурку, ведь буквы — кожа мыслей.

ЗАПИ: Человек меняет кожу.

ЗАПЕ: Да это происходит, примерно раз в сто лет, когда на смену одному способу мыслить приходит другой.

ЗАПИ: Это как, скажем, плачут десятки лет подряд, потом гром и молния, буря и натиск, потом проза жизни, натурализм, а потом всё к чёрту, речетворцы, а потом...

ЗАПЕ: Стенгазета!

ЗАПИ: А ты-то что?

ЗАПЕ: Я — ничто. Меня интересуют вибрации. Откуда они, куда и почему, неизвестно. Ты — передаточное устройство. Главное — чистота настройки. Надо найти свою частоту.

ЗАПИ: Ту-ту.

ЗАПЕ: Да, частота — твоя дорога, твой космическо-комический удел. Поймал и полетел.

ЗАПИ /поёт/: Нам нет преград ни в море, ни на суше.

ЗАПЕ: Скорее это спасите наши души. SOS. Всё что должен знать матрос. Кто не знает, кто не понимает — амба.

ЗАПИ: Таков твой апломб?

ЗАПЕ: Нет, это мои пломбы /разевает рот/.

ЗАПИ: Куй железо, пока горячо.

ЗАПЕ: Хочешь жни, а хочешь куй...

/обнимаются и вместе уходят/

IV

МОЗГ: Ты кто?

Я: Я — это ты.

МОЗГ: Неужели?

Я: А разве нет?

МОЗГ: Ты производное меня, малая часть, которая возомнила себя всем.

Я: Ну, а кто ты без меня? 85% воды и жира, серо-розовый студень, жидкий грецкий орех.

МОЗГ: Грех так говорить о своей малой родине.

Я: Уродина!

МОЗГ: Посмотри на себя, испражняющийся ангел, что ты возомнил, балда.

Я: Идёт сам не знает куда.

МОЗГ: Вот именно. Твоя сила в незнании. Твой удел эмоции. Чувства оплодотворяют мысли. Без них мысль импотентна.

Я: Мысль эрогенна?

МОЗГ: А ты как думал, дурачок? Открытие — это совокупление идей, рождение третьего. Троица!

Я: Господи!

МОЗГ: Я вас слушаю.

Я: Господи!!

ЗАУМНАЯ СЦЕНА

ЗАПИ /кричит из левой кулисы/: Ау-у-у!

ЗАПЕ /кричит из правой кулисы/: АУМ!

V

ТЕЛО: Ты кто?

Я: Я — это ты.

ТЕЛО: Но я ничего не вижу.

Я: Я физически не существую.

ТЕЛО: Тогда почему я это ты?

Я: Я твоя радуга.

ТЕЛО: Эффект Кирлиан.

Я: Ну что-то вроде.

ТЕЛО: Значит, я работаю на тебя, невидимку.

Я: Да.

ТЕЛО: И ты можешь сделать со мною всё что захочешь.

Я: Так же, как и ты со мной.

ТЕЛО: Сиамские близнецы.

Я: Вроде того.

ТЕЛО: А без меня ты, Радуга, сможешь существовать?

Я: Однозначного ответа нет.

ТЕЛО: А что есть?

Я: Неизвестно.

ТЕЛО: Тебе не страшно?

Я: По-всякому бывает.

ТЕЛО: Я тебе мешаю?

Я: Нам надо жить дружно. Равновесия лучше не нарушать. Греки это понимали.

ТЕЛО: Трали-вали.

Я: Это нам не задавали.

ТЕЛО: Тёмные вы люди.

Я: А жуки лучше?

ТЕЛО: Лучше.

Я: Есть к чему стремиться.

VI

ЗАПИ: Шекспир, что, теперь и с задницей будешь общаться?

ЗАПЕ: А почему бы и нет. Разве задница не человек? Что бы мы без неё делали. Без задницы ни Рабле, ни России бы не было.

ЗАПИ. Ты апологет низа.

ЗАПЕ: Только в той мере, в какой наличие низа обеспечивает существование верха.

ЗАПИ: Метафизические качели?

ЗАПЕ: Сологуб с нами.

ЗАПИ: Чёрт с ними.

ЗАПЕ: Всё — маятник: грустно — весело, легко — тяжело, мир — война, голод — обжорство, быть — не быть.

ЗАПИ: Гамлета зачем сюда приплёл?

ЗАПЕ: А как же без Гамлета. Сон — явь.

ЗАПИ: Да, все мы сонявы.

ЗАПЕ: А явь — это я и вы.

ЗАПИ: А сон — это Он.

ЗАПЕ: И нос наоборот.

ЗАПИ: Привет майору Ковалёву.

ЗАПЕ: Гоголь с нами.

ЗАПИ: Моголь с вами.

/долго, беззвучно продолжают взбивать слова/

VII

ВНУТРЕННОСТИ: Сволочь!

Я: За что?!

ВНУТРЕННОСТИ: Ты никогда не любил нас. Презирал, сука. Отвратительны мы тебе.

Я: Простите, ребята. Уж так повелось. Не знаю, почему.

ВНУТРЕННОСТИ. Как жрать, так ты всегда готов, а нам всё это надо переварить и лишнее извергнуть. Мы — твоё метро, кретин. Транспорт еды. А сердце — полувечный двигатель, лёгкие — монгольфьеры, печень — мученица, почки бедные, селезёнка несчастная. Что ты о нас знаешь? А когда мы кричим о смертельной опасности, ты нас ненавидишь — больно.

Я: Каюсь. Недавно по телевизору показали всасывающую поверхность кишок, состоящую из множества розовых язычков. Мне почему-то стало страшно. Неужели эти язычки тоже я.

ВНУТРЕННОСТИ: Да! Ты — то, что превращает окружающее в дерьмо. Оно — ваше назначение, неужели непонятно.

Я: А для чего дерьмо?

ВНУТРЕННОСТИ: На нём начнёт произрастать новая жизнь.

Я: То есть, мы — черви?

ВНУТРЕННОСТИ: А кто же ещё? Черви — это двигающиеся кишки.

Я: Но, может, мы не только землю взрыхляем, но и ноосферу?

ВНУТРЕННОСТИ /сардонически/: Черви — козыри!

Я: Ваша дама бита /сходит с ума/.

VIII

ЗАПИ: Ну и куда ты сошёл, Колумб?

ЗАПЕ: Здесь темно.

ЗАПИ: Ночь, что ли?

ЗАПЕ: Полярная.

ЗАПИ: А что слышно?

ЗАПЕ: Войну.

ЗАПИ: Кого с кем?

ЗАПЕ: Все против всех.

ЗАПИ: А ты на чьей стороне?

ЗАПЕ: Я на стороне «нас нет».

ЗАПИ: Это как?

ЗАПЕ: Мы не отсюда.

ЗАПИ: Кто это вы и откуда мы?

ЗАПЕ: Неизвестно.

ЗАПИ: Вы — неизвестники?

ЗАПЕ: Во всяком случае, мы не известняк.

ЗАПИ: Конкретнее.

ЗАПЕ: Ничего конкретного нет, всё — абстрактно.

ЗАПИ: Тройка, семёрка, туз.

ЗАПЕ: И девять муз.

IX

МОЧА: А обо мне ты подумал?

Я /брезгливо/: Нет.

МОЧА: Почему?

Я: Я не врач.

МОЧА: Но ты же со мной общаешься чаще, чем с закадычными друзьями, женой, детьми и начальством.

Я: Ну что значит «общаешься».

МОЧА: А разве ты не смотришь на меня, когда ссышь, мужчина?

Я: А ты что, женщина?

МОЧА: Я — влага твоя.

Я: Пи-пи, прости.

МОЧА: Ты же любишься облаками, а они тоже влага.

Я: Ты мой жёлтый дождик.

МОЧА: Как в Библии дух носился над водами, так ты всю жизнь паришь надо мной.

Я: Глубоко копаешь.

МОЧА: Я не копаю, я капаю.

Я: Хорошо, когда куда надо.

МОЧА: Молчи, неблагодарный. Не будет меня, и тебе крышка.

Я /поёт/: Не уходи! Побудь со мною.

X

ЗАПИ: Уже с мочой беседуешь, Сократ. А что дальше, экскременты?

ЗАПЕ: А почему нет, ничто человеческое мне не чуждо.

ЗАПИ: А что, ничто может быть человеческим? Я думал, тут дефиниции ни к чему.

ЗАПЕ: А ему наплевать. Хочешь, человеческим называй, хочешь, говьячьим, хочешь, ребьячьим. Ничто ни на что не похоже.

ЗАПИ: Может быть, оно похоже на «нас нет».

ЗАПЕ: Оно тотальнее — всех нет.

ЗАПИ: А что тогда есть?

ЗАПЕ: Ничто.

ЗАПИ: Но ведь ничто не может существовать.

ЗАПЕ: Тогда непонятно, как из несуществующего ничто получилось существующее что-то. Это не грань между живым и мёртвым. Это ментальная пропасть.

ЗАПИ: Не надо про пасть.

ЗАПЕ: Эта пасть беззуба.

ЗАПИ: В форме куба.

ЗАПЕ: Скульптура народа йоруба.

ЗАПИ: Для тех, кто дал дуба.

ЗАПЕ: Любо!

ЗАПИ: Любо, любо, любо, любо, трупцы, жить!

ЗАПЕ: С баткой-атманом не приходится тужить.

ЗАПИ: Эх, тачанка-ростовчанка...

ЗАПЕ: Все четыре колеса... Сансары.

XI

ЭКСКРЕМЕНТЫ: Чую-чую... /принюхивается/

Я: Не надо!

ЭКСКРЕМЕНТЫ: В чём дело?

Я: Жене надоело.

ЭКСКРЕМЕНТЫ /возмущённо/: Что?!

Я: Всё это печатать.

ЭКСКРЕМЕНТЫ: Это нонсенс.

Я: Извините.

ЭКСКРЕМЕНТЫ: Это не гуманно не давать слова продуктам распада.

Я: Но жене тошно.

ЭКСКРЕМЕНТЫ /оскорблённо/: Нас лишили права голоса

/Уходят с гордо поднятой головой/

XII

ЗАПИ: Как тут темно.

ЗАПЕ: Во внутренностях всегда темнота.

ЗАПИ: Ты хочешь сказать, что я сейчас в какой-то кишке.

ЗАПЕ: А что, Млечный путь не кишка? Космос — может, он же-лудок Бога, и мы там перевариваемся, перевариваемся...

ЗАПИ: Ты хочешь сказать, что мы...

ЗАПЕ: Всё возможно.

ЗАПИ: Это антитеза к «звучит гордо».

ЗАПЕ: Это морда возможности.

ЗАПИ: А по-моему, это морда безбожности!

ЗАПЕ: К чему предосторожности, мысль не нуждается в презервативах. Этот ментальный коитус хорош тем, что сперма не дозирвана.

ЗАПИ: Публика будет шокирована.

XIII

ОБОНЯНИЕ: Ты не чувствуешь моего обаяния.

Я: Почему?

ОБОНЯНИЕ: Ты меня не ценишь.

Я: Почему?

ОБОНЯНИЕ: Ты не ощущаешь моего могущества.

Я: Почему?

ОБОНЯНИЕ: Потому что ты — идиот.

Я: Как раз наоборот.

ОБОНЯНИЕ: Заткнись, Аксельрод.

Я: Не надо фамилий.

ОБОНЯНИЕ: Кретин без извилин.

Я: Прошу не оскорблять.

ОБОНЯНИЕ: Тебя надо расстрелять.

Я: В сотый раз почему?

ОБОНЯНИЕ: Горе твоему уму!

Я: Обэр-и-у-у-у

ОБОНЯНИЕ: Послушай, Боря, жертва алкоголя, без моих феромонов не плодили бы Ньютонов. Запахи раньше стихов и всех основ. Без них и сам ум и сучки остались бы без случки. Не зацепились бы полов крючки в парадигме мировой тоски. Не стоили бы пары, взобравшись на нары. Моя роль больше чем алкоголь. Я — соль.

Я: Соль земли, прости.

XIV

ЗАПИ: Журден заговорил стихами.

ЗАПЕ: Бог с вами.

ЗАПИ: Любишь тупые рифмы.

ЗАПЕ: Нет, я говорю прозой, маразма мимозой, в память о Гран-Борисе шлю автоматические письма биссектрисе.

ЗАПИ: Будешь плодить знаки, как щенков собаки.

ЗАПЕ: Куда хочу, туда и лечу, навстречу лучу к Ларионову, чу-чу-чу.

ЗАПИ: Забыл о Гончаровой.

ЗАПЕ: Я человек суровый. Но Наталью люблю. И Ольгу Розанову тоже хочу.

ЗАПИ: Что всё это значит?

ЗАПЕ: Бог не смеётся и не плачет.

ЗАПИ: А что он делает?

ЗАПЕ: Верует!

XV

Я: У меня есть текст. Краткое описание происхождения всего.
Он из двух слов: само собой.

САМО СОБОЙ: Кто беспокоит артиста?

Я: Я.

С.С.: Ты это что?

Я: Я не знаю.

С.С.: Я тоже.

Я: Но как же это всё вышло...

С.С.: Ну, вышло, без всякого смысла, что теперь тут скажешь.

Вышло и всё.

Я: А зачем?..

С.С.: Вопрос некорректен!

Я: А что корректно?

С.С.: Ничего.

Я: Так зачем же его нарушили?

С.С.: Это вышло само собой.

Я: Это тупик.

С.С.: А ты не грузись, тогда всё будет заубись.

Я: Но я не понимаю.

С.С.: Само собой!

Я: Как с этим жить?

С.С.: Как все.

Я: Но я хотел бы знать.

С.С. Я тоже.

Я. А ты не знаешь?..

С.С.: Само собой.

Я: А зачем тебе понадобилось это «Само Собой», или оно всегда выходит само собой.

С.С.: Само собой.

Я: Что собой?

С.С.: Само!

Я: Самка ты бессамцовая.

С.С.: Не хаами.

Я: А как тебя определить?

С.С.: Никак.

Я: Выходит, человек бесконечный дурак.

С.С.: Кто как.

Я: А кто не так?

С.С.: Кто пьёт натошак.

Я: Наливай!

С.С.: Давай!

/оба окончательно чокаются/

XVI

ЗАПИ: Ну что, Маяковский, солнце на дачу пригласил?!

ЗАПЕ: Да оно само...

ЗАПИ: Само собой.

ЗАПЕ: Не надо, и так тошно.

ЗАПИ: А чего тебе тошно. Живи — не хочу.

ЗАПЕ: Вот именно «не хочу».

ЗАПИ: Дак кто тебе мешает? Чик, и готово. Последнее слово.

ЗАПЕ: Последнее слово не играет никакой роли. Важно то, что было в начале.

ЗАПИ: Ты хочешь сказать, что все слова — это только путь к тому первому...

ЗАПЕ: Да!

ЗАПИ: И что тогда?

ЗАПЕ: Всё кончится.

ЗАПИ: И что?

ЗАПЕ: Снова будет ничего.

ЗАПИ: А кто-нибудь будет знать о том, что было?

ЗАПЕ: Ничего — прокладка между «чего», но есть ли коммуникация между этими «чего»?

ЗАПИ: А может быть, из-за этих «чего» происходит некая эволюция «ничего»?

ЗАПЕ: Нам ли, малым, сырым и убогим, это знать.

ЗАПИ: Значит, ты в отличие от знати, незнать. Я тебя буду звать ваша незнатность.

ЗАПЕ: А я тебя ваше «зительство».

/ложатся и умирают/

XVII

СМЕРТЬ: Чую-чую, трупным духом пахнет.

Я: В сказках вроде, русским, говорится.

СМЕРТЬ: А это одно и то же. Где русские, там и трупы. Они, как и немцы, трупы любят. А ты чей будешь?

Я: Наполовину русский.

СМЕРТЬ: Это на какую?

Я: Матери.

СМЕРТЬ: А другая?

Я: Еврей.

СМЕРТЬ: Ну, ты труп в квадрате.

Я: Ну хоть здесь привалило.

СМЕРТЬ: Поэтому я отвалила.

Я: Чего так?

СМЕРТЬ: В тебе жизни на пятак. С тобой скучно возиться, тебе самому предстоит разложиться. Что ты в этой пляске и делаешь отчасти, мастер несчастий.

Я: Прощай, матушка. Будь здорова!

СМЕРТЬ: Глупая ты корова.

/уходит, бряцая костями и звеня косой/

XVIII

ЗАПЕ: Я понял, это мистерия Я.

ЗАПИ: Только что от смерти спасся, а ты о литературоведении-и-и-и.

ЗАПЕ: А может, всё наоборот, жизнь — это смерть, а смерть — жизнь. И я тут мучиться остался, а там бы щас...

ЗАПИ: На гурии валялся.

ЗАПЕ: Давай лучше о филологии поговорим.

ЗАПИ: Я университетов не кончал.

ЗАПЕ: Жизнь — это крошечный причал.

ЗАПИ: Я не так хорошо образован.

ЗАПЕ: Человек должен быть преобразован.

ЗАПИ: Плохо ставлю знаки препинания.

ЗАПЕ: Сейчас человек не достоин внимания.

ЗАПИ: Ты всё время несёшь одно и то ж.

/Запе вытаскивает нож. Запи убегает/

XIX

Я: Вот уже преступлением в пьеске запахло. Почему, Господь, всегда человек человека убивает? Всё ещё кроманьонец видит в другом неандертальца, иной вид?

БОГ: молчит.

Я: И ты, Господи, всё молчишь. Ницше даже сказал, что Ты умер. Это что, вторая Голгофа была, которую никто не заметил?

БОГ: молчит.

Я: Мне, понимаешь, поговорить тут не с кем. Нас, метафизиков, раз-два, и обчёлся. Хоть бы ангела мне какого прислал для беседы. Я бы его расспросил, как Ты в себе потеснился, чтобы мир этот создать.

БОГ: молчит.

Я: По науке-то всё страньше и страньше выходит. Один давным-давно сказал, верую, ибо абсурдно, а другой недавно, — эта идея недостаточно безумна, чтобы быть верной. По сути-то оба о вере говорят. Выходит, главный продукт мозга не мысль, а вера?

БОГ: молчит.

Я: Господи, а великий немой это не про тебя часом сказано?

БОГ: молчит.

Я: Библия — это титры к фильму?

БОГ: молчит.

Я: Язык молчания учи заранее.

БОГ: молчит.

Я: молчит.

Тишина.

XX

ЗАПИ /вбегая/: Это какое уже явление?

ЗАПЕ: Двадцатое.

ЗАПИ: Второе тысячелетие кончилось, что ли?

ЗАПЕ: Давно уже.

ЗАПИ: И чего теперь будет?

ЗАПЕ: А что тут может быть: война войне войною о войне.

ЗАПИ: Говно, в общем.

ЗАПЕ: И в общем и конкретно.

ЗАПИ: Всё по-прежнему перфектно.

ЗАПЕ: По телевизору очень эффектно.

ЗАПИ: Мраки бабушки макаки.

ЗАПЕ: Не оскорбляй макак.

ЗАПИ: А надо как?

ЗАПЕ: Так! /вонзает нож в никуда/

XXI

НИКУДА /вопит/: А-а-а!

Я: Больно, что ли?

НИКУДА: А ты думал?!

Я: А ты где?

НИКУДА: Там же, где и ты.

Я: Ты рифму имеешь в виду?

НИКУДА: Хуже.

Я: Что может быть хуже?

НИКУДА: Всё хуже.

Я: А что же тогда лучше?

НИКУДА: Ничего.

Я: Потому что там ничего нет?

НИКУДА: И не было никогда.

Я: А что же было?

НИКУДА: Ничего.

Я: Всегда?

НИКУДА: Как когда.

Я: Это как?

НИКУДА: То так, то эдак ничего.

Я: Но почему?

НИКУДА: Горе палиндромическому уму.

Я: Горе всему.

НИКУДА: Не говори никому. /Поёт/:

Никуда и Никогда
ходят под руку
всегда.
Пьяны, веселы и сыты
мы сознания
паразиты.
Что о нас ни говори
мы всегда у вас
внутри.
Мы
ментальный
яйцеглист.
Нас
гоняет
реалист.
Мы
сознания
троглодиты,
метафизики
бандиты.
Ходят под руку
всегда
Никуда и Никогда.

XXII

ЗАПИ /нервно/: Когда кончится эта галиматья?

ЗАПЕ: Когда перестанет быть Я.

ЗАПИ: Ты Галилей галиматьи!

ЗАПЕ: И?..

ЗАПИ: Домой пошли.

ЗАПЕ: А где он?

ЗАПИ: Вон!

ЗАПЕ: Что-то не вижу.

ЗАПИ: Отодвинь сознания грыжу.

ЗАПЕ: Я почему-то ржу.

ЗАПИ: Никому не скажу.

ЗАПЕ: А что это было?

ЗАПИ: Сериальное мыло.

ЗАПЕ: Кино — говно.

ЗАПИ: Давным-давно.

ЗАПЕ: Мы смотрим картинки.
ЗАПИ: Как морские свинки.
ЗАПЕ: А кому это надо?
ЗАПИ: Директору детского сада.
ЗАПЕ: Теперь так называется ад?
ЗАПИ: Сам виноват.
ЗАПЕ: В чём?
ЗАПИ: В том, что не стал кирпичом.
ЗАПЕ: Хорошо хоть не Ильичом.
ЗАПИ: На Страшном суде учтём.
ЗАПЕ: Спасибо, брат.
ЗАПИ: Радуйся, дегенерат.

XXIII

МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК: Так это ты?
Я: Так говорят.
М.С.П. /разочарованно/: Да-а-а.
Я: Не нравлюсь?
М.С.П.: Нет.
Я: А что тебе до меня?
М.С.П.: Я твой сперматозоид.
Я.: А ты откуда знаешь?
М.С.П.: Мне яйцеклетка сказала.
Я: Это когда ты в неё влип.
М.С.П.: Да, противный тип.
Я: И зачем тебе это было надо, мужская монада?
М.С.П.: Так природа велела...
Я: Ну вот, теперь и любуйся на моё тело.
М.С.П.: Что, придурок, под Введенского канаешь?
Я: А ты и его знаешь?
М.С.П.: Как мне не знать, если яйцеклетка его мать.
Я: Как это понять?
М.С.П.: Все вы одно и то же, глупая твоя рожа.
Я: И нет никакой разницы?
М.С.П.: Изучайте свои задницы.
Я: Зачем? Разве анус — Эдем?
М.С.П.: Когда найдёшь зад трёхъягодичный, тогда и поймёшь, кто тут отличный.
Я: Разве отличник от зада, а не от лица?
М.П.С. /пляшет/: Ламца-дрица-ца-ца-ца. Нету заднице конца. Мы, сперматозоиды, главные шизоиды. Удалые молодцы, человечества писцы.
Я: Сперма, моча, экскременты. Эго распадается на элементы. Мать-яйцеклетка, блудного сына спаси. Мерси.

XXIV

ЗАПИ: О мерзотина, когда же кончится твоя блевотина?

ЗАПЕ: Я не виноват, что во мне проснулся Сократ.

ЗАПИ: Так стой на одной ноге!

ЗАПЕ: Э-ге-ге.

ЗАПИ: Что, сказать уже нечего?

ЗАПЕ: Моё сознание покалечено.

ЗАПИ: Это плачевно.

ЗАПЕ: Жить становится нервно.

ЗАПИ: В общем сплошное вно.

ЗАПЕ: Дуй, человек, вино.

/ Пьёт из горла /

XXV

Я: О, кто ты, солнышко мясное?

ЯЙЦЕКЛЕТКА: Я — твоя мать-перемать.

Я: Как это понимать?

ЯЦК: Я — це-ка.

Я: Вижу, начинаешь издалека.

ЯЦК: Ты меня познал раньше всех.

Я: Первородный грех?

ЯЦК: Нет, я твоя рамка.

Я: Говори яснее, самка.

ЯЦК: У клетки ещё нет пола.

Я: Зато тюрьма уже готова.

ЯЦК: А что бы ты хотел?

Я: Чтобы генетический код улетел.

ЯЦК: И что тогда от тебя останется?

Я: Бесприданница.

ЯЦК: Ну, ладно, Айвенго, прощай! Хромосомы не обижай.

Я: Как их обижу, если ни в чём смысла не вижу.

ЯЦК: А смысла не было и нет. Просто крути мысли велосипед.

Я: И куда приеду?

ЯЦК: Может быть, поспеешь к обеду.

Я: А что на него подадут?

ЯЦК: Страшный суд.

XXVI

ЗАПИ: Все всмятку, и яйцеклетка и Страшный Суд. Куда тебя эти думки приведут.

ЗАПЕ: Наука ещё веру не съела. Такое, брат, дело.

ЗАПИ: А что такое наука вообще?

ЗАПЕ: Это размышление о тщете.

ЗАПИ: А что такое вера?
ЗАПЕ: Смерть для инженера.
ЗАПИ: Не надоело тебе в этом ковыряться?
ЗАПЕ: Я не могу другим заниматься.
ЗАПИ: Ну и к чему ты пришёл?
ЗАПЕ: Я ничего нашёл.
ЗАПИ: Чем оно хорошо?
ЗАПЕ: Шо?!
ЗАПИ: Что в нём хорошего?
ЗАПЕ: Нет ничего на нас похожего.
ЗАПИ: Это как?
ЗАПЕ: Когда умрёшь, поймёшь, дурак!

/умирают/

XXVII

Я: Это где?
НЕ-Я: Нигде.
Я: Утопия, что ли?
НЕ-Я: Всё в твоей воле.
Я: А ты кто?
НЕ-Я: Никто.
Я: А звать-то тебя как?
НЕ-Я: Никак.
Я: Странное имя.
НЕ-Я: Перестань доить словесное вымя.
Я: Что за жизнь без языка.
НЕ-Я: Какая тоска...
Я: Чем ты недоволен?
НУ-Я: Ты всё ещё жизнью болен.
Я: Это опасно?
НЕ-Я: Да нет, всё прекрасно.
Я: Почему?
НЕ-Я: Вспомни «Муму».
Я: Немой Герасим, чем он для меня опасен?
НЕ-Я: Ты у него в руках.
Я: Ах!

/падает в Лету/

XXVIII

ЗАПИ: Убивец!
ЗАПЕ: Нет! Стрелец.
ЗАПИ: Куда пуляешь, молодец?
ЗАПЕ: Хочу до Бога достать.

ЗАПИ: Твою мать!
ЗАПЕ: Не смей меня ругать!
ЗАПИ: И что, попал?
ЗАПЕ: Нет, пропал.
ЗАПИ: Куда?
ЗАПЕ: Там — вода.
ЗАПИ: Холодная?
ЗАПЕ: Нет, она голодная.
ЗАПИ: Что ест?
ЗАПЕ: Асбест.
ЗАПИ: Не вкусно.
ЗАПЕ: Мне грустно.
ЗАПИ: И некому руку пожать.
ЗАПЕ: Она меня хочет тоже сожрать.
ЗАПИ: Кто?
ЗАПЕ: Водичка.
ЗАПИ: О чём чирикаешь, птичка?
ЗАПЕ: Холодно уму.
ЗАПИ: Видишь Муму?
ЗАПЕ: Сейчас умру.
ЗАПИ: Это интересно?
ЗАПЕ: Скорее пресно.
ЗАПИ: Прощай, маца!
ЗАПЕ /орёт/: Здесь нет Отца!

XXIX

Я: Кто тут орёт?
НЕИЗВЕСТНОЕ: Бог не даёт.
Я: Чего?!
НЗЕ: Спасения Своего.
Я: В чём виноват?
НЗЕ: Брал вещи напрокат.
Я: Не вовремя сдал тушу?
НЗЕ: Осквернил душу!
Я: И что теперь?
НЗЕ: Рычит, как зверь.
Я: Царапая дверь?
НЗЕ: А за ней свет.
Я: А тебя уже нет.
НЗЕ: В том-то и дело, что я ещё существую.
Я: Да. Звериный дух чую.
НЗЕ: На луну повить, что ли.
Я: Попробуй.

/Музыка — проекция боли. Неизвестное воет на луну. Я пытается слиться с ним в дуэте. Ужас/

XXX

ЗАПИ: В каком это мы веке?

ЗАПЕ: Какая разница для калеки.

ЗАПИ: Кто тут калека?

ЗАПЕ: Посмотри на человека.

ЗАПИ: Он не виноват...

ЗАПЕ: В том, что автомат?

ЗАПИ: Я не машина!

ЗАПЕ: А чем ты ещё можешь быть, мыслящая скотина?

ЗАПИ: Я живой!

ЗАПЕ: Не вой.

ЗАПИ: Приказываешь молчать?

ЗАПЕ: В безысходности можно и надо тихо торчать.

ЗАПИ: А почему ты о любви не говоришь?

ЗАПЕ: Шиш!

ЗАПИ: Не любишь дам?

ЗАПЕ: Гиппопотам.

ЗАПИ: Перешёл на заумный язык?

ЗАПЕ: Кадык.

ЗАПИ: Хочешь сказать ничего.

ЗАПЕ: Итого.

ЗАПИ: Господи, он сошёл с ума.

ЗАПЕ: Тюрьма.

ЗАПИ: Когда же этому настанет конец?

ЗАПЕ: Скопец.

XXXI

ЖЕНЩИНА: Куда я попала?

Я: Откинь одеяло.

Ж: Тут ничего не видно.

Я: А тебе обидно?

Ж: Как же я посмотрю на себя, всё ли в порядке.

Я: У тебя красивые пятки.

Ж: Откуда знаешь?

Я: Неужели ты моего живота не ощущаешь.

Ж: Они на твоём чреве?

Я: Чего не сделаешь, чтобы угодить Еве.

Ж: Оно мягкое совсем.

Я: Я не спортсмен.

Ж: А кто ты?

Я: За тобой носил боты.

Ж: Как долго?

Я: Столько, сколько течёт Волга.

Ж: Так ты старик.

Я: Я привык.
Ж: А чем мы тут с тобой занимались?
Я: Мы потерялись.
Ж: Давно?
Я: Не всё ли тебе равно?
Ж: Но всё-таки хочется знать.
Я: Это кровать
Ж: Она большая?
Я: Без конца и края.
Ж: Мы тут живём?
Я: И более того, умрём.
Ж: А что ещё делают в постели?
Я: Совокупляются без цели.
Ж: Часто?
Я: Баста!
Ж: Это тайна!
Я: Жизнь случайна.
Ж: От слова «случка».
Я: Молчи, сучка!
Ж: Чего разорался, кобель!
Я: Не могу открыть дверь.
Ж: А что за ней?
Я: Еремей.

XXXII

ЗАПИ: Еремей?!
ЗАПЕ: А тебе нужен еврей?
ЗАПИ: Я от тебя устал.
ЗАПЕ: А ты тоже меня достал.
ЗАПИ: Когда кончится эта пьеса?
ЗАПЕ: Спроси у мелкого беса.
ЗАПИ: Можно я домой пойду?
ЗАПЕ: Хаю-дую-ду.
ЗАПИ: Издеваешься?
ЗАПЕ: Я не виноват, что ты не просыпаешься.
ЗАПИ: А как мне проснуться?
ЗАПЕ: В башке перевернуться.
ЗАПИ: Стать антиподом.
ЗАПЕ: Назло всем народам.
ЗАПИ: Мозг — Наполеон.
ЗАПЕ: Он!

XXXIII

НАПОЛЕОН: Будем знакомы, Еремей.
Я: Вы уверены?

НАПОЛЕОН: В чём?

Я: В имени своём.

НАПОЛЕОН: По-моему, меня раньше звали Бонапарт.

Я: Очень рад.

НАПОЛЕОН: Вы не знаете, где Жозефина?

Я: Она умерла от сплина.

НАПОЛЕОН: Ну хоть не от СПИДа.

Я: Да, это была бы большая обида.

НАПОЛЕОН: А что такое Ватерлоо?

Я: Теперь это бранное слово.

НАПОЛЕОН: Я, пожалуй, пойду, может, свою треуголку найду.

Я: Да, и не забудьте про торт.

НАПОЛЕОН: La Mort.

XXXIV

ЗАПИ: La Mort?

ЗАПЕ: Натюрморт.

ЗАПИ: Чего?

ЗАПЕ: Сознания твоего.

ЗАПИ: А разве оно мертво?

ЗАПЕ: Когда о нём думаешь — да.

ЗАПИ: Оно — проточная вода?

ЗАПЕ: Ток.

ЗАПИ: Прыг-скок.

ЗАПЕ: Блоха.

ЗАПИ /голосом Шаляпина/: Ха-ха. Ха-ха.

XXXV

ТЕКСТ: Я от тебя так устал.

Я: Да, и ты меня достал.

ТЕКСТ: Чего в меня так вцепился?

Я: Скорее это ты в сочинителя влюбился.

ТЕКСТ: Бред.

Я: Автор — твой свет.

ТЕКСТ: Лампочку погаси.

Я: Я не такси.

ТЕКСТ: Но ты куда-то катишь...

Я: Туда, где знак «Ничего не значишь».

ТЕКСТ: Я там помру.

Я: Т-п-р-у-у-у!!!

XXXVI

ЗАПИ: Наконец-то мы встали.

ЗАПЕ: У тебя эрекция в тронном зале?

ЗАПИ: Перестань пердеть в муку.
ЗАПЕ: Ку-ку.
ЗАПИ: Ты потерял человеческий облик.
ЗАПЕ: Мне нравится твой бобрик.
ЗАПИ: Не превращай меня в резонёра.
ЗАПЕ: Давай позовём антрепренёра.
ЗАПИ: Когда же всему этому конец?
ЗАПЕ: Ты повторяешься, малец.

XXXVII

КОНЕЦ: Пришёл я.
Я: Свинья.
КОНЕЦ: Чем недоволен?
Я: Я ещё не смертельно болен.
КОНЕЦ: Не тебе об этом судить.
Я: Позволь мне ещё пожить.
КОНЕЦ: Зачем?
Я: Ладно. Тогда напоследок споём.
КОНЕЦ: Животное.
Я: Теперь почти бесплотное.
КОНЕЦ: Почему ты жрёшь чеснок?
Я: Чтобы не слышать последний звонок.
КОНЕЦ: Боишься?
Я: А чем я лучше других?
КОНЕЦ: Псих.
Я: Ich?
КОНЕЦ: Чего боишься? Смешно.
Я: Там будет темно.
КОНЕЦ: А на что тебе смотреть?
Я: Хочу увидеть смерть.
КОНЕЦ: Она никакая.
Я: Ни старая, ни молодая?
КОНЕЦ: Она никакая.
Я: Ни маленькая, ни большая?
КОНЕЦ: В ней ничего нет.
Я: Только тот свет?
КОНЕЦ: Ничего — балет.

XXXVIII

ЗАПИ: Ты зашёл слишком далеко.
ЗАПЕ: Ничего не вижу. Парное молоко.
ЗАПИ: Куда ты попал?
ЗАПЕ: Во всяком случае, не в спортивный зал.
ЗАПИ: А что ты ощущаешь?

ЗАПЕ: Будто сам себя провожаешь.
ЗАПИ: Собрался далеко.
ЗАПЕ: Ко-ко-ко.
ЗАПИ: Снёс яичко?
ЗАПЕ: У меня такая привычка.
ЗАПИ: Яйцо-то хоть мировое?..
ЗАПЕ: Нет, бытовое.
ЗАПИ: А ты кто? Желток?
ЗАПЕ /гордо/: Я — белок! /поёт/

ПЕСНЬ БЕЛКА

Я
белок
я своих презираю
питомцев
плотоядную плесень
людей

долетайте
до самого солнца
и
в ничто
превращайтесь
скорей

я
белок
скоро
выйдет
мой срок

пощади
пощади
кипяток

XXXIX

ПОЭЗИЯ: Ты ох*ел?
Я: Я не у дел.
ПОЭЗИЯ: Потерял себя?
Я: Так жить нельзя.
ПОЭЗИЯ: Почему?
Я: Не нужен никому.
ПОЭЗИЯ: Ты что, горшок?
Я: У меня шок.
ПОЭЗИЯ: Пей валерьянку.
Я: Пора заканчивать пьянку.

ПОЭЗИЯ: Ты глуп.
Я: Почти труп.
ПОЭЗИЯ: Сопли утри.
Я: Они — внутри.
ПОЭЗИЯ: Который сейчас час?
Я: Was ist das?
ПОЭЗИЯ: Ты не ответил.
Я: Время — ветер.
ПОЭЗИЯ: А ты кто?
Я: Парус в сером пальто.
ПОЭЗИЯ: Летишь?
Я: Туда, куда мчишь.
ПОЭЗИЯ: Какое направление?
Я: Надо иметь терпение.
ПОЭЗИЯ: Не надоело?
Я: Это моё дело.
ПОЭЗИЯ: А может, «коза ностра».
Я: Всё очень просто.
ПОЭЗИЯ: Хочешь сказать, мафия?
Я: Нет, духа порнография.
ПОЭЗИЯ: Пли!!!
Я: Спасибо, родная, и ты умри.

/падает/

XL

ДУХ: Я протух?!
Я: Ты сдох!
ДУХ: Ох!
Я: А ты разве не знаешь, что уже воняешь.
ДУХ: Чего лаешь?
Я: Не понимаешь?
ДУХ: Нет.
Я: Сломался смыслов велосипед.
ДУХ: Больше никто не едет?
Я: Нет, мы только едим.
ДУХ: И ещё бдим.
Я: Проще сказать бздим.

XLI

41*: Кто здесь есть?
ИКС: Все умерли, Ваша честь.
41*: Опустела земелька.
ИКС: Гладкая как карамелька.
41*: А какой у неё вкус?

ИКС: Не слаще чем комариный укус.

41*: Кому всё это было надо?

ИКС: Спросите у маркиза де Сада.

41*: А как там маркиз де Пресняк?

ИКС: У него рассудок сплясал краковяк.

/танцуют и поют/

В голове одинокой старушки
поселился какой-то червяк.
Стали хрупки сосуды как сушки
и рассудок сплясал краковяк.
Как теперь она звонко хохочет
и кривя провалившийся рот
на прохожих плюёт что есть мочи
сквозь решётку больничных ворот.

ЗАНАВЕС /с портретом Салтыкова-Щедрина/

Юрий ТУБОЛЬЦЕВ

/ Москва /



АФОРИСТИКА

*

Новый год — время салютов и салатов!

*

Если не выбираться из ямы, она становится пропастью.

*

Жизнь — это роман, в котором все персонажи — второстепенные.

*

Не догоняй того, кого не собираешься обогнать.

*

Женщина никогда не расстанется с капризом, а мужчина — с заблуждением.

*

Если долго смотреть человеку в лицо, видишь морду.

*

Поиски пути — это тоже путь.

*

У совести есть зубы и она может загрызть мозг.

*

Когда два картежника играют в шахматы — они все равно играют в карты.

*

Где много веревок, там неувязки.

*

Когда умирает роза, смерть начинает благоухать.

*

Бесконечность параллельных зеркал не что иное, как мысль, мыслящая самоё себя.

*

Любую цепь можно разорвать, кроме цепи непредсказуемых случайностей.

*

Не суди о корове по котлете.

*

Движение — это риск, неподвижность — это риск неоправданный.

*

Орел, который ворчит во время полета — превращается в индюка.

*

Иногда, чтобы выйти из тени, надо зажечь солнце в себе.

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И. Савкин

Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

Издательство «Алетейя»,
192029, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны,
д. 86 А, оф. 536, 532

Подписано в печать 28.10.2019
Формат 66x88^{1/16}. Усл.-печ. л. 22,3
Печать офсетная. Заказ 774

ISSN 16192966

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#87

www.kreschatik.kiev.ua
www.magazines.russ.ru/kreschatik

Мы в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили — в Киеве, Петербурге,
Иерусалиме, Нью-Йорке или Мюнхене, мы —
перенесенный
в ментальное пространство
проспект, как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то завязывались
великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные встречи...

All rights reserved © Kreschatik

